ISSN 0130-6545

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

[9] 2013

16+

МАНУЭЛЬ ПУИГ: ИЗ СБОРНИКА СЦЕНАРИЕВ И СЮЖЕТОВ «МЕЛОДРАМАТИЧНАЯ СУДЬБА»

В РУБРИКЕ «ИЗ КЛАССИКИ XX ВЕКА»: «ДЕСЯТЬ СНОВ» НАЦУМЭ СОСЭКИ

ЭССЕ ДЖОНАТАНА ФРАНЗЕНА «ДАЛЬНИЙ ОСТРОВ»

Основан в 1955 году

“ИЛ” в 2014 году

В романе **“Человек в этом мире — большой фазан”** нобелевский лауреат ГЕРТА МЮЛЛЕР описывает реалии Румынии эпохи Чаушеску, которые диссонируют с патриархальным миром швабского Баната, утраченным не только автором, но и большинством ее земляков, бежавших из Румынии в Германию.

Новый роман лауреата Нобелевской премии ТОНИ МОРРИСОН **“Дóма”** — жестокое, задевающее за душу повествование о 24-летним афроамериканце, который, вернувшись с Корейской войны, пытается найти место в стране, не желающей быть для него родным домом.

В книге **“Эти ужасные китайцы”** (1984) китайский публицист и романист БО ЯН, значительную часть жизни проживший на Тайване — ему пришлось стать политическим эмигрантом, — описывает китайский национальный характер, так сказать, изнутри и делает это хлестко, насмешливо и беспощадно.

У нас в гостях журнал **“Нью-Йоркер”**: документальная проза, репортаж, критика, книжные новинки.

Продолжаем авторскую рубрику БОРИСА ХАЗАНОВА **“Оправдание литературы”**. На этот раз перед читателями очерк об одном эпизоде из жизни Гёте, портреты Маргерит Юрсенар и Бруно Шульца, эссе о переводе — литературная мистификация, посвященная Х. Л. Борхесу.

“Африканские игры” — роман классика немецкой литературы XX века ЭРНСТА ЮНГЕРА, в котором удачно сочетаются черты плутовского, психологического и философского повествования.

“Зейтун” — документальный роман ДЭЙВА ЭГГЕРСА, молодого американского писателя, называемого критикой “новым Сэлинджером”. В августе 2005 года в Новый Орлеан ворвался ураган “Катрина”, превративший город в непролазные топи. Зейтун — мусульманин, американский гражданин сирийского происхождения, спасающий жителей и защищающий дома ставшего ему родным города, — с достоинством проходит все круги ада.

Незавершенный сатирический роман классика ирландской — и англоязычной — литературы XX века ФЛЭННА О’БРАЙЕНА **“Сага о саго, или Из-под почвы до верхушек деревьев”** подкупает, как и другие его произведения, ироническим письмом, виртуозным владением словом, искусством пародии и несравненным умением строить непредсказуемый сюжет.

Повесть знаменитого американца, “короля битников”, автора культового романа “В дороге” ДЖЕКА КЕРУАКА **“Пик (это я)”** — очередное путешествие. Но на сей раз это пронзительная история чернокожего мальчика, рассказанная им самим, погружающая читателя в атмосферу Гарлема, промышленного Юга и других уголков США в сложной действительности 1940-х гг.

[9]
2013

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

Ежемесячный
литературно-
художественный
журнал

3 Мануэль Пуиг *Из сборника сценариев и сюжетов "Мелодраматичная судьба"*. Перевод с испанского Александра Казачкова

20 Вацлав Гавел *Антикоды*. Стихи. *Встреча с Горбачевым*. Эссе. Перевод с чешского Инны Безруковой. Вступление Сергея Скорвида

32 Адам Торп *Затаив дыхание*. Роман. [Окончание.] Перевод с английского Инны Стам

Писатели и издатели

159 Лидия Хесед *Вступление*

160 Диана Этхилл *Вернуть зачеркнутое. Из жизни редактора*. Фрагменты книги. Перевод с английского Лидии Хесед

175 Норман Мейлер *Шпионское искусство*. Мысли по поводу литературы. Перевод с английского Лидии Хесед

184 Мордехай Рихлер *Дневник гастролирующего писателя*. Перевод с английского Лидии Хесед

Из классики XX века

192 Нацумэ Сосэки *Десять снов*. Рассказ. Перевод с японского Е. Сахаровой и Е. Тутатчиковой

Carte blanche

213 Джонатан Франзен *Дальний остров*. Эссе. Перевод с английского Л. Мотылева. Вступление Б. Дубина

Статьи, эссе

241 Мартин Эмис *Божественное жизнелюбие*. Перевод с английского Юрия Линника

Возвращаясь к напечатанному

253 Александр Янгалов *О противоречиях и странностях в биографии Оруэлла*. Письмо в редакцию

260 Мария Карп *Джордж Оруэлл и Жорж Копп*. Ответ Александру Янгалову

Анкета-2012

267 *Итоги ЕГЭ по английской литературе*

БиблиофИЛ

277 *Новые книги Нового Света* с Мариной Ефимовой

280 *Информация к размышлению. Non-fiction* с Алексеем Михеевым

Авторы номера

283

© "Иностранная литература", 2013

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

До 1943 г. журнал выходил под названиями "Вестник иностранной литературы", "Литература мировой революции", "Интернациональная литература". С 1955 года — "Иностранная литература".

Главный редактор

А. Я. Ливергант

Редакционная коллегия:

Л. Н. Васильева

Б. В. Дубин

Т. А. Ильинская
ответственный секретарь

Т. Я. Казавчинская

К. Я. Старосельская

Общественный редакционный совет:

Л. Г. Беспалова
А. Г. Битов
Н. А. Богомолова
Е. А. Бунимович
Т. Д. Венедиктова
Е. Ю. Гениева
А. А. Генис
В. П. Голышев
Ю. П. Гусев
Г. М. Дашевский
С. Н. Зенкин
Вяч. Вс. Иванов
А. В. Михеев
М. Л. Рудницкий
М. Л. Салганик
И. С. Смирнов
Е. М. Солонович
Б. Н. Хлебников
Г. Ш. Чхартишвили

Международный совет:

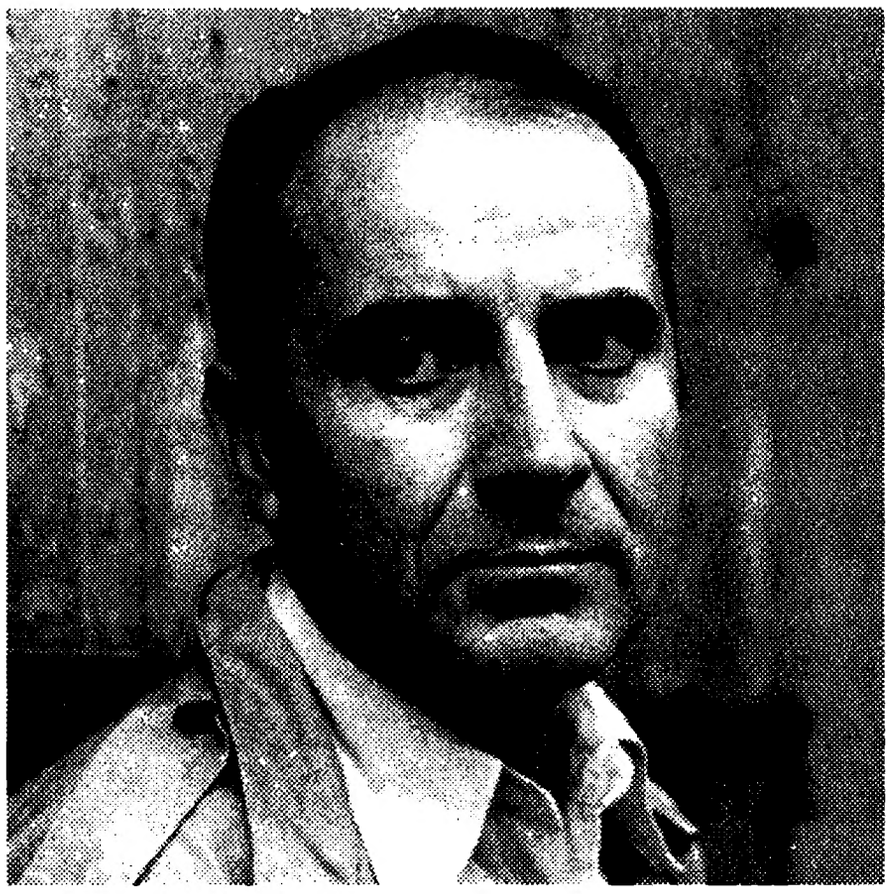
Ван Мэн
Януш Гловацкий
Гюнтер Грасс
Милан Кундера
Зигфрид Ленц
Ананта Мурти
Кэндзабуро Оэ
Роберт Чандлер
Умберто Эко

Редакция :

С. М. Гандлевский
Е. Д. Кузнецова
Е. И. Леенсон
Е. М. Мамардашвили
Ю. Д. Романова
М. С. Соколова
Л. Г. Харлап

Выпуск издания осуществлен при финансовой поддержке
Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

Мануэль Пуиг



Из сборника сценариев и сюжетов
“*Мелодраматичная судьба*”

Перевод с испанского Александра Казачкова

Мелодраматичная судьба

Что-то вроде предисловия

— Сеньорита учительница, вы помните, о чем я вас просила?

— Да, малышка. Я взяла словарь и нашла слово “мелодрама”. Там написано: “род драмы, в которой присутствует стремление с помощью вульгарных средств поддерживать любопытство и эмоциональное напряжение публики”. Затем я нашла слово “драма”, там говорится: “произведение серьезного и, как правило, печального содержания, глубоко волнующее душу и обычно имеющее роковую развязку”.

© 2004, Herederos de Manuel Puig
© 2004, El cuenco de plata
© Александр Казачков. Перевод, 2013

— Сеньорита, тогда получается, что мелодрама — это драма, написанная неумело?

— Не совсем так, но в какой-то степени это действительно второсортный продукт. Еще я посмотрела в энциклопедии раздел "театр", там написано, что в драме конфликты проистекают из недостатков или достоинств действующих лиц. У каждого персонажа собственный характер со своими достоинствами и недостатками, и отсюда рождаются драмы, ведь речь идет о разных, непохожих друг на друга людях, и это приводит их к столкновению. А в мелодраме причиной конфликта становится вмешательство судьбы, как в фильме "Запертая дверь", там Либертад Ламарке теряет в жизни все, и лишь потому, что почтальон вручает телеграмму человеку, выходящему в этот момент из ее дома, а ведь она такая хорошая. А какая славная Маргарет Саллаван в фильме "Переулок", но там кучер везет ее в порт, и она опаздывает на корабль, а жених решил, что она не пришла, потому что не любит его. В мелодраме всегда случаются такие удары злосчастной судьбы. И они обрушиваются на хороших людей. Героинями мелодрам всегда бывают очень хорошие женщины.

— Святые?

— Нет, одно дело хорошая, а другое — святая.

— Сеньорита, а одна мамина тетя тоже не вышла замуж из-за этого, из-за удара злосчастной судьбы. Она дала на время свое платье подруге, та пошла в дом к неженатому мужчине, а жених маминой тети подумал, что это как раз она вошла, и подкараулил ее у выхода и убил, и убежал, и больше его никто никогда не видел. А мамина тетя с тех пор так ни разу и не вышла из дому. Но она-то чем виновата?

— Ее вины здесь нет, это судьба послала ей такое несчастье. Но есть люди, которые сами нарываются на несчастье, из-за плохого характера, и такие становятся героями драмы, понимаешь?

— Значит, мамина тетя — не героиня драмы?

— Если судить по словарю, то нет, она героиня мелодрамы. Бедняжке выпала мелодраматичная судьба.

— Значит, мало того, что она ни в чем не виновата, но если бы ее историю сняли в кино, то фильм не получил бы ни одного "Оскара"?

— Скорее всего, нет.

— А что надо делать, чтобы мелодраматичная судьба тебя миновала?

— Ничего, потому что от тебя это не зависит. Что-то обрушивается на тебя и убивает током, как молния. Ну, хватит, не думай больше об этом.

— Нет, сеньорита, я боюсь. Буду долго молиться каждый вечер, чтобы мелодраматичная судьба меня миновала.

Мексика означала для Пуига возможность вновь вернуться к жанру драматургии, к работе над сценариями и театральными произведениями. После различных переложений и музыкальных комедий, это его первый проект киносценария. Он осуществлен в тексте SAD FLOWERS OF OPIUM[1]*, сохранившемся фрагментарно.*

Opium tale[2]

Набросок киносценария

На фоне идущих титров разворачивается следующее действие:

Концертный зал полон. Пианистка — красивая женщина около сорока. В партере сидит блондинка чуть моложе ее, она в явном напряжении. После завершающего номера программы пианистке устраивают овацию. Женщина в партере не аплодирует. Публика просит сыграть на бис, пианистка соглашается. Титры заканчиваются.

Пианистка играет на бис. К концертному залу быстрым шагом приближается изящный мужчина интеллигентного вида, ему нет сорока. В фойе театра его останавливает импресарио. Концерт закончился; его супруга, как обычно, добилась большого успеха. Импресарио провожает Роберто в ложу, где сидят его друзья. Роберто просит прощения, что не удалось прийти раньше, задержался в консультации.

Гримерная пианистки. Поздравления, она видит в толпе мужа, супруги обнимаются, кругом цветы, фотовспышки. Одна из подруг говорит концертантке, что обнаружила среди публики бывшую соученицу по консерватории: та стоит в коридоре, не решаясь войти. Пианистка выходит к ней. Аманда, женщина из партера, весьма привлекательна, одета не без экстравагантности, курит необычную сигарету из черного табака, тонкую, как стилет. Взгляд ее очень печален. Бывшие сокурсницы спрашивают, где она пропадала; ведь она подавала такие большие надежды. Аманда отвечает, что вышла замуж и оставила музыку. Ее представляют Роберто. Тот пред-

1. Горькие цветы опиума (*англ.*). (*Здесь и далее – прим. перев.*)
2. Опиумная история (*англ.*).

лагает ей поехать к ним в гости, тогда им не придется стоять и ждать, пока подруги наговорятся. Аманда отказывается, но затем уступает уговорам пианистки. Подруга, обнаружившая Аманду среди зрителей, повезет ее в своей машине.

Изящная, без претензий квартира. Хозяйка дома показывает Аманде детей, мальчика и девочку, прежде чем уложить их спать. Женщины возвращаются в гостиную, Аманда просит подругу не беспокоиться о ней, пусть занимается гостями, а она пока посмотрит картины и детали интерьера. Аманда остается одна, взгляд ее задерживается на пианино, на портретах детей, на Роберто, оживленно беседующем с гостями. Когда никто на нее не смотрит, лицо Аманды мрачнеет от зависти. Роберто замечает, что она одна, окликает ее, предлагает еще выпить. Кто-то из гостей спрашивает Роберто, что он думает о новых экспериментах с открытыми браками, ведь у него счастливейший супружеский союз. Подходит его жена, смеясь, они поясняют, что им недосуг думать о смене партнера: “в нашей совместной жизни есть одно несомненное удобство — мы не тратим времени на телефонные звонки и такси, когда хотим встретиться”. Подруга, отыскавшая в театре Аманду, вполголоса говорит ей, что действительно речь идет об идеальной паре, у каждого успешная карьера, домашняя жизнь прекрасно устроена, и зависят они друг от друга лишь в плане чувств. Роберто жалуется на загруженность, как врач-психиатр он уделяет пациентам много времени, ему требуется 48 часов в сутки, только тогда он мог бы осуществить все задуманное, заняться серьезными исследованиями, может, написать книгу. Кто-то со смешком интересуется, не держат ли его в постоянном возбуждении сексуальные проблемы пациентов и их эротические фантазии, далее следуют шутки по поводу того, как хорошо больным, ведь они испытывают самое разнообразное сексуальное наслаждение. Аманда, внезапно расстроившись, отходит от собравшихся и укрывается на балконе, там никого нет. Хозяйка дома замечает это. Аманда не в силах скрыть свое подавленное состояние. Хозяйка дома отводит ее в кабинет, зовет мужа.

Роберто остается наедине с Амандой, та объясняет, что очень обеспокоена, ей нужна медицинская помощь. С некоторых пор ее мучают ужасные, пугающие кошмары, они не дают ей покоя, а теперь стало еще хуже, в какие-то минуты даже днем, стоит закрыть глаза, как кошмары возвращаются и продолжают терзать ее. В этих видениях повторяется один мотив: пожилой человек, очень странный и властный, под угрозами заставляет ее выпить что-то, ей от этого наверняка

будет плохо, и кошмар не кончается, сопровождаясь тошнотворным ощущением горчайшего на вкус глотка. Роберто предлагает пройти курс лечения у кого-нибудь из его знакомых врачей. Аманда предпочла бы, чтобы он лично занялся ею. Роберто уверяет, что у него все расписано по минутам. Перечисляет имена врачей, которых мог бы рекомендовать. Предлагает сигарету, однако Аманда закуривает свою. Роберто спрашивает, откуда они. Аманда объясняет, что сигареты китайские, вкус у них не постоянный, он переходит от сладковатого к пряному, она не может курить другой табак, ей претит однообразный привкус, который со временем становится все резче.

Консультация Роберто. Почти девять вечера. Секретарша в приемной уверяет Аманду, что доктор не может ее принять. Через несколько минут от него выйдет последний пациент и он отправится на очередную встречу. Аманда не желает уходить, появляется пациент, за ним Роберто, Аманда обращается к нему. Роберто предлагает поговорить в машине по пути к дому ученого, который его ждет. В машине Аманда говорит о своем крайнем смятении: кошмар, о котором она ему поведала, повторяется вновь и вновь. Более того, она уверена, что временами видения реальны, страшный человек действительно существует, и она уже не в силах защищаться, даже не может сказать наверняка, когда человек является ей наяву, а когда мерещится. Человек ужасен, из глаз его текут слезы, порой это красные, словно кровавые, слезы. Страх ее настолько велик, что она думала прибегнуть к помощи полиции, но прежде хотела посоветоваться с ним как с врачом. Роберто соглашается, в порядке исключения он примет ее завтра, когда отпустит последнего пациента, он попросит секретаршу приготовить легкую закуску, ведь в девять часов вечера, уверяет он Аманду, если ничего не съесть, ему самому с голода начнет мерещиться всякое.

Консультация. Вечер. Аманда и Роберто едят сэндвичи. Аманда выглядит значительно лучше. Роберто просит ее рассказать немного о своей жизни. Аманда говорит, что была обычной девочкой, увлекалась музыкой, много лет училась, но в связи с замужеством оставила фортепиано. Отношения с мужем были благополучные, пока не началось отчуждение, утрата интереса друг к другу. Роберто спрашивает о ее сексуальных отношениях с супругом. Аманда отвечает, что они были неплохие, но, почувствовав духовное отдаление, она уже не могла выносить физической близости с ним. Роберто

спрашивает, не случались ли у нее приступы фригидности при связях с другими мужчинами. Последние слова вызывают у Аманды сильное неприятие, поколебавшись, она отвечает, что нет, ее физическая реакция не выходит за рамки того, что считается нормальным для всех женщин. Роберто приступает к осмотру. Выясняется, что нервная система женщины чрезвычайно напряжена, очевидны следы пагубного воздействия наркотических веществ. Роберто интересуется, не прибегала ли она к сильным лекарствам без рецепта врача. Аманда это отрицает, она лишь принимала успокоительное. И добавляет, что ее преследует человек, которого она очень боится, возможно, он и является причиной всех ее проблем. Роберто спрашивает, почему она не прекратит эту связь. Аманда отвечает, что из страха. Тогда Роберто пытается выяснить истинную причину, отчего она не обратилась в полицию, не прибегла к защите закона. Она отвечает, что ей страшно открыться даже ему, умоляет подождать до следующего сеанса, если таковой состоится. Аманда закуривает свою странную сигарету. Роберто колеблется и — в порядке исключения — назначает встречу на следующей неделе. Аманда благодарит, на глазах у нее слезы. Роберто невольно тронут. Аманда уходит.

Секретарша приносит Роберто вечерний сэндвич. Аманда еще не пришла. Роберто ждет ее. Аманда не появляется, даже не звонит, чтобы объяснить свое отсутствие.

Роберто приходит утром в консультацию, спрашивает секретаршу, не звонила ли девушка. Ответ отрицательный. Роберто просит номер ее телефона, Аманда оставила только адрес. Сегодня вечером Роберто отправится на ее поиски, он опасается, что с ней что-то случилось. Найдя улицу, он ищет дом, но такого номера нет.

Роберто приходит утром в консультацию, спрашивает секретаршу, не звонила ли Аманда. Ответ отрицательный. Роберто рассказывает о ложном адресе, не знает, как разыскать девушку. Упоминает о странных сигаретах, которые та курит, она объясняла, как их трудно достать. Роберто просит секретаршу отменить первую вечернюю консультацию. В течение этого часа он будет искать Аманду.

Роберто обходит небольшие лавочки в одном из кварталов старого города. Наконец, в лавке, где торгует тщедушный старик-китаец, он находит сигареты. Роберто спрашивает, знают

ли они Аманду, описывает ее. Старичок отодвигает штору из черных бусинок и говорит с другим китайцем, хозяином, тоже пожилым человеком, но более крепким, причем обращается к нему с большим почтением. Роберто не видит второго китайца. Продавец повторяет с заговорщицким видом описание Роберто. Хозяин советует обратиться в прачечную. Продавец объясняет Роберто, что они не знают, кто такая Аманда, но вроде она впервые забрела в их район, где обосновалось множество восточных мелких торговцев, по большей части китайцев, в поисках кого-нибудь, способного почистить ее драгоценные китайские ткани. Именно из кантонской прачечной она пришла в лавку за сигаретами. Роберто направляется в прачечную, китаец — хозяин лавки — тотчас выходит на улицу и смотрит ему вслед. Китаец необычайно тучен для людей его расы, взгляд его непроницаем. Одет он по китайскому обычаю, но очень скромно. Мимо проходят жители квартала, кое-кто приветливо здоровается с ним, величая Мистер Ли, другие заводят короткую беседу, китаец любезно отвечает каждому. По обхождению видно, что это патриарх, пользующийся почтением в округе благодаря своему добродушию и простоте.

Роберто входит в прачечную, описывает Аманду. Никто не может ничего сказать, ее не помнят, да и хозяина сейчас нет. Тут Роберто замечает на стене несколько потускневшую от времени афишу, на ней написано "Мадам Ву", внизу надпись китайскими иероглифами поверх рисунка с драконом, из глаз которого текут кроваво-красные слезы. Роберто поражен, он спрашивает китайца, что означает надпись. "Это старая женщина, Мадам Ву, она предсказывает судьбу, а по-китайски написано: "There will be good fortune, there will be evil, there will be no cause for regret, there will be shame, there will be danger, there will be joy"[1]. Роберто спрашивает, где он может увидеть Мадам Ву. Она тут рядом, в глубине лавки, его ведут по лабиринту коридоров. Оставляют одного в комнате с притушенными китайскими фонариками, напоенной запахом благовоний. Появляется Мадам Ву, необыкновенной красоты китайская женщина без возраста, черты ее лица словно нарисованы. Она спрашивает Роберто, что привело его сюда, что он хотел бы узнать о своей судьбе? Тот отвечает, что ему важно лишь одно: узнать, где Аманда. Он достает пачку денег. Мадам Ву неспешно поднимается, все ее движения раз-

1. "Там ждет удача, там ждет зло, там не будет повода для раскаяний, там ждет позор, там ждет опасность, там ждет радость".

меренны. Она берет Роберто за руку и ведет бесконечными коридорами. Наконец они доходят до очень темного зала, стены выкрашены черным, в тусклом свете китайской керосиновой лампы маячит почти столетняя старушка с восточными чертами, едва прикрытая жалким лоскутом, забившаяся в угол, видимо, сиделка. В конце зала начинается еще один коридор, в него выходят комнатенки, в каждой помещается убогая лежанка и горящая свеча, прикрытая бумажным китайским фонариком. Кое-где на койках лежат люди. В одной из комнат Мадам Ву подносит фонарь к лицу лежащего, это Аманда, она спит. У ее ног — потухшая дорогая трубка для курения опиума. Роберто спрашивает китаянку, что все это значит. Та отвечает, что Аманда наведывается сюда уже несколько недель. Роберто спрашивает, наступило ли привыкание. Китаянка поясняет, что нет, Аманда только начинает, ведь, чтобы впасть в полную зависимость от опия, требуется, как минимум, сто двадцать дней увлеченного курения. Если он хочет забрать девушку, то может это сделать беспрепятственно. Очнувшись, Аманда почувствует себя глубоко несчастной, ведь опий дарит часы чудесных видений, но, когда проходит первый эффект, видения становятся мучительными и невыносимыми. Мадам Ву показывает заядлых опиоманов в других клетушках, изможденных, капитулировавших перед смертью. Они не принимают пищу, некоторые уже отказались от жизни, жаждут забыться сном смерти. Роберто возвращается к девушке, будит ее, Аманда плачет, не узнавая его, не дает притронуться к себе, корчится от его прикосновений. Мадам Ву берет трубку, помещает в капсуле у ее основания, рядом с прорезью для губ, то есть в мундштуке, вязкий черноватый шарик. Подносит пламя длинной деревянной спички, зажигает опий. Дает затянуться Аманде. Девушка глубоко вдыхает, постепенно успокаивается, китаянка объясняет Роберто, что так ее будет легче увести отсюда.

Лицо Аманды преображается, озаряется светом, девушка тянется в объятия Роберто, привлекает к себе, целует. Благодарит, что он пришел за ней, теперь с ним она ничего не боится. Он тронут сильным чувством девушки. В плену галлюцинаций, под действием наркотика она ослабляет узел его галстука, расстегивает две верхние пуговицы рубашки и проводит рукой, гладя его грудь. Он не сопротивляется. Теперь рука движется вверх, гладит Роберто по щеке и вискам, он притягивает девушку к себе, усаживая на кровати, и обнимает, она закрывает глаза, ее наслаждение растет, она шепчет: “Я счастлива в твоих объятьях, ты смотришь на меня, и я уже такая, как ты мечтаешь. Ты обнимаешь, и я вот-вот стану водой, я вся во-

да, ты пьешь меня, и я уже в тебе. Теперь я не вода — вино. Я голову тебе кружу, пьяню, отрадой наполняю, отрада я твоя, твоей я становлюсь отрадой. Но я прикована к тебе, и стоит мне уйти, как радость тебя оставит, чужда мне твоя радость, она твоя лишь". Мадам Ву отступила на несколько шагов, Роберто вновь опускает голову Аманды на подушку, держит ее за руку, просит Мадам Ву подойти, спрашивает, можно ли забрать Аманду, китаянка советует подождать еще несколько минут. Роберто спрашивает, известно ли ей, кто привел девушку в курильню, китаянка колеблется и отвечает, что не знает. Аманда впервые замечает присутствие Мадам Ву, просит ее предсказать Роберто судьбу. Китаянка отвечает, что девушка всегда избегала говорить о судьбе. Аманда настаивает. Китаянка бросает китайские палочки, чтобы погадать Роберто. Смотрит, что выпало, объясняет: его номер соответствует символу союза, в союзе нет места ошибке, но предстоит ожидание, надо укрыться в траве на вершине холма, позднее с высоты городских стен ждать сигнала для атаки, но атаковать не придется, удача будет сопутствовать ему, но в итоге союзу угрожают козни, и, если одна из сторон поведет себя эгоистично, союз распадется, если одна сторона проиграет, а вторая выиграет, союзу конец, если обе стороны проиграют, то ничего страшного, ибо союз удастся спасти, и все проигравшие окажутся в выигрыше. Но — о ужас! — если кто-то один проиграет, а другой выиграет. Аманда постепенно приходит в себя, сама поднимается, Роберто берет ее за руку, Мадам Ву ведет их к выходу. На улице вечереет, Роберто оставил машину неподалеку. Он спрашивает девушку, куда ее отвезти, где ее дом? Аманда отвечает, что не помнит. Вид у девушки неопрятный, Роберто выбирает гостиницу неподалеку, в бедном квартале, где вид девушки не привлечет внимания.

Убогая, неприютная комната. Роберто просит прощения, но считает, что это был подходящий выбор. Аманда очень ослабла, но теперь она успокоилась и безмерно счастлива оттого, что Роберто рядом. Он помогает ей прилечь. Просит недолго подождать, он пойдет на поиски еды, одежды, чтобы она переоделась. Аманда отвечает, что никогда никого не ждала с такой радостью. Через некоторое время Роберто возвращается, приносит еду, халат, просит прощения, что долго отсутствовал. Садится на кровать, они целуются, и уже не размыкают объятий.

Гостиничный номер. Глубокая ночь, Роберто одевается, на лице Аманды горькая печаль. Она расстроена, что он уходит.

Он просит ее отдохнуть, печаль, возможно, объясняется эффектом, вызванным наркотиком. Роберто пора домой, он уже звонил с улицы, там очень встревожены его отсутствием. Он обещает, что завтра вернется. Она уверяет, что причина ее печали не в наркотике, последствия проявятся через несколько часов, и это будет ужасно. Он отвечает, что очень рад: все свелось к сложной, но решаемой проблеме, что все ее кошмары возникли под воздействием опия, а с помощью Роберто все наладится. Никакого чудовища нет, нет дракона, плачущего кровавыми слезами, все это лишь плод ее воображения. Она не дает ему говорить, умоляет завтра вместе уехать из этого города, закрывает глаза и видит нечто чудесное. "Я вдыхаю дым, он позволяет мне видеть все, что пожелаю, лишь закрою глаза, и вижу, что мы вместе далеко-далеко отсюда, там, где никогда не бывает ночи. Я больше не хочу обратно во мрак, я так долго томилась в темноте, ты этого не знаешь, когда-нибудь я все расскажу. Ты правда вернешься завтра? Я верю, ты вернешься, я никогда ни у кого не видела такого блаженства на лице, как у тебя". Роберто уверяет, что вернется. Страстно целует ее, уходит.

При свете дня гостиничный номер еще более неприглядeн. Аманда курит черную сигарету. Входит Роберто, вид у него теперь иной, гораздо отстраненнее. Аманда не удивлена, она знала, что он вернется таким. Роберто говорит, что все происходящее — безумие, жизнь его полностью устроена, он не может все пустить прахом. Он любит жену и детей, обожает свою работу, более того, он нужен жене и детям, нужен пациентам. Им нельзя больше видеться, если надо, он обеспечит ее деньгами для дальнейшего лечения. Аманда не реагирует, она глубоко задета. Он это понимает и говорит, что они могут видеться впредь, не очень часто, но видеться, он уже не отмечает в ней опасностей болезни, в какую-то минуту он заподозрил серьезное психическое расстройство, но теперь осознает, что ее видения и страхи усугубляются под воздействием наркотика. Она ледяным тоном заявляет, что хочет получить от него все, или ничего. Он не отвечает, направляется к двери. Она теряет самообладание, говорит, что боится закрыть глаза, так как видит страшные картины. Он подходит, берет ее за руку, глаза Аманды полны слез. Он обнимает ее. Она закрывает глаза со словами: "Ты обнимаешь меня, но я не чувствую твоих прикосновений, значит, ты обнимаешь не меня, а другую. Ласкаешь, но я ничего не ощущаю, гладишь мою грудь, но я не чувствую, смотрю со стороны и понимаю — ты обнимаешь другую. Я глажу себя и тоже не ощу-

щаю свою руку, мне страшно, я даже не знаю, где я, меня больше нет во мне. Меня здесь нет, и я не понимаю, куда я делась". Роберто спрашивает, когда она хочет снова с ним увидеться? Она отвечает: если он уйдет, она больше не желает его видеть. Роберто уходит.

Дом Роберто. Воскресное утро, няня собирается отвезти детей за город на целый день – погостить у одноклассника. Мать в халате провожает детей, они не смогут поцеловать папу, он еще спит. Служанка говорит хозяйке дома, что завтрак для сеньора готов, он велел подать его к одиннадцати. Супруга относит завтрак. Роберто просыпается и говорит, что хочет видеть детей. Супруга сообщает о загородной поездке, там дети смогут поплавать и покататься верхом. Роберто объясняет, что забыл об этом, но для него было очень важно провести этот день с детьми. Супруга отмечает, насколько полезно для детей расти вот так, самостоятельно. Роберто соглашается, но именно в этот день он сам нуждался в обществе детей. Вид у него поникший. Супруга упрекает его, уверяет, что они достигли многого как супруги и как родители: нет пагубной зависимости друг от друга, каждый чувствует себя свободным и в то же время знает, что он не один. Роберто спрашивает, что она ощутила в тот вечер, когда секретарь консультации встревожилась из-за его отсутствия. "Роберто, я знала: раз ты не позвонил и не предупредил, значит, ты срочно нужен пациенту, иначе бы ты обязательно позвонил и предупредил. Я слегка забеспокоилась, но потом решила, что это глупости, и села поиграть на фортепиано. Так что я не стала себя терзать и вечер провела с пользой. Я правильно поступила, правда?" Роберто высказывает соображение, которое раздражает супругу: "Знаешь, исчезни я, в этом доме с моим отсутствием мало что изменилось бы. Мне бы гордиться тем, чего мы достигли, но, в сущности, мне это не по душе". Жена напоминает, что они обещали пойти на обед к друзьям. Роберто просит отменить встречу. Она объясняет, что не может не пойти, обед отчасти устраивают, чтобы представить ее немецкому импресарио, тот прибыл с визитом в их город и желает познакомиться с ней. Если Роберто предпочитает не ходить, она это прекрасно поймет. Роберто благодарит, он воспользуется этим и приведет в порядок кое-какие бумаги. Жена слегка укоряет его, мол, будет сидеть взаперти, тогда как у друзей они могли бы перед обедом вдоволь поплавать в бассейне и позагорать.

Роберто еще в пижаме, он лишь накинул халат. Читает в кабинете рукописные заметки, очевидно, это записи, сделанные во

время консультаций. Он читает при свете низкой, приплюснутой лампы, освещающей лишь бумаги. Входит служанка с кофе, спрашивает, не желает ли он раздвинуть шторы, ведь на дворе яркое солнце. Роберто говорит, что не заметил этого, служанка раздвигает шторы. Роберто не может сосредоточиться на чтении, пепельница полна сигаретных окурков. Внезапно его взгляд падает на корешок книги из библиотеки. Это роскошное издание по китайскому искусству, он берет его в руки, там гравюры и стихи в двуязычной версии, на английском и китайском. Листает страницы, попадаются чувственные сцены, он ищет и находит наконец упоминание про опиум. Читает строки, иллюстрирующие гравюру:

Я проклял дождь,
по крыше барабаня,
он гонит сон.
Я проклял ветер,
листву в саду срывает он.
Но ты вошла, дождю я благодарен —
ты сбросила промокшие одежды,
порывистому ветру благодарен,
задувшему в фонарике свечу.

Роберто закрывает книгу, зовет служанку, просит не готовить обед, он поедет вслед за женой на встречу.

Консультация. Роберто прощается с секретаршей после напряженного рабочего дня. Выходит на улицу. Проходит несколько шагов по переулку до машины. Его задерживают вооруженные люди, шедшие за ним по пятам. Велят следовать с ними, вталкивают в свою машину. Поместив Роберто на заднем сидении, один из них связывает ему руки, заставляет наклонить голову, надевает на глаза черную повязку, чтобы тот ничего не увидел. Они прибывают в район прачечной. Въезжают в гараж, вытаскивают Роберто, ведут нескончаемыми коридорами, и вот за дверью возникает лестница, идущая вниз. Еще дверь. Ее открывает китайский лакей в роскошном одеянии, перед ними великолепный подземный дворец, его архитектура и убранство выдержаны в китайском имперском стиле. Когда с глаз Роберто снимают повязку, оказывается, что он стоит перед тучным пожилым китайцем, тем самым, которого он видел в глубине маленькой китайской лавки, но на этот раз тот одет в удивительно пышные наряды, наподобие важного мандарина. Он обращается к Роберто приветливо и иронично, говорит, что не надо тревожиться. Рассказывает о своем

могуществе, о подпольной организации, которую возглавляет, о своем богатстве, о чудесных произведениях искусства, которые его окружают. Действительно, дом полон диковинок. Но его беспокоит следующее: самое прекрасное из всех произведений искусства, какими он владеет, дает серьезную трещину, раскалывается на части. Оно здесь, в нескольких шагах, мужчины пересекают салон, Мистер Ли отодвигает занавесь из драгоценных бусин, и перед ними возникает Аманда, дремлющая на подушках. Мистер Ли объясняет Роберто, что больше всего на свете любит Аманду, он не смог ее осчастливить, но Роберто это под силу, Аманда влюблена в него необычайно. И он повелевает Роберто: тот должен жить для ее счастья, дабы спасти ее от смерти, ведь Аманде грозит опасность, она находит утешение от тоски лишь в дурмане. Если Роберто не даст согласия, Мистер Ли велит своим людям его убрать, так что у него нет выхода. Мистер Ли смеется, указывает на завидное положение Роберто, его лишь заставляют предаться жизни, полной удовольствий. Ему надлежит уладить семейные и профессиональные дела под неизменным надзором людей китайца и освободить время для Аманды, посвятить девушке все время, какое потребуется. “Скажем, вы заболеете, это послужит объяснением для других, и удалитесь за город, к морю, куда пожелает Аманда. Недостатка в деньгах у вас не будет, вы получите столько денег, сколько захотите”. Мистер Ли прощается, но прежде вновь повторяет, чтобы тот не пытался его обманывать, ибо это будет губительным: не только он сам, но его супруга и дети подвергнутся смертельной опасности. Роберто остается наедине с Амандой, будит ее. Аманда нежно его целует, Роберто не знает, как себя вести, наконец, предается наслаждению. Аманда встает, ей хочется пить. Она ведет Роберто через диковинную обстановку подземного дворца к закрытому саду, там прекрасный бассейн с зеркалами и пальмами. Аманда пьет воду из рук Роберто, спрашивает, навсегда ли он вернулся. Роберто кивает. Аманда говорит, что не в силах больше выносить вечный сумрак дома, просит увезти ее отсюда, ведь так хочется уехать подальше, куда-нибудь на природу, где они будут вдали от всего и где светит солнце. Когда он рядом, она знает, что нечего бояться, что перед ней открыто все счастье мира.

Он хочет сейчас же, она медлит, игра в прятки. Наконец-то.

Просторная спальня в изысканном китайском стиле. Роберто и Аманда спят, тонкий лучик солнца едва пробивается сквозь жалюзи. Роберто просыпается, на лице его радость, он смотрит на красавицу Аманду, спящую рядом. Поднимается без шу-

ма, чтобы не разбудить ее. Идет к окну, Аманда не спит, смотрит, как он удаляется, лицо ее мрачнеет. Роберто приоткрывает окно, выглядывает наружу, смотрит на часы, сейчас полдень, он включает дневной свет в саду зеркал, вид великолепен. Роберто возвращается к Аманде, та притворяется спящей. Он будит ее поцелуем, говорит, что мечтает выйти наружу, на открытый простор, там еще прекрасней, чем в зеркальном саду; накануне, приехав, они мало что успели разглядеть. Аманда просит закрыть окно, яркий свет ее раздражает. Он оставляет девушку спать, выходит, осматривает дом, кругом ни души, лишь неприметная прислуга, ныряет в бассейн, садится завтракать, растягивается под светом ламп, глядит оттуда на окно спальни, все еще закрытое, обходит библиотеки, кинозалы, столы с напитками, ему предлагают обед. Он спрашивает, не проснулась ли госпожа, ему отвечают, что она недавно заказала завтрак, а потом просила не беспокоить, ее мучает сильная головная боль. Ему сообщают, что на улице дождь.

Сумерки в зеркальном саду. Роберто возвращается в спальню, Аманда одевается. Девушка великолепна в вечернем платье, она еще слаба, но улыбается. Мгновения спустя Роберто в смокинге ищет ее в саду, где она обещала его ждать. Там при свечах накрыт стол, но ее нет. Он ищет ее и обнаруживает в библиотеке. Она просит пить, они идут к напиткам, она выбирает шампанское. Он наливает, они чокаются, но девушка не пьет, отставив бокал. Он целует ее, начинает раздевать. Она не отзывается на ласки, но и не ускользает. Он раздевает ее, раздевается сам, закрывает дверь, любовные игры (инициатива только его) продолжаются, она безучастна, но не препятствует ему. Он спрашивает, счастлива ли она, сладко ли ей, тут в ней происходит перемена, она говорит “да” и осыпает его страстными ласками. Он достигает невероятного оргазма, она таинственно закрывает глаза. Он спрашивает, счастлива ли она с ним, в ответ звучит “да”.

Солнце клонится к закату. Роберто, стоя среди открытых коробок с фильмами, спрашивает слугу, не прошла ли у госпожи головная боль, ела ли она что-то. Слуга отвечает, что госпожи нет в спальне. Она оставила записку. Роберто ищет записку, там сказано, что Аманда не желает показываться, ей нездоровится.

Одиннадцать часов — ночи? дня? Роберто спрашивает, ему отвечают, что ночи, он сидит перед накрытым ужином, почти ни к чему не притрагивается, звонит телефон, слуга зовет

его, это Аманда. Она говорит, что они увидятся завтра, пусть не беспокоится, не разыскивает ее, она в доме, ей уже лучше. Она очень устала, не хочет показываться ему в ужасном виде.

Вечер. Роберто плавает один в бассейне. Аманда бесшумно подходит, ныряет. Выныривает рядом с Роберто, обнимает его с улыбкой. Роберто счастлив: она снова в его объятиях. Они выходят из воды. Она обтирает его, говорит, что ей зябко. Они идут в спальню. Роберто принимается неистово ее целовать, сначала Аманда вроде поддается, но вскоре противится натиску. Она отпихивает Роберто, его ярость нарастает, девушка умоляет не прикасаться к ней, она утомлена, просит запастись терпением, не тревожить ее сон, и, если можно, пусть спит этой ночью в другой комнате, она же заснет в его простынях, это мимолетное желание, пустяк. Роберто покидает комнату, прежде извинившись за свою необузданность и поцеловав Аманду в щеку. Аманда обещает, что завтра они отправятся в дом с видом на простор.

Утро. Роберто просыпается в своей новой спальне. Голова раскалывается, у кровати стоит пустая бутылка, стакан, ведерко со льдом, содовая. Роберто отправляется на поиски Аманды, дверь ее спальни открыта, он входит, видит, что там убирается служанка. Она сообщает, что госпожа ушла очень поздно прошлой ночью. Роберто зовут к телефону. Это Мистер Ли. Резко, с угрозой в голосе он говорит, что Роберто не выполнил обещанного, не занимался Амандой. Девушка снова в опиумной курильне. Роберто уверяет, что любит Аманду и борется за ее спасение. Мистер Ли вешает трубку, не попрощавшись.

Роберто ведут в прачечную по странному коридору, он ищет Мадам Ву. Видит ее, спрашивает про Аманду, китаянка проводит его к девушке. Глаза Аманды открыты, но неизвестно, видит ли она что-то перед собой. Роберто обнимает ее в надежде, что она очнется, но девушка не отвечает, она понимает, что это он, но не проявляет радости. Роберто просит трубку и для себя, чтобы разделить с девушкой все ее ощущения. Мадам Ву зажигает трубку, Роберто вдыхает дым, обнимает Аманду, но эффекта нет. Роберто просит помощи у Мадам Ву, умоляет не оставлять их, спрашивает, почему он ничего не чувствует. Китаянка объясняет, что опий чурается нетерпеливых, не любит их. Опий уходит от таких, оставляет им морфий, героин, самоубийство, смерть. Роберто умоляет Мадам Ву помочь, ведь только почувствовав то, что ощущает Аман-

да, он сможет ее понять. Китаянка лишает его надежды: “Опий — самый быстрый наркотик. Легкие впитывают его дым моментально. Но надо отдаться ему, как женщина отдается мужчине. Тот, кто ищет лишь мимолетного забытья, добьется только одного — позывов к тошноте. С опием все четко и определенно: если вы обещаете предаться ему, не ставя условий, тогда опий станет вашим другом”. Роберто теряет терпение, он пытается привести Аманду в чувство, забрать ее оттуда. Девушка говорит, что прежде хотела бы попросить китаянку вновь предсказать им будущее. Мадам Ву отказывается, отвечает, что все им уже сказала, что союз восторжествует, если ни одна из сторон не получит особых выгод, ведь эгоизм ведет к концу любого союза. Роберто пытается увести Аманду силой, девушка сопротивляется, Роберто распаляется, тащит ее волоком. Аманда выкрикивает имя, пока Роберто волочит ее по коридору, кто-то сзади наносит сильный удар ему по голове, он падает без сознания.

Роберто очнулся от жуткой боли. Он в доме Мистера Ли, один в маленькой каморке. Встает, не понимая еще, где очутился. Выходит в зал, там Мистер Ли раскладывает пасьянс, у его ног на подушках возлежит Аманда, она не спит, вид у нее вялый, в руке бокал. Мистер Ли не здоровается. Роберто спрашивает, что случилось. Аманда отводит его в сторону, к фонтану, она вытирает ему кровь на темечке, куда пришелся удар. Роберто просит ее уйти оттуда вместе, он опасается угроз китайца, умоляет спасти его, ведь теперь это он от нее зависит. Она относится к этому безучастно. Слышен голос Мистера Ли, тот зовет девушку. Аманда просит Роберто подождать. Аманда подходит к Мистеру Ли, тот говорит, что пора объясниться. Она вернулась к наркотику, не сдержала слово, укоряет ее китаец. Аманда отвечает, что во всем виноват Роберто, он обманул, он ее не любит, напротив, оскорблял тем, что игнорировал ее, заставил томиться от желания и фрустрации, и тем самым вновь толкнул ее к опиуму. Мистер Ли говорит, что тогда он велит своим людям убрать Роберто, Аманда просит этого не делать, умоляет отпустить его. Мистер Ли соглашается. Он сам отведет его к выходу. Мистер Ли подходит к Роберто, объясняет, что его выпустят, он сможет вернуться к обычной жизни, если того захочет. Роберто отвечает, что уже и не знает, чего хочет. Мистер Ли просит разрешения завязать ему глаза, тогда его смогут отвести к выходу. Три человека ждут в дверях, у лестницы, ведущей наверх, к коридорам. Роберто просит китайца беречь Аманду, он ее никогда не забудет. Китаец не отвечает, они поднимаются по лестнице. Люди ведут Ро-

берто по затейливому коридору. Один из них достает пистолет, ставит глушитель. Стреляет Роберто в сердце. Тот падает замертво. Его относят обратно к Мистеру Ли. Он зовет Аманду. Девушка в ужасе. Мистер Ли объясняет, что Роберто заслужил это как негодяй. Аманда рыдает в отчаянии, говорит, что вовсе нет, Роберто ни в чем не виноват, теперь она понимает: он единственный мужчина, которого она любила. Безутешно плача, она сжимает Роберто в объятиях. Называет китайца злодеем. Мистер Ли отвечает, что человек, видевший его в истинном обличье, а не как старичка-владельца лавки, обречен жить под надзором, пока не умрет. Поэтому он был вынужден убить Роберто. Кроме того, Мистер Ли обвиняет Аманду во лжи, спровоцировавшей гибель невинного человека, в том, что она использовала его самого, Мистера Ли, для нелепого злодеяния. Аманда падает перед трупом, у нее нет сил даже плакать, еле слышно она признает, что во всем виновата. Смилостивившись, Мистер Ли подходит и начинает ее гладить, все более сладострастно. Внезапно девушка реагирует, резко отталкивает его руку, говорит, что он ей противен, “пока ты упиваешься похотью, я корчусь от омерзения”. Тогда китаец винит ее в том, что ей был омерзителен и Роберто, вообще все мужчины. Аманда отрицает, Роберто она смогла полюбить. Она просит китайца зажечь трубку с опием. Мистер Ли отказывается, Аманда валяется в ногах у китайца, умоляет дать наркотик. Китаец винит ее в том, что живет в постоянном страхе ее потерять, Аманда умоляет, корчится на полу, требуя наркотика. Мистер Ли не уступает. Наконец Аманда говорит: да, он страдает, Роберто мертв, но оба мужчины по-настоящему познали, что такое блаженство, что такое жизнь. Аманда всегда была мертва. “Вы оба жили, я же — никогда”. Аманда лежит распростертая на полу. Мистер Ли идет за наркотиком, раскуривает трубку, опускается на колени перед Амандой. Она в изнеможении стонет, хнычет как ребенок, “да, моя девочка, да, милая”, нежно шепчет Мистер Ли, подносит мундштук к ее губам, девушка вдыхает. Ее одолевает дрема, китаец поддерживает Аманду, она бормочет во сне, ее охватывают видения. “Роберто... ты обнимаешь меня, и мне хорошо, ты смотришь на меня, и я такая, как ты мечтаешь. Ты обнимаешь меня, и я вот-вот стану водой, я вся вода, ты пьешь меня, и я уже в тебе. Отрады полон ты, и я узнаю вкус отрады, ведь мне она неведома, неведомо блаженство. А ты уже вкусил их...”

Мексика, 1975 г.

Вацлав Гавел

Антикоды
Встреча с Горбачевым

Стихи, эссе

Перевод с чешского Инны Безруковой

Вступление Сергея Скорвида

В январе 2008 года, отвечая корреспонденту чешского журнала "Тыден" на вопрос, какое определение он выбрал бы для короткой статьи о себе в каком-нибудь интернет-словаре лет через пятьдесят, Вацлав Гавел сказал: "Больше всего мне пришлось бы по душе, если бы там написали, что я — драматург, который проявлял себя как гражданин, благодаря чему в конце концов часть своей жизни провел, занимая высокий политический пост".

В России — собственно, еще в Советском Союзе — Гавел, наоборот, стал известен вначале как гражданин (в правозащитных кругах циркулировало программное заявление знаменитой "Хартии-77", к составлению которого он имел самое непосредственное отношение), а позже и как политик. Одной из первых его русскоязычных публикаций стали фрагменты книги "Заочный допрос", написанной в форме интервью с чешским журналистом К. Гвиждялой, которые — по свежим следам "бархатной революции" — вышли (в переводе И. Безруковой) в декабрьском номере "Лите-

© Václav Havel – heirs c/o DILIA, 1993
© Václav Havel – heirs c/o DILIA, 1990
© Инна Безрукова. Перевод, 2012
© Сергей Скорвид. Вступление, 2012

ратурной газеты" за 1989 год. То были фрагменты, касавшиеся в основном "пражской весны", грубо оборванной вторжением войск Варшавского договора в августе 1968-го, а также диссидентского движения в Чехословакии 70—80-х годов: разумеется, все эти процессы преподнесены сквозь призму личного восприятия автора, непосредственно вовлеченного в них. В публикации была и фотография Гавела, победно вскинувшего правую руку с разведенными буквой "V" пальцами на сцене легендарного пражского театра "Чиногерни клуб", где 19 ноября 1989 года возникло первое в Чехии послереволюционное политическое движение "Гражданский форум". Впрочем, с той же страницы "Литературной газеты" на читателя смотрел тогдашний первый секретарь Союза социалистической молодежи Чехословакии Васил Могорита, чей портрет en face иллюстрировал его большую статью под заголовком "Верю в чехословацкий социализм!"

Оригинал "Заочного допроса", вышедший в тамиздате в 1986 году, прислал мне из Лондона мой польский приятель, а в начале 1990-го я ксерокопировал в Университете города Орхуса в датской Ютландии сборник пьес Гавела 1970—1976 годов, тоже тамиздатовский ("Sixty-Eight Publishers", 1977); эти копии сразу же пошли в ход при подготовке первой на русском языке книги избранных произведений Гавела под названием "Трудно сосредоточиться" ("Художественная литература", 1990). В качестве предисловия в ней была помещена предвыборная листовка с постскриптумом: избран президентом Чехословакии 29 декабря 1989 года. Так, с миру по нитке, собирались для публикаций тех лет оригинальные гавеловские тексты, потому что в России их тогда, как казалось, не было, да и вообще мы, становившиеся богемистами в пору советского застоя и чехословацкой "нормализации", не знали и не могли знать ни драматурга, а затем диссидента Вацлава Гавела, ни романиста, а затем учредителя упомянутого эмигрантского издательства "Sixty-Eight Publishers" Йозефа Шкворецкого, которые теперь, в конце 2011 — начале 2012-го, оба, друг за другом, ушли из жизни.

На самом деле, конечно, и тексты Гавела, по крайней мере периода "пражской весны", в России были, и знать о них мы могли бы. Передо мной литературный сборник 1967 года "Подобы" (что можно перевести словом "Облики") с такими именами уже на суперобложке, как Гавел, Гейда, Грабал, Коларж, Лингартова, Восковец, Заградничек... На титульной странице сборника — штамп "Каб. Славянской филологии МГУ" с вписанным от руки инвентарным номером книги — 63, относящийся к тем временам, когда филология в Московском университете обреталась еще на Моховой. Но студентам-славистам, воспитуемым в 70-е, разумеется, не объясняли, кто такие все эти авторы разных поколений, каждый по-своему значимый для чешской литературы второй половины XX века. Хорошо хотя бы, что не выбросили, а просто перевезли их тексты на Ленинские горы, где потом обнаружилось и еще кое-что: присланная приблизительно тогда же и долгие годы никем не востребованная хрестоматия для студентов-иностранцев, изучающих чешский, с образцами литературных произведений, призванными познакомить их с языком настоящих мастеров слова. Обычное для

университетов ротапринтное издание, в котором трудные слова были снабжены цифирками, отсылавшими к объяснениям в конце, а перед каждым текстом фигурировала короткая справка об авторе и его сочинении. Есть там и Вацлав Гавел, о котором сообщается:

Заведующий литературной частью театра "На Забрадли", пишет экспериментальную, так наз. "конкретную", поэзию (сборник "Антикоды", 1964); автор двух сатир: "Праздник в саду" (сентябрь 1963) и "Уведомление" (постановка — октябрь 1965).

За этим следует фрагмент первой пьесы, который предваряет такая характеристика:

Объект этой оригинальной драмы абсурда — в прямом смысле слова мещанство как "могущественнейшая общественная сила" современности, ее строительным материалом служат абсолютизированные фразы, а по форме это сатирический гротеск. В нашем отрывке старый, но "бодрый" сотрудник абсурдной Распорядительской службы Пльзак приходит на праздник другого, столь же бессмысленного учреждения — Ликвидационного комитета, — и демонстрирует непревзойденный образчик своих способностей. Пьеса стала театральным событием года.

Полный чешский текст "Праздника в саду" и других ранних драматических произведений Гавела — кроме "Уведомления", и еще пьесы "Трудно сосредоточиться" (1968), которая дала название сборнику 90-го года, — удалось найти в официальных изданиях теперь уже полувековой давности, сохранившихся в фондах ВГБИЛ им. М. А. Рудомино. Поистине, когда ищешь (если знаешь что) — обрящешь (пусть и не вдруг).

Не знаю, как воспринимали студенты-иностранцы 60-х годов отрывок из пьесы Гавела, который им предлагался в хрестоматии, завезенной кем-то в Москву. Сам я в его текст влюбился, начиная с первого же действия "Праздника в саду", и вот уже двадцать лет цитирую эту пьесу целыми пассажами. Например, такими:

Плудек. Так ты выиграл или проиграл?

Гуго. Тут выиграл, а тут проиграл.

Плудкова. То есть если ты тут выигрываешь, то тут проигрываешь?

Гуго. Да, и наоборот: если я тут проигрываю, то тут выигрываю.

Плудек. Видала, Божена? Вместо того чтобы выиграть — так выиграть, а проиграть — так проиграть, он лучше где-то чуток выиграет, а где-то малость проиграет...

Плудкова. Такой игрок далеко пойдет!

Если и можно согласиться с тем, что главный объект сатиры в драме абсурда, с которой начинал Вацлав Гавел, — мещанство (хотя в таком опреде-

лении из хрестоматии, приведенном выше, угадывается эзопов язык эпохи соцреализма), то следует добавить: во-первых, это те средние слои, для которых высшая карьера — выбиться в чиновники, в начальники, в функционеры, а во-вторых, их представители позиционируют себя как народ. То и другое "Праздник в саду" являет с самого начала, в том числе на языковом уровне. Речь всех персонажей пьесы представляет собой причудливый конгломерат забюрократизированных идеологических клише и псевдонародной фразеологии, замаскированной то под непринужденный разговорный стиль, то под фольклорное глубокомыслие. Уже один только "Праздник в саду" впору было бы растащить на пословицы, которых автор рассыпал в тексте великое множество. Кроил же он их по лекалу настоящего устного народного творчества, причем так мастерски, что составитель и редактор первого русскоязычного издания этой и еще восьми его пьес, Н. М. Зимянина, рекомендовала, приступая к переводу, обратиться к сочинению Ф. Л. Челаковского "Мудрость славянских народов в пословицах" (1851)! В нем, конечно, можно было найти только образцы для конструирования русских соответствий таких авторских построений, как, например: *Кормил, кормил хомяка — ан дудка в камыше и сгинь!* (в оригинале — суслик...) либо *Словишь зайчика — твоим станет*. Пародирует Гавел и социалистический новояз со всеми его лозунгами и штампами, например: "Распорядительская служба сегодня выступает где-то как бы единым фронтом в авангарде борьбы за новый подход к человеку!"

Речи, статьи, интервью Гавела-президента написаны пером не просто яркого публициста, но и блестящего литератора: как подметил А. Ермонский, откликаясь на книгу "Гостиница в горах" в журнале "Иностранная литература" (2000, № 12), Гавел здесь "предстает перед слушателями и проповедником, и моралистом, и эссеистом". Вот начало упоминаемой рецензентом благодарственной речи, с которой Гавел выступил в 1990 году в Иерусалиме при присуждении ему звания почетного доктора Еврейского университета:

...Мучась сознанием того, что я при своем незаконченном образовании не заслуживаю этого звания, я воспринимаю его как чудесный дар, который вновь и вновь приводит меня в смущение, и не могу отделаться от мысли, что вот-вот появится некто посвященный, вырвет у меня из рук только что полученный диплом и, взяв за шиворот, выведет меня из зала со словами, что все это ошибка, помноженная на мою наглость.

Вы, конечно, поняли, к чему я клоню. Я хочу воспользоваться этим случаем, чтобы выразить в нескольких фразах свою давнюю искреннюю любовь к великому сыну еврейского народа, пражскому писателю Францу Кафке.

Проза Кафки, несомненно, близка была Гавелу прежде всего поэтикой абсурда. Она еще в 60-е годы была воспринята молодым чешским драматургом, работавшим в пражском театре "На Забрадли", когда там ставились культовые пьесы Беккета, Ионеско и других классиков этого жанра. Воспри-

нята тем органичнее, что Гавел — выходец из буржуазной семьи, владевшей, в частности, прославленной пражской киностудией "Баррандов", — вырастал в атмосфере социалистического абсурда, который был неотъемлемой частью повседневной жизни общества. Именно поэтому, видимо, уже первые его пьесы имели такой шумный успех у чешских зрителей.

В наши дни почти все драматические произведения Гавела переведены на русский язык и изданы, в основном, в двух названных выше книгах. Две его пьесы были впервые напечатаны в журнале "Иностранная литература": это "Протест" (1978) в переводе Т. Николаевой (1990, № 7) и "Уход" (2007) в переводе О. Луковой (2009, № 1), последняя из них вышла затем в сборнике "Вацлав Гавел и другие. Шесть чешских пьес" (СПб.: Балтийские сезоны, 2009). Трудно сказать, почему драматургия Гавела не получила в России масштабного сценического воплощения: может быть, как раз из-за ее центральноевропейской камерности? В 1990 году режиссер Борис Щедрин планировал поставить в театре Моссовета "Искушение" (1985) — пьесу на "фаустовскую" тему — с Леонидом Марковым и Георгием Тараторкиным в главных ролях; я делал тогда ее рабочий перевод для читки... дальше которой дело не пошло. С середины же 90-х с моноспектаклем по одноактным пьесам "Аудиенция" и "Вернисаж" (обе 1975 года) выступает на разных сценических площадках Александр Филиппенко — и это пока всё...

По-русски напечатаны также основные прозаические тексты В. Гавела. Кроме "Заочного допроса", полностью выпущенного совместно пражским издательством "Мелантрих" и московским "Новости" в 1990—1991 годах, и большой подборки выступлений на общественно-политические и литературно-критические темы за период с 1975 по 1999 годы в книге "Гостиница в горах", многое публиковалось в периодических изданиях. В частности, среди первых — предисловие к памфлету Д. Татарки "Демон согласия" в журнале "Иностранная литература" (1990, № 4) и "Слово о слове" — речь, прочитанная в отсутствие автора в октябре 1989 года на книжной ярмарке во Франкфурте-на-Майне по случаю награждения Гавела премией немецких книготорговцев (журнал "Всемирное слово", 1991, № 1, перевод В. Каменской и О. Малевича).

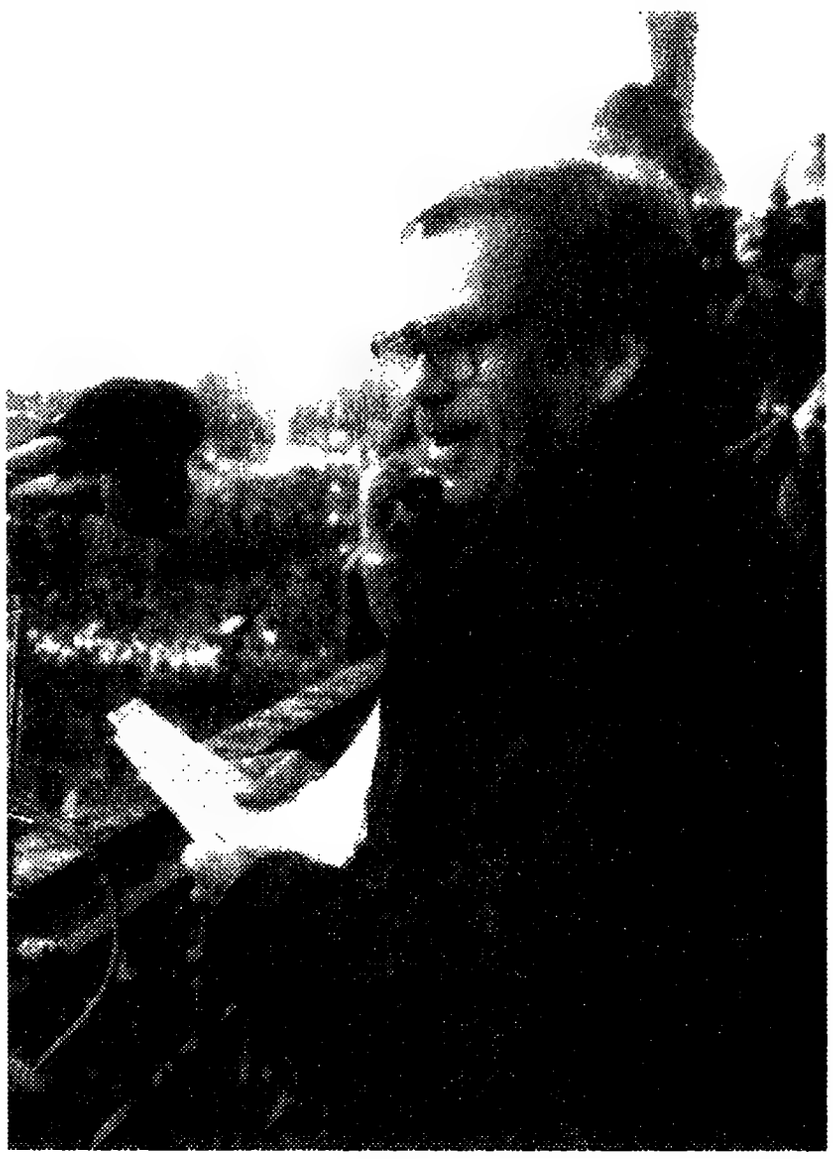
И тем не менее даже в раннем — времен "пражской весны" — и в последующем, "диссидентском", творчестве Вацлава Гавела остаются некоторые не слишком хорошо известные российскому читателю грани. Одна из них — его экспериментальная, "конкретная" (термин Иржи Коларжа) или, как называл это сам автор, "типографическая" поэзия. Одиннадцать ее образцов из сборника 1964 года "Антикоды" были напечатаны в книге "Трудно сосредоточиться", но, во-первых, к ним есть что добавить, а во-вторых, мало кто у нас знает, что Гавел создавал антикоды и впоследствии, вплоть до начала 90-х годов. Ниже публикуется более репрезентативная, нежели в первом русском издании, подборка антикодов разных лет, позволяющая убедиться в том, что это была тоже поэзия абсурда, как и драмы Гавела, и в ней опять-таки звучат мотивы, идущие от Кафки и от Беккета, но в первую очередь отражается очень своеобразно преломленная эпоха.

В публицистике Гавела также очень часто всплывают кафковская и беккетовская темы. Приведу вслед за А. Ермонским еще один яркий пример: речь, произнесенную Гавелом в октябре 1992 года в Париже при избрании его в члены Академии гуманитарных и политических наук, в которой он размышлял о феномене ожидания:

На одном полюсе обширного спектра всевозможных видов ожидания находится ожидание Годо, олицетворяющего универсальное спасение. Ожидание многих из нас, живших в коммунистическом мире, бывало часто или всегда весьма близким к этой крайней его форме. Окруженные со всех сторон, скованные и внутренне, так сказать, колонизированные тоталитарной системой, люди переставали видеть выход, утрачивали желание что-либо делать и ощущение того, что вообще что-либо можно делать. Попросту утрачивали надежду. Но они не утратили и не могли утратить потребность надеяться, ибо без надежды не бывает осмысленной жизни. Поэтому люди ждали Годо. Не имея надежды в самих себе, они связывали ее с приходом какого-то неясного спасения извне. Однако Годо — во всяком случае как предмет ожидания — не приходит, потому что его просто не существует...

Так говорил Гавел-президент. А ранее, в июле 1987 года, Гавел-диссидент сделал одну зарисовку, в которой развивается, по сути, та же мысль. Эта зарисовка публикуется ниже вслед за антикодами.

Вацлав Гавел – рабочий пивоваренного завода в г. Трутнов, 1975 г.



Чешская "бархатная революция". Прага, 25 ноября 1989 г. Через месяц с небольшим Вацлав Гавел станет президентом ЧССР

Антикоды

жизньжизньжизнь
жизньжизньжизнь
жизньжизньжизнь
жизньжизньжизнь
жизньжизньжизньжизньжизньжизнь
жизньжизньжизньжизньжизньжизнь
жизньжизньжизньжизньжизньжизнь
жизньжизньжизнь
жизньжизньжизнь
жизньжизньжизнь
жизньжизньжизнь
жизньжизньжизнь
жизньжизньжизнь
жизньжизньжизнь
жизньжизньжизнь
жизньжизньжизнь
жизньжизньжизнь
жизньжизньжизнь
жизньжизньжизнь
жизньжизньжизнь

На тему Беккета

ЖЕНЩИНА
И
З
ПОХОРОНЫ
Ь

Альтернатива

/1/

Мы ведь ЛЮДИ!

/2/

МЫ ВЕДЬ люди!

“Замок”, *часть вторая*

Уважаемый товарищ
учитывая вашу профессиональную квалификацию
и инициативное отношение к нашему хозяйству
настоящим назначаю вас
первым заместителем по животноводству
на землях нашего замка
ваш Кламм

А на следующий день землемер К
начал готовить коренную реорганизацию
животноводства на землях замка
сокращенно именуемую Акцией К

вперед
вперед вперед
вперед вперед
вперед вперед
вперед вперед
вперед вперед
вперед вперед
вперед вперед
вперед вперед
вперед вперед
вперед вперед
вперед вперед
вперед вперед
вперед

Лозунг

Э к о
н о м
ь Б у
м а г
у !

П*редписание*

Ввиду того что как выяснилось
обвинение
которое мы против вас выдвинули
основывалось на фальшивых документах

и приговор
который мы вам вынесли
противоречил действующему законодательству
настоятельно предлагаем вам
незамедлительно встать
в целях возвращения вам прав человека
в наши ряды

Ч*истосердечное заявление*

Заявляем
что мы — со своим народом
и что наше место — **здесь**
(или на худой конец в Швейцарии
в случае если бы вдруг все же
не приведи господи
еще что-нибудь разразилось)

ЗАЯВЛЯЕМ!
ТРЕБУЕМ!
НАСТАИВАЕМ!
НЕ ОТСТУПИМ!
ПРИЗЫВАЕМ!
ОБЕЩАЕМ!
НЕ ПРЕДАДИМ!
ОТВЕРГАЕМ!
НЕ ДОПУСТИМ!
НЕ ПОЗВОЛИМ!
ОСУЖДАЕМ!
ВЫСТОИМ!
НЕ ПОДВЕДЕМ!
НЕ УСТУПИМ!
НЕ ПРИЕМЛЕМ!

Гм...

Встреча с Горбачевым

Визит царя-реформатора в губернию, где правят, благодаря вмешательству его предшественника, контрреформаторы, выглядел событием — во всяком случае на уровне ожидания — настолько пикантным, что в Прагу съехалось невиданное количество журналистов. Но если они прибыли вовремя, то царь-реформатор заставлял себя ждать. Поэтому корреспонденты убивали время по-разному — в частности, встречаясь с диссидентами. У меня их перебывали десятки; все спрашивали, что я думаю о новом царе, и мне было страшно неловко повторять без конца одни и те же слова, тем более что я не находил в них ничего оригинального; что бы я ни произносил, у меня тут же появлялось ощущение, будто я это уже где-то слышал или читал. Ничего удивительного: сегодня в мире нет человека, о котором говорили бы больше, так что не мудрено: все, что можно о нем сказать, уже кто-то когда-то сказал.

Наконец он приехал, и я вздохнул с облегчением: у журналистов теперь появилось более интересное развлечение, чем выслушивать от меня то, что они сами уже до того где-то написали.

Я живу неподалеку от пражского Национального театра, сейчас половина десятого вечера, ни одного журналиста рядом нет, и я выхожу прогуляться со своей собакой. И что же я вижу? Бесконечные вереницы припаркованных роскошных машин, бесчисленное множество полицейских, сверкающий Национальный театр! Я сразу понимаю ситуацию: Горбачев смотрит спектакль. Меня обуревает любопытство (я, видите ли, по натуре зевака), и я направляюсь к Национальному театру. Благодаря собаке, прокладывающей мне дорогу, я пробиваюсь в первый ряд. Стою, жду — спектакль должен вот-вот закончиться. Наблюдаю, слушаю людей вокруг. Это случайные прохожие, совсем не организованная публика, но и не люди, пришедшие сюда специально, чтобы увидеть Горбачева, это просто такие же зеваки, как я, которые шли из одного кабачка в другой, заметили какое-то оживление и из любопытства остановились. Они отпускают кучу саркастических замечаний, прежде всего по адресу длинных шеренг тайных агентов, которые никак на это не реагируют (наверное, им запретили провоцировать какие-либо конфликты, которые могли бы омрачить визит).

Наконец-то! Внезапное оживление в рядах полицейских, у машин вспыхивают фары, заводятся моторы, из театра вы-

ходят высокопоставленные лица. И, как ни в чем не бывало, идет он сам! Рядом с ним Раиса, вокруг вьются агенты.

И тут меня ждет первый сюрприз: все эти циничные и ироничные остряки, которые еще совсем недавно беспощадно издевались над правителями и их охранниками, внезапно — как по взмаху волшебной палочки — превращаются в восторженную, неистово бурлящую толпу, они продираются вперед, чтобы суметь помахать главному властелину.

Разумеется, ни о какой "вечной дружбе с Советским Союзом" речи не шло. В этом было нечто куда более опасное: люди приветствуют человека, о котором думают, что он привез им свободу.

От этого я загрустил, и мне пришло в голову, что этот народ ничто не научит: ведь он уже столько раз обращал свои надежды к некоей внешней силе, ожидая, что она решит за него все его проблемы, столько раз горько разочаровывался и был вынужден признать, что никто не поможет ему, кроме него самого, — и вот опять та же ошибка! Та же иллюзия! Похоже, они и впрямь верят, что Горбачев приехал сюда освободить их от Гусака!

А царь-реформатор тем временем приближался к тому месту, где стоял я. Невысокий и коренастый, этакий симпатичный шарик (возможно, только казавшийся таким рядом со своими могучими охранниками), он выглядел слегка растерянным и беспомощным, улыбался — как мне показалось — искренне и махал нам как-то заговорщицки, причем практически каждому из нас в отдельности и каждому — персонально. И тут новый сюрприз: мне вдруг стало его жаль.

Я представил себе его жизнь: вокруг целый день малосимпатичные физиономии охранников, программа наверняка напряженнейшая, бесконечные встречи, речи и переговоры, необходимость беседовать с множеством людей, помнить их всех, отличать одного от другого, бесконечно произносить что-то остроумное и одновременно правильное, за что мир, ожидающий сенсаций, не мог бы ухватиться, чтобы использовать это каким-нибудь образом против него, необходимость все время улыбаться и посещать, вот как сегодня, всякие представления... а он вместо этого наверняка предпочел бы отдохнуть... да еще и выпить после такого трудного дня нельзя!

Но я быстро подавил свою жалость. Я сказал себе: он сам этого хотел. Он знал, что его ждет.

Значит, такой образ жизни ему по душе, иначе он не встал бы на этот путь. Я запретил себе сочувствовать ему и раздраженно прикрикнул на самого себя: не уподобляйся всем этим

западным простакам, которые тают, как снеговик в печке, стоит какому-то восточному владыке одарить их обворожительной улыбкой! Будь реалистом и веди себя сообразно тем реалистическим оценкам, которые ты тут целых три дня разворачивал перед иностранными журналистами!

Горбачев, человек, который так хвалил в Праге одно из худших правительств, какие имела эта страна на протяжении современной истории, шагает совсем рядом со мной, машет, дружески улыбается — и мне вдруг кажется, что машет он именно мне и улыбается тоже мне.

И третья неожиданность: внезапно я осознаю, что моя учтивость, которая велит мне ответить на приветствие, оказалась проворнее моих политологических размышлений — я растерянно поднимаю руку и машу в ответ.

Шарик вкатился в свой лимузин и умчался в нем со стокилометровой скоростью прочь. Толпа расходится, люди — вполне обыденно — тянутся в кабачки, куда они и держали путь, когда наткнулись на этот аттракцион.

Я с собакой иду домой, задумываясь о себе самом.

И тут настает время четвертой и последней неожиданности: я совершенно не корю себя за свое робкое помахивание рукой. У меня же действительно нет никакой причины не ответить на приветствие просвещенного царя!

Ведь это две разные вещи — ответить на его приветствие и откреститься от собственной ответственности, перекладывая этот груз на его плечи.

июль 1987

Адам Торп
Затаив дыхание

Роман

Перевод с английского Инны Стам

Глава восьмая

На следующее утро он сидел в кабинете, глядя в пространство; в груди зияла пустота. Его оцепенение прервал звонок в дверь.

На пороге стоял Эдвард Кокрин, уже без сумки из “Оддбинз”. Часы показывали десять утра, но Эдвард был явно навеселе.

– Ты ее все-таки открыл?

– Ты о чем?

– О бутылке, о чем же еще! Пробка, что ли, тугая попалась? А может, рука ослабла? Винцо наверняка было славное. Я в таких случаях использую вакуумный насос.

– Славное, но не очень, Эдвард.

– Хуже нет распивать хорошую бутылочку в одиночку. А я было поначалу решил, что ты жену трахаешь – аж весь скрючился.

– Слушай, я сейчас работаю...

– Ты за ней смотри в оба. Не то останешься с носом, как я. Будешь пить в одиночку. Всё – в одиночку. У меня – гляди – руки не слабые. – Издав отвратительный смешок, Эдвард заговорил вдруг с выговором итонского выпускника пятидесятых годов. – Кстати, в любой момент можешь сдать мне ее напрокат. Она ведь жутко аппетитная, а тебе и *невдомек*. Кто произвел на свет трех пригожих ребятишек? Я! Без проблем. Уж по *этой* части недостатков – ноль.

– Слушай, Эдвард, прости мою прямоту, но ты даже на забавного клоуна уже не тянешь. Обыкновенный хам, блин, и точка.

Джек раздраженно захлопнул дверь. Перед носом у соседа! – досадовал он на себя, расхаживая взад и вперед по каби-

Окончание. Начало в “ИЛ”, 2013, № 7, 8.

нету. Еще и облаял Кокрина. Слово “недостатки” не выходило у него из головы.

Говард счел, что хитрость с замочной скважиной удалась на славу. Джек в этом не уверен. Нет, он, конечно, Яну не отец; вообще говоря, он и Кайе никто. Возможно, он несостоятелен во всем. Но это не мешает ему чувствовать свою причастность к этой истории.

Он немного опасается Кайи — кто знает, что у нее на уме? Стало быть, ему нужно участвовать в происходящем. Она приехала в Лондон, разыскала Говарда, вторглась в его мир, потому что надеялась — нет, точно знала, что встретит здесь *его*. В конце концов, у них состоялся разговор. Она сказала “возможно”. Зачем? Это же вранье. Яан не имеет к нему никакого отношения. Он более прямой. Очень своеобразный. Его сын.

Нет, Яан — сын какого-то другого человека. Даже не бывшего мужа Кайи.

Джеку представилась длинная череда мужчин: шаркая ногами, они идут мимо нее. И он в их числе. Бредет, повесив голову. Один из многих.

— Я кое-что пропустил. Отчего она заплакала, а потом заговорила о правде и лжи? — позже спросил он Говарда.

— Да ни с того ни с сего, — ответил Говард. — Может быть, из-за моей шутки насчет ЦРУ. С иностранцами ведь никогда не знаешь, где у них больная мозоль. Между прочим, уходя, уже на пороге, она заявила, что *непременно* тебе позвонит. Насчет аккомпанирования Яану. Теперь ситуация сильно упростилась, правда? Никакой кровной связи. Сопутствующих потерь, как говорят юристы, удалось избежать. Скажи мне хоть спасибо, скотина ты неблагодарная.

— Спасибо, Говард.

Джек и не заметил, как проспал на диване полдня. Из забытья его вывел звонок телефона. От причудливого сновидения в памяти осталась лишь смутная картина бегства и вымазанных черной липкой гадостью лошадей. Джек откашлялся и взял трубку. Вопреки опасениям, звонила не Кайя, а его ученик Радж, щупленький двенадцатилетний гений из Индии, Джек занимается с ним по вторникам, но в этот вторник он про урок совершенно забыл. Радж, как и его учитель, обладает абсолютным слухом. Живет он в фешенебельном районе Чок-Фарм, на втором этаже, а на первом — шикарный магазин кулинарии и деликатесов, который принадлежит его родителям. Радж уже на крыльце, звонит по мобильнику, потому что ему никто не открывает дверь. А времени половина шестого, даже больше.

Джек соврал, что возился в саду, и пошел ополоснуть лицо холодной водой. Они с Раджем работают сейчас преимущест-

венно над фразировкой; в память о Кларе Ноулз, Джек предложил взять Сати, "Gymnopedie" № 2. Занятие прошло на удивление гладко. Он посоветовал Раджу посильнее налегать мизинцем на самую низкую ноту, чем очень развеселил мальчика.

— У тебя фразы не знают, где они завершаются, — пояснял Джек, хлопая ладонью по нотам. — А ведь у каждой есть начало, середина и конец. У тебя же середина может оказаться в конце, а конец — в середине; в результате в следующих двух тактах тебе некуда двигаться. Каждая фраза — это целая история. Смотри, вот эта длится пять тактов. Значит, тебе нужно предугадывать развитие твоей истории.

— Тогда в конце концов я расскажу их все, — со свойственным ему апломбом заключил Радж. В школе он наверняка успевает лучше остальных по всем предметам, кроме физкультуры, и с досады одноклассники его поколачивают.

— Верно, — подтвердил Джек, чувствуя, как у него теплеет на сердце: смышленый ученик — отрада для учителя, это одна из привлекательных сторон преподавания. — А большая история, которую Сати предлагает тебе разыграть, состоит из маленьких рассказиков. И каждый со своим настроением, говаривала моя давняя учительница музыки. Как и мы сами. Каждый из нас — это большая история, состоящая из множества мелких.

— Только у человека в одно и то же время происходит несколько маленьких историй, — подхватил Радж. — Они друг на друга налезают, как чешуйки у рыб. А в музыке не так.

Господи, подумал Джек, не мудрено, что в школе его задирают.

— Мне кажется, Радж, у нас все куда сложнее, — сказал Джек. — Больше похоже на пучок спутанных проволочек, чем на рыбью чешую.

— Надеюсь, что не на голую проволоку, подсоединенную к мощному генератору, — вставил Радж, выразительно корчась на табурете.

— Нет. Но если ты влезешь в мою шкуру, то — да.

Радж закатился смехом и чуть не свалился на пол.

Тут опять зазвонил телефон; в трубке послышался голос Кайи.

Ему совсем не хочется умереть на электрическом стуле. А что еще важнее, он никому не желает такой смерти. Завтра в одиннадцать утра он встречается с Кайей в Ридженс-парке. В среду, по ее словам, у нее в гостинице выходной. Он не стал спрашивать, чем она там занимается: момент неподходящий, есть опасность поставить ее в неловкое положение. Скорее

всего, работает горничной: меняет грязные простыни, вытирает пятна от напитков на прикроватных столиках, вытаскивает из-под матрацев заскорузлые комья бумажных салфеток и носовых платков, у двери номера сваливает в кучу влажные махровые полотенца, которые в прачечной потом стирают и отбеливают, в ущерб мировой экологии. Как-то, приехав в Мадрид, Джек остановился в четырехзвездочном отеле и застукал уборщицу на месте преступления: она обшаривала его чемодан. Какой только плесени не водится в больших отелях! А какими желаниями одержим персонал! Постояльцам лучше в углы да под ковры не заглядывать — себе дороже. То же самое можно сказать и про мир музыки, подумал Джек и усмехнулся. Он возился на кухне: Милли скоро должна вернуться из Оксфорда. Теперь его главная задача — спланировать свои действия так, чтобы никому не причинить боли, чтоб обойтись без жалоб и доносов. Кайя должна понять, что между ними все кончено. Он извинится за то, что ей привирал, и на этом точка. Отлично. А в качестве возмещения он будет бесплатно давать Яну уроки. И деньгами поможет. Внесет свою лепту в строительство новой Европы.

Милли ни о чем не узнает. Он представит Кайю как мать одного из своих учеников, и все будет шито-крыто.

Рубашка на нем еще отдавала больничными запахами, хотя уже побывала в стирке. Его мать привыкла и к своим страданиям, и к лечебным процедурам; все вошло в свою колею.

Милли приехала из Оксфорда в половине одиннадцатого, измученная и раздраженная: без видимых причин поезд простоял в тоннеле полтора часа. Внимание, сказал себе Джек, входим в зону предменструального напряжения. Ступай неслышно и заметай следы, точно лис. Раз Микель умер, может быть, того лиса все-таки выпустили из клетки возле дровяника. Не забыть бы спросить Кайю.

Ужин, который он старательно приготовил, не удался. Жене обычно нравится его запеканка с мясом, но, простояв в духовке лишний час, блюдо пересохло и вдобавок стало отзывать пропотелым исподним. Милли молча насупилась и подлила себе вина. Но в кулинарной неудаче он не повинен, решил Джек.

До приезда жены он смотрел по кабельному телевидению какой-то малоизвестный документальный фильм о постановке в Румынии оперы по “Андромахе” Расина и теперь самому себе кажется вялым английским занудой. Убийство Пирра было представлено прямо на сцене: под, откровенно говоря, чахлую и скрипучую музыку в жестяную ванну вбухивали жуткое количество свиной крови. Молодой композитор с пуссе-

тами в ушах и прической под панка, очевидно, помешан на Штокхаузене и Кейдже. А в общем, можно считать, что получилось очень свежо.

Джек пожалел, что не родился там, где жизнь трудна и интересна, хотя сознавал, что само это желание типично для обитателей Хэмпстеда.

Он принялся пересказывать Милли этот документальный фильм, но она отделывалась лишь невнятными междометиями; мысли ее витали где-то далеко, глаза остекленели. Она выступала на конференции с докладом о юртах и разбранила чиновника из градостроительного ведомства за инструкции, затрудняющие использование юрт под жилье. В ответ чиновник разразился пустой бессмысленной речью, выставив ее перед участниками собрания какой-то хиппачкой.

Отстраненность жены действовала Джеку на нервы, хотя он понимал, что злиться глупо: после тяжкого, посвященного юртам дня она же не обязана, следуя некоему идеалу семейной жизни, восторженно внимать описанию румынской оперы по трагедии “Андромаха”.

На эстраде в Ридженс-парке он увидел группу детей из Хорватии. Некоторые в джинсах и майках с надписью на груди: “Хороший Стрелок Молодец — Этот Хорватия!”, остальные — в национальных костюмах.

Джек пришел рано, Кайя пока не появилась. Погода для сентября стоит на редкость жаркая, к чему бы это? Бред, не хватало еще волноваться из-за погоды.

Он сел в шезлонг; тут же подошел служитель и взял плату. Ребятишки прекрасно пели хорватские хоралы и народные песни, но потом перешли на английскую популярную классику. Когда они завели “Вечер трудного дня”[1], Джек поднялся и ушел. Зря они это поют, думал он. Прочие зрители в шезлонгах, по большей части престарелые англичане и туристы с фотокамерами, снисходительно улыбались и хлопали.

Настроение у него испортилось; к чувству превосходства примешивалось ощущение ущербности. Он прошелся до озера, потом обратно — проверить, не появилась ли Кайя.

Когда мальчишеский дискант на варварском английском запел “Желтую подводную лодку”, Джек понял, что худшего места для встречи во всем Лондоне не сыскать, за исключением разве что магазина грамзаписей “HMV” на Оксфорд-стрит.

1. Песня английской группы “Битлз”. (*Здесь и далее – прим. перев.*)

Он вдруг сильно занервничал, захотелось в уборную.

Естественно, в ту же минуту на дорожке появилась Кайя.

– Привет!

– Привет, Кайя.

В последний момент он заколебался: поцеловать ее легонько в щеки или ограничиться рукопожатием? В результате оба смутились, закивали головами и бестолково замахали руками.

Кайя рассмеялась и прижала ладони к щекам:

– Мы с ума сошли!

Сейчас, в солнечном свете, он может разглядеть ее куда лучше, чем в замочную скважину или в церковном сумраке, – как тогда, в Хэмпстеде, – или выглядывая из-за дерева на другой стороне улицы. От прежней Кайи шестилетней давности эту отличают лишь тонкие морщинки у глаз и налет усталости. Длинные распущенные, как раньше, волосы почти одного цвета с ее ожерельем из позолоченных кружочков, похожих на старинные кованые монетки. Одни эти волосы цвета спелой ржи мгновенно притягивают восхищенные взгляды. Самое мощное оружие эстонок, обронила она когда-то. Те же необыкновенные сине-зеленые глаза, аспидно-серые в сумерках. Так же поблескивают высокие скулы. Его губы помнят их гладкую кожу.

– Да уж, ведем себя как ненормальные, – натянуто улыбаясь, согласился Джек; ее непринужденность и красота почему-то вызывали раздражение.

Склонив голову набок, она окинула взглядом его лицо, волосы и заключила:

– Ты немножечко постарел.

– А ты нет, – отозвался он, и раздражение улетучилось, словно воздух из пробитой шины.

На ней низко сидящие шорты и тонкая кремовая майка без рукавов; лифчика, видимо, не надела. В оголенном пупке золотистой капелькой мелькнула пуссета. Модные рваные шорты из джинсовой варенки доходят ей до колен: похоже, дорогие. Джек вдруг почувствовал знакомое возбуждение и подосадовал на себя. Он успел позабыть, какое у нее гибкое тренированное тело – мускулистые плечи, крепкая спина; да, Кайя разительно отличается от сутулых, пугливых англичанок. Может, она специально оделась, как поп-звезда?

– Ладно, давай-ка подыщем лавку и сядем, – холодноватым тоном предложил он. – Денек сегодня на редкость погожий.

Довольно долго они шли по берегу почти в полном молчании, изредка перебрасываясь репликами про плещущихся в озере уток. Вода отступила, от обнажившегося илистого дна тянуло гнилью. Утки, как обычно, галдели; они то шумно ссо-

рились, то выступали с сольными импровизациями, эхом разносившимися по парку. Заслышав их, маленькие дети сначала замирали, а потом тыкали в птиц пальцами и сами поднимали крик. Но народу вокруг было не много.

Наконец, они с Кайей нашли скамейку и сели в нескольких дюймах друг от друга. Прохожие примут их за влюбленную парочку, а мужчины будут бросать на его девушку восхищенные взгляды, кольнула неприятная мысль. Тем более неприятная, что его так и подмывает тихонько обвить рукой тонкую голую талию Кайи, или прижаться губами к татуировке на спине, повыше лопатки, или стянуть с ее ног римские сандалии и сжать ладонями ее ступни.

— Это журавль? — спросил он, едва не пошлепав ее по татуированному плечу.

— Феникс, — ответила она. — Возрождается из пепла.

— Понятно. — Он кивнул и сунул ладони под бедра.

— Джек, я не хочу здесь долго задерживаться.

— Вот как?

Она смотрит прямо перед собой на воду, на камыши и плавающих по озеру птиц, среди них затесались лысухи и одинокий, сердитый с виду лебедь. Развесистая ива слева от скамьи бросает кружевную тень. Вокруг большей частью итальянская или французская речь. Изредка слышится английский: аристократический выговор, мудреные словеса, чересчур громкие реплики; похоже на отбракованные кадры из передачи об искусстве. Стрелки на столбе указывают путь к зоопарку и к Ридженс-Парк-колледжу. Милли раньше ходила туда к гомеопату, его звали Брайан. Джек ощутил, что привычная жизнь крепко держит его на крючке.

— Знаешь, все могло быть гораздо серьезнее, — заговорила наконец Кайя. — Но ни стрельбы, ни ударов ножом не будет. Ничего такого, что, к примеру, описал Толстой в "Крейцеровой сонате". Помнишь?

— Помню, — сказал Джек, хотя "Сонаты" не читал. — Но трагедии случаются и без таких выходок. Могут случиться.

— Я ждала шесть лет.

Одна утка то и дело опускала головку в воду и выдергивала обратно. В воду — и обратно. Вытянет голову, отряхнется, осмотрится — и опять в воду.

Таков, видимо, конец очень длинной фразы, которая началась в Таллинне с затяжки тонкой сигарой, а теперь завершается ныряющей в воду гладкой перламутровой утиной головкой.

— И не оставляла надежды?

— Нет.

Она вынула помятую фотографию и протянула ему. Джек в смятении смотрел на карточку: он стоит перед деревянной овцой, на ее заду болтаются большие стригальные ножницы. В смятении он оттого, что выглядит жалким идиотом и вдобавок заметно моложе себя теперешнего. А вид-то какой самодовольный! И при этом смущенный. Волшебное было время. И безумное.

— Надо же! — только и выдавил он.

Она сунула карточку в сумку, вынула пачку "Кэмел" и одну сигарету протянула ему.

— Почему бы и нет? — сказал Джек и взял сигарету.

На миг их глаза встретились; радужка у нее тоже серо-перламутровая, как внутренняя сторона двустворчатой раковины, отметил про себя Джек. Скорее всего, этот образ он где-то позаимствовал — возможно, прочел в журнале, романе или стихотворении, когда искал для себя что-нибудь вдохновляющее на сочинение пьесы или хотя бы музыки к стихам. Кайя щелкнула пластмассовой зажигалкой "бик" — он видел такие у парижан, — поднесла огонек ему, потом закурила сама. Джек вдохнул дым и закашлялся.

— По крайней мере, на этот раз обошлось без оплеухи, — прохрипел он, хлопая себя по груди. Кайя рассмеялась, а он сквозь кашель добавил: — Прости, но я сигареты терпеть не могу.

— Следует понимать, что их не терпит твоя жена.

— Пусть так, но в этом я с ней согласен.

— Она очень сильная женщина, да?

— Да.

Джеку было неприятно, что Кайя заговорила про Милли, он невольно ощетинился. Мерзкий вкус табачного дыма заполонил рот.

— Во-первых, должна тебе сказать, что я знаю про ребенка, — продолжала Кайя. — Знаю, что вы его потеряли. По твоей музыке поняла.

— Ты шутишь?

— "Песнь с черного экрана".

— Вот это да! Браво! Самое неудачное название в мире.

— Я даже плакала. Правда, пьеса мне понравилась не сразу, пришлось слушать много раз.

— С тех пор нам никак не удается зачать ребенка — почти наверняка вследствие той трагедии. Что-то... надломилось. В общем, шансов теперь мало.

— Ты в этом уверен?

— Таково мнение специалистов.

Его коробит, что она сочувственно обсуждает их с Милли глубоко личные дела, но ведь он рассказал о них сам, по соб-

ственной воле. Вдалеке заверещал малыш: требует чего-то, а ему не дают. Несмотря на расстояние, детский крик действует на нервы: в нем, как ни странно, слышится подлинное страдание. На миг вопли смолкли, потом разом возобновились, будто кто-то включил рубильник. А каково тем, кто рядом, подумал Джек, — полный кошмар. Он смахнул запутавшийся в волосах медно-рыжий лист.

— И не сказать, чтобы мы с женой оставили попытки, — проронил он и почувствовал, как загорелись кончики ушей.

— Понятно.

Выпятив губы, Кайя затянулась и тут же выпустила струю дыма. Солнце, пробиваясь сквозь листву, щедро осыпало золотом ее волосы. Очень длинные и такие легкие, что вздымаются даже под едва ощутимым ветерком. Наверно, если она разденется догола, они, как прежде, закроют ей груди.

Вся в мыльной пене...

— Наш сын... Его дефект был... — она смолкла, подыскивая слово, — *спровоцирован.*

Слово "наш" исполнено огромного смысла. Возможно, отец еще присутствует в их жизни.

— Ты имеешь в виду ногу?

— Ну да. Сейчас она уже много лучше, гораздо прямее. С младенчества — гипс, разные фиксирующие аппараты, врачи... Эта нога всегда будет чуть короче и менее подвижная, чем другая. А что спровоцировало, знаешь? Стимуляторы для спортсменов.

— Допинг?

— Ну да, когда я занималась гимнастикой, еще в советские времена. Я же тебе рассказывала.

— А-а, да-да.

На самом деле она мельком обронила, что ее заставляли принимать препараты, позволяющие добиваться высоких результатов. Возможно, благодаря этой химии она и выглядела юной девушкой, почти подростком. Сейчас она уже так молодо не выглядит.

— Отрыгнуть и выплюнуть всю отраву не удавалось. Не исключено, что я скоро заболею раком.

Джек нахмурился; перед глазами возник серый лабиринт коридоров, какие-то фигуры в белых халатах со шприцами в руках.

— Серьезно? И что за препараты?

— Гормональное дерьмо, которым нас пичкали. Друзья его сдавали на исследование; теперь они сами на пороге смерти, понимаешь? А у девочек из моей команды — у них рождались увечные детки и даже мертвые. Мы стали маленьки-

ми солдатами в "холодной войне": обязаны быть во всеоружии, побеждать любой ценой. Не спорт, а политика.

Она глубоко затянулась. Напрасно она курит, особенно если есть угроза рака.

— Как себя чувствует твоя мать? — спросила она.

Приятно, что Кайя про нее вспомнила. А он все еще пытается осознать те грязные уловки с допингом, их последствия, их страшный вред, — точно старый заброшенный завод, продолжающий отравлять землю ядовитыми отходами. Разрушительное вторжение мрачного прошлого. Надо было хотя бы посочувствовать ей, но теперь, как водится, подходящий момент уже упущен.

— Со здоровьем у нее неважно, — ответил Джек. — Хвастаться нечем. Она ведь ослепла.

Кайя кивнула.

— Но у тебя есть музыка, — сказала она.

— У меня?

— *Твоя* музыка. Мистер Давенпорт говорит, что ты пишешь мало, но я думаю, твоя музыка очень неплохая.

"Очень неплохая"! Джек огорчился. Слушая ее певучий голос, ее мягкий иностранный акцент, он ожидал, что длинное предложение завершится совсем иначе.

— Неплохая, значит...

— Ну да. Хорошая. Я покупала все твои диски.

— Ага, все, то есть три. Удивительно, что тебе удалось их раздобыть.

— Пришлось, конечно, повозиться. Я знаю про все твои концерты и лекции. Выискивала в интернете всё, что можно. Выслеживала тебя. Ты оставил мне придуманную фамилию, но я рыскала по сети, используя имена Джек и Арво Пярт, плюс город Хейс. На поиски ушло несколько минут, потому что это же шесть лет назад. Но сеть тебя выловила. За несколько *минут*. Джек Миддлтон! Ура! Вот он: хорошая фотка, сидит, откинувшись на спинку пластмассового стула, невозмутимый такой. Узнать адрес тоже было легче легкого. Я долго плакала. Знаешь, какую фамилию ты мне написал?

Джек покачал головой. В спешке он нацарапал первое, что пришло в голову. Она посмотрела на него, и ее глаза снова затуманились. В скамейке, видимо, ослаб крепеж, она слегка покачивается.

— Стьюфорт, — сказала она. — Джек Стьюфорт.

— Ну, ладно тебе, — пробормотал он и отвернулся; хоть бы она сейчас не заплакала. В то же время на душе полегчало: значит, в длинную череду бредущих мимо Кайи слюнтяев он никогда не входил.

— Так вот зачем ты использовала моего друга Говарда как прикрытие. Чтобы выследить меня. А потом уже действовать в открытую.

— Мне нужно знать, чем занимается отец Яана, — твердо сказала она.

— Э-э, постой, — начал Джек. Не хватает еще, чтобы она на него давила.

— Точно, как говорил Каплинский — эстонский поэт, помнишь? Я тебе часто читала его стихи. Так вот: стихотворение, говорит он, похоже на прогулку вглубь своей души. Когда я навожу о тебе справки, это сходно с таким стихотворением.

— Тут одна маленькая заковыка: Яан не мой сын.

— Твой.

— Кайя, я *знаю*, что нет. Знаю наверняка.

— Понятно — ты *думаешь*, что он не твой сын. Но он твой. Без всякого "возможно". Точно.

— Гм, прости, но ты сама сказала Говарду... Вернее, Говард Давенпорт мне сказал... что Яан безусловно сын... музыканта, который играл на банджо. И любил музыку каджун. Сын твоего мастера по акулам.

Джек глядел в неверную темную глубь распахнутых глаз, не сомневаясь, что перед ним закоренелая, патологическая лгунья.

— Я это сказала со злости.

— На кого?

— На тебя. За то, что подглядывал.

— Я? Подглядывал?!

— Подслушивал, точно шпион. Почему не установил "жучок"? А? — Она покачала головой, глядя, как он хочет прикинуться несправедливо обиженным, а у самого вид до смешного виноватый. — Подглядывать в замочную скважину — как это недостойно и примитивно! Ну да, я тебя заметила. И очень разозлилась.

— Как заметила?

— Поняла, что ты там сидишь. Когда мистер Давенпорт заговорил об отце, его взгляд сразу скользнул к двери. На секунду. И тут я увидела в скважине глаз. Естественно, твой. Чей же еще?

Видя искреннее изумление Джека, она презрительно фыркнула:

— Ты, видно, забыл, где и как я росла? На даче мы часто пели песни. Эстонские песни. Они были под запретом: пропаганда национализма. Ясно? — Он кивнул, но по-прежнему не мог себе это представить. — Прекрасные народные песни. Под запретом. Каждый раз нужно было проверять, что

никто не притаился в засаде, не подслушивает нас. И тогда пели, пусть тайком, с опаской, но все-таки пели. Для меня замочная скважина — огромное отверстие. Мне видно все, что творится за ней. Перемена в освещении, тень, движение, звуки. У меня глаз рыси, вот. Понял? Эстонской рыси. Думаешь, я круглая дура? Нам приходилось постоянно быть начеку, читать по лицам и глазам людей. Ведь собственный отец, сестра или дядя могли оказаться шпионами. Или лучший друг. Мы вечно вглядывались в лица. Чтобы вовремя заметить вранье.

Джек онемел. Все его нутро испуганной мокрицей свернулось в тугой узел.

Солнце скрылось за тучей, вода, трава и деревья разом потемнели. В груди тяжелым орудием забухало сердце, началась самая настоящая нервная атака. А причина ей — Яан.

У него есть сын! Он ведь и так был в этом уверен. А сейчас должен взять на себя какие-то обязательства. Джек глубоко вздохнул, но заговорить не успел.

— Ладно, теперь ты знаешь, — заключила Кайя. — Ты — его папа. Без сомнений. Потому что никакого другого не было. У меня свое... достоинство. Я тебя ждала. Писала письма...

— Мы переехали, — невнятно пробормотал Джек.

Он не забыл, как, не читая, рвал письма, которые пересылались на его новый адрес. Кайя снова презрительно покачала головой.

— Послушай, я хочу попытаться... стать отцом. Но не хочу оставлять жену. Милли.

Кайя сосредоточенно вглядывалась в его лицо, будто сомневалась в надежности собственной позиции.

— А как же я? — спросила она.

— Ты?

Она прижала ладони к щекам и рассмеялась, сжимая в пальцах горящую сигарету:

— Чистое безумие, блин!

— В чем безумие?

— Уезжая из Таллинна, ты дал мне неверный номер телефона и адрес. Прокричал что-то, чего я не расслышала, потом замахал рукой, будто отплывал на корабле далеко-далеко. Ты не хотел, чтобы я ехала за тобой, мистер Стьюфорт, но я все-таки поехала.

— Я крикнул, что черкну тебе. Это значит “напишу”.

— Очередное фуфло, — отрезала она.

Джек закусил губу, раздираемый досадой и раскаянием. Над догорающей сигаретой вился дымок. Вероятно, словечек типа “фуфло” она нахваталась у преподавателя-американца.

— Я влез в твою жизнь, — забормотал он. — Нарушил твои планы. Испортил все, что мог. Позволь мне хотя бы попросить прощения.

— Я тем не менее продолжала *учиться*, — будто удивляясь самой себе, сказала она. — Мои родители стали помогать мне с Яаном, года через два, понимаешь? Я изучала русский, французский и английский. В октябре начну работать над докторской диссертацией в университете Вестминстера.

— Ничего себе! — воскликнул Джек, чувствуя смутную тревогу.

— Да, по эстетике русского дореволюционного футуризма. Они, кстати, отвергли символизм ради фонетической формы — чистейшая лингвистика. *Музыка* языка, то самое, что поэты опасались использовать, потому что это, понимаешь... это как скрип при шлифовке...

— Режет ухо?

— Да-да, режет. Невероятно! Представь: чистокровная эстонка изучает русских футуристов! Вот она, интеграция. В ней есть великодушие, готовность прощать. Она только чуточку запоздала. Я была год замужем. За парнем по фамилии Крон, он финский эстонец. Строил супермаркет на Хааремаа. Но я его бросила. Он влез в очень грязное дело. Я этого не знала. Не наркотики, не девочки и тому подобная гадость, а финансы. Может, отмывал деньги? Его отправили назад в Финляндию.

Она снова глубоко затянулась и несколько мгновений не выпускала дым. Ее рассказ произвел на Джека большое впечатление. Ей удалось повидать куда больше, чем ему. Трудно даже представить себе, чего и сколько она навидалась. А мистер Крон? Плечистый мордатый финн с вульгарно ярким галстуком?..

— Почему ты оставила его фамилию?

— Несколько месяцев я все же была счастлива.

— Молодец, что сумела заняться наукой.

А с мистером Миддлтоном она была счастлива всего несколько дней. Десять, наверно, не больше. В ушах зазвенел тоненький голосок: *Я плачу слишком дорогую цену. Что я такого сделал? Всего-навсего с ней переспал.* Мысленно отмахнувшись, Джек поставил локти на колени и подался вперед. Лавка опять качнулась. Черт, попробуй тут сосредоточиться, с досадой подумал он.

— В жизни обязательно бывает что-то хорошее, — промолвила она.

— Я действительно ездил на пресловутую Северную Окружную, пытался найти твою квартиру в Баундз-Грин.

— У нас там комнатка при кухне, — сказала Кайя, глядя на свои сандалии. Ногти у нее на ногах веселенького зеленого цвета — для смеха, что ли. — Но дом трясется, только если мимо едут тяжелые грузовики. Унитаз вечно забит дерьмом. Правда, на Хааремаа канализация была не лучше. Когда я на работе, а у Яана нет уроков, за ним присматривает одна латышка.

— Ты ей платишь?

— Нет, учу ее английскому. Взаимовыгодный обмен. Она официантка.

— В той же гостинице?

— Я работаю от агентства по найму. В двух или трех гостиницах, вернее, крупных отелях. Платят очень мало. В год выходит меньше восьми тысяч.

— Уборщицей?

Кайя засмеялась:

— Бери выше, это называется горничная. Дерьмо, а не работа. Я вкалывала три недели. Потом мне предложили место администратора. Я хорошо выгляжу, владею английским, русским и французским. “Les jardins, comme des femmes, semblent faire leur toilette pour les fêtes de l’été”[1].

— Неплохо. Бодлер?

— Флобер. “Госпожа Бовари”. Однажды пришлось переводить весь этот абзац на эстонский. Прелестная строчка. Очень музыкальная, правда? Флобера я в диссертации тоже затрону.

Джек кивнул и задумчиво потер подбородок. Куда девать руки?

— Из “Госпожи Бовари” я отчетливо помню, как лист папоротника зацепился за ее шпору, — сказал он.

— Ммм?

Джек сел на собственные ладони, скамья качнулась.

— Тот, гм, тот эпизод в лесу, перед страстной сценой; они едут верхом, друг подле друга, она и ее любовник. Он нагибается к ней, чтобы вытащить из стремени листья папоротника, помнишь? Я когда-то мечтал написать оперу “Мадам Бовари”. В семнадцать-то лет. Очень амбициозный был юнец. Что я тогда понимал!

— Словом, я администратор, — сказала Кайя, и Джек понял, что подавил ее болтовней про папоротник, про свои юношеские честолюбивые мечты и раннюю одаренность.

— Хорошо, что не уборщица.

1. “Сады, словно женщины, наряжаются к летним праздникам” (*франц.*). Перевод Н. Любимова.

— Да, только уже с души воротит от мужчин, которые с места в карьер норовят заманить меня в постель.

Джек понимающе кивнул; уши у него опять вспыхнули.

— А тебе известно, — продолжала она, — что уборщица обязана пальцем замерять, сколько бумажных салфеток осталось в коробке?

— Замерять *салфетки*?! — фыркнул он.

— Ну, а почему нет? Если слишком мало, остаток просто выбрасывают и кладут новую стопку. А вот если постоялец остается вообще без салфеток — тогда точно беда. И для постояльца, и для уборщицы.

— Неужели правда?

— Да, хуже, чем грязь в туалете. Сразу вышвырнут с работы. Как-то в коридоре отеля я заглянула в наши пакеты с мусором; знаешь, что я увидела? Чуть ли не все коробки были наполовину полными. Столько добра — на ветер! Я все думала, как эту задачку решить. Догадайся как.

Непонятно, шутит она или говорит серьезно. Может, это какая-то замысловатая метафора? Не важно; он не в силах оторвать глаза от ее движущихся губ.

— Извини, сдаюсь.

— И ты считаешь себя гением?

— Увы, нет.

— Ладно. Так вот, просто-напросто надо красной чертой отметить уровень, с которого пачка идет к концу, — как на чековой ленте в магазинах. И на уровне последних пятнадцати или, там, двадцати салфеток печатать эту красную черту. Тогда не нужно будет ни пальцем замерять, ни выбрасывать добро на помойку. Отличная идея, да? Вот таким способом я и разбогатею.

Джек кивнул; на душе было смутно и одиноко.

— Прекрасная мысль, Кайя. Но пока богатство на тебя не свалилось, я хотел бы вытащить вас из той дыры. Словом, поддержать материально. Даже если мы не станем делать анализ на ДНК.

— Анализ? На ДНК?

Джек небрежно махнул рукой:

— Чистая формальность. Чтобы убедиться, что отец — действительно я. По закону положено. Я тебе, конечно, верю, но, боюсь, чтобы оформить все официально...

Он смолк и смущенно почесал затылок.

— Ты меня не понял, — сказала она, глядя на него в упор. — Он от тебя. Твой сын.

— Я знаю, но...

— На хрен сдался твой анализ!

Джек был потрясен ее реакцией, лицо его запылало. Он тупо уставился на озеро; что-то выпрыгнуло из воды и плюхнулось обратно; наверно, крупная рыбина. На Кайю смотреть не хотелось. А она, раскачивая скамью, продолжала его честить.

— Думаешь, я тоже врунья? После тебя я целых два года ни с кем не сходилась. Ты знаешь, каково жить одной с ребенком? Круглые сутки с ним да с ним. Молчишь? Как ты можешь? Я не переставала тебя любить ни на минуту. Слушаю твою музыку, смотрю на твое фото в интернете — и еще сильнее тебя люблю. Я родила от тебя ребенка. Ему нужен папа, ясно? Ты можешь это понять?

Джек сидел, понурив голову; на ее вопрос он с натугой кивнул — будто у него заело шейные позвонки.

— Перед встречей с тобой я страшно волновалась, а теперь сама все гроблю. Но отец Яану *необходим*. Ну? Что скажешь? Говори же! — настойчиво и громко потребовала она.

Шедшая мимо пожилая чета обернулась; по лицам было видно, что эта колоритная размолвка на лавочке в парке их забавляет.

Не поднимая головы, Джек пристально глядел под ноги. Чего там только нет! Маленькие безобидные камешки, пыль, земля, мятая бутылочная крышка, рваная, похожая на цветок, обертка от "сникерса". Все вместе складывается в довольно замысловатую картину.

— Как там лис? — обращаясь к земле, едва слышно спросил он. — Тот, который в клетке сидел? Как он теперь, без твоего отца?

— Кто? Лис? — она пренебрежительно фыркнула. — Да все так же. Мама его кормит. Она его зовет Мик-Мик. Теперь у него есть имя.

— Надо было назвать его Джеком, — сказал он.

Следующие несколько дней прошли в разъездах: из Хэмпстеда в Хейс, оттуда вместе с отцом на автобусе в больницу к матери; остановка напротив "Трэвел-Инн", в нескольких минутах ходьбы от дома.

Джек не перестает удивляться тому, что Хейс, подобно многим другим городишкам, неуклонно приходит в упадок посреди общего процветания, потребительского бума с оборотом в триллионы фунтов, в стране, где только ленивый не берет кредитов. Вместо знакомого с детства универсама "Уэйтроуз" появился гигант "Лидл"[1] цвета помоев. Бесслед-

1. "Лидл" — немецкая сеть супермаркетов.

но исчезли зеленная лавка Данстана, “Скобяные товары” Дагли и ателье Хепворта; давно пропал, как не бывало, угловой магазинчик, масло там всегда отрезали от большого бруса и аккуратно подравнивали специальными деревянными лопатками. Зато теперь на каждом шагу вульгарные бутики, магазины товаров по сниженным ценам, увешанные режущими глаз аляповатыми тряпками, и запáкощенные галереи игровых автоматов. А то и вовсе ничего взамен. Шумная, забитая машинами Аксбридж-роуд рассекает город еще более безжалостно, чем прежде, немногим уступая Северной Окружной. Невзрачная пивнушка, куда он частенько захаживал в старших классах, превратилась в претенциозно оформленный бар, на террасе постоянно тусуются субчики, очень смахивающие на наркоманов, — все в плащах “берберри” и ослепительно белых кроссовках; в “счастливые часы” скидок они охотно налегают на спиртное. Как назло, к остановке надо идти мимо этого бара; и, хотя Джек с отцом обычно ходят по другой стороне улицы, насмешек и ругательств им все равно не миновать. Слова на “б” и “х” сыплются на них градом.

— Я еще в армии к такому привык, — только и проронил отец.

— Вступать с ними в перепалку вряд ли стоит; а хочется.

— Эти сопливые хамы только того и ждут, Джон. Если они тебе всего лишь сломают пальцы, считай, тебе *повезло*. Надо вернуть в Англии воинскую повинность. Пускай эти межеумки роют берлоги, чтобы в проливные ноябрьские дожди им было где приткнуться на ночь.

Джек покосился на отца: тот с трудом сдерживал накопившийся гнев, на виске змеилась толстая жила.

— Быть может, оно всегда так было, — предположил Джек. — Просто мы забываем.

— Вздор. Разве это люди? А ведь среди них и цветных-то почти нет.

Жизни матери уже ничто не угрожало, но ее, тем не менее, перевели на предпоследний, шестой, этаж, в гериатрическое отделение, и это вызывало беспокойство. На самом верхнем этаже, будто уже за гробом, располагалось детское отделение. Выше — только небо. Мать похудела, но держится бодро, оживленно. Отец выглядит крайне измученным. Похоже, здесь все забыли, что она ничего не видит. Сестры и няньки постоянно меняются, английскую речь наполовину не понимают. Старшая сестра повесила в изножье материнской кровати большой лист с предупреждением: СЛЕПАЯ ПАЦИЕНТКА, но ничего не изменилось — нянечка по-преж-

нему протягивает стакан воды и ждет, чтобы больная его взяла; или в ответ на ее просьбу молча кивает.

— Это вопрос культуры, — говорит отец. — В странах, откуда они к нам едут, их не учат элементарным вещам.

— Одна-две сестрички очень даже милые, — замечает мать, со вздохом откидываясь на подушки.

Дырки в черепе от винтов, на которых держится упор для головы, воспалились. Врачи опасаются стафилококковой инфекции, но мер никто не принимает, лишь время от времени протирают раны дезинфицирующими салфетками. Больница представляется Джеку гигантским памятником иллюзии здравоохранения, особенно здесь, на этаже для стариков. Стоит копнуть чуть глубже, и под пристойным медицинским обличьем обнаруживается непробиваемый монолит отчаяния, безнадежности жизни. И нечего уповать хотя бы на передышку: смерть никого ждать не станет. Но почему-то Джеку упорно вспоминается хиленький китаец с полиэтиленовым пакетом в руке, стоявший перед танковой колонной на площади Тяньаньмэнь.

Даже после того как дома он принял душ и переоделся, от него все равно отдает больницей. Этот запах въелся в тело. Милли тоже его ощущает. Последняя поездка была особенно трудной, даже чтение не спасало: он не мог сосредоточиться, постоянно думал о Кайе и Яне. Особенно о Яне. Все это напоминает жонглирование яйцами, только не крутыми и не деревянными. После встречи в Ридженс-парке он решился им позвонить, но Кайя разговаривала сухо. Непреклонно.

Их встреча у озера завершилась, мягко говоря, не лучшим образом.

— Ну? Что скажешь?

— Не знаю, Кайя. Речь идет о моей жизни. Моя жена... гм... ждет ребенка, — сказал он, уверяя себя самого, что это отчасти правда.

Вчера они опять предавались любви. Милли обычно бывает напряжена в предменструальный период, но тут она выпила несколько бокалов вина, расслабилась, и они занялись друг другом на диване перед телевизором. Би-би-си-2 передавала репортаж из Афганистана.

— И что? — сухо спросила Кайя.

Утки вдруг подняли истерический галдеж, напоминающий барабанную дробь перед казнью.

— Ну, и мне страшно не хочется... Можем договориться о какой-то...

— О чем?

— Я уже объяснял, — продолжал Джек, сознавая, что надо брать быка за рога, иначе он будет и дальше мямлить что-то невразумительное. — Я действительно хочу помогать Яну. Материально.

Кайя долго смотрела на озеро, на уток. Какой-то малыш сердито замахал рукой, пытаясь разогнать птиц. Нет, он их, оказывается, кормит. Вся прибрежная водная гладь усеяна хлебными крошками, утки крутятся, стараясь ухватить побольше. Мальчишка бросает неумело, часть хлеба летит ему за спину. Тут подходит мать, берет его за руку и портит все удовольствие. Кайя наблюдает за ними, уголок губ у нее приподнят. Но теперь это не предвестие улыбки, а гримаса досады.

— Для начала вытащу вас из вашей конуры в более приличное место.

Он уже это говорил. Появилась женщина в пиджаке, похожем на пиджак Милли; сердце Джека дятлом застучало в ребра. Милли тоже может случайно оказаться в Ридженс-парке: вдруг она отменила поездку в Девон и уже идет по дорожке сюда? Запросто. Или притопает кто-нибудь из его знакомых. Эндрю Бик, например. Абигейл Стонтон. Или кто-нибудь из друзей Милли. Хоть та же Олив Николсон.

— Деньги, — Кайя кивнула.

— А?

— Хочешь легко отделаться.

— О чем ты? Не понимаю.

— Потом дойдет.

Джек непроизвольно пожал плечами: все-таки она иностранка. Большую часть жизни провела на советском острове. Ее английский его раздражает, он вовсе не так хорош, как ей кажется. Впрочем, порой и собственный голос его раздражает — до того он вялый, тусклый. По-английски самодовольный. С гнусавостью, типичной для уроженца графства Миддлсекс. Он предпочел бы иностранный акцент.

— Я хочу, чтобы у моего сына был отец, — сдержанно сказала Кайя.

— Отец у него будет, обещаю. Я стану с ним видеться. Мы все будем проявлять терпимость и держаться в рамках приличий.

Она посмотрела ему в глаза. Наверно, он говорит глупости или бестолково излагает разумные вещи.

— А что будет со мной?

Джек отвел взгляд.

— С тобой я тоже смогу видеться. Разговаривать.

— *Бухло*! — раздался крик, точно сигнал тревоги.

— И что это значит?

– Останемся друзьями. Просто друзьями.

Такое чувство, что это произносит подросток, где-то в другом парке, на другой скамейке. Ему же сорок три года! Джек выпятил подбородок, стараясь держаться как зрелый мужчина.

– *Бух-ло-о!* – эхом разнеслось над озером. На то и был расчет.

Кайя кивнула.

– Для тебя – прекрасно. Для тебя все правда прекрасно. А его дразнят в школе, понятно? Из-за ноги. И английского. Одноклассники дразнят. Он страдает. А я? Зачем я здесь? Из-за Яна. Из-за тебя.

Джек отвел глаза и смиренно развел руками. А он, зачем он пишет музыку? Зачем вообще живет? Мальчишку мать уже силой тащит от воды, он вопит и молотит ножками. Утки отплыли на безопасное расстояние.

– Дело в том, что если жена узнает про Яна... – Он выразительно вздохнул и потер пальцами лоб. Тогда всем несдобровать, вертелось у него на языке, но голос не слушался. Впервые он пожалел, что шесть лет назад зашел в кафе "Магнолия". Кажется, так оно называлось. Боже, он забыл название! "Майоран"? "Маргарин"! "Магия"! Это просто смешно. Он сходит с ума. Кто кого обманывал? Одно дело – экстаз, и совсем другое – обычная жизнь. Нельзя строить жизнь в надежде на сплошной экстаз.

– Для тебя все прекрасно, – повторила она, будто не слыша его, и резко вскочила с места. Разболтанная скамейка отчаянно зашаталась; на миг Джек решил, что она опрокинется назад, и, размахивая руками, рванулся вперед. Идиотское зрелище.

Кайя швырнула окурок на дорожку. Она плачет. Глаза покраснели, в них блестят слезы; сунув ладони в задние карманы шортов, она смотрит на дымящийся окурок. Какая у нее прямая спина – спина и плечи настоящей гимнастки. На дорожке появилось трое сутулых придурков в бейсболках козырьком назад – типичные хулиганы; заметив Кайю, они призывно засвистели. Она даже бровью не повела. Придурки обернулись, заулюлюкали; Джек отвел глаза. С другой стороны приближался парень с айподом – звук включен на полную громкость, кажется, что он слушает стаю попугаев. "Мадьяр". "Мохаммед". Кафе "Мандибула".

– А ты-то чего хотела? – спросил он, подаваясь вперед. – На что рассчитывала? На... большее?

Ее ответ изо дня в день звучит у него в ушах, особенно когда он сидит в больнице у постели матери.

– Надеялась, что из моих рук и ног выдернут гвозди.

Милли теперь много времени проводит с Клаудией Гроув-Кэри. После того как Роджер вдребезги разбил ее машину и ушиб себе голову, он стал жаловаться на приступы головокружения. В результате все дела свалились на Клаудию, а Роджер, развалившись в шезлонге, целыми днями прохлаждается в саду.

К концу той недели, на которой Джек встречался с Кайей, Роджера уже увезли в клинику "Ройял-Фри" под наблюдение врачей; Клаудия по ошибке сказала: "Под надзор". Поскольку спиртное ему строго-настрого запрещено, Роджер не дает житья сестрам и нянькам. А у Милли выдалась неделя не слишком напряженная, она могла разок-другой отпроситься на полдня и посидеть с Рикко, пока Клаудия, по ее выражению, "сбега́ла из дому".

Вернувшись домой, Милли разражалась слезами. Для нее возиться с малышом, брать его на руки, целовать покрытую мягкими волосиками головенку — ни с чем не сравнимое удовольствие. У меня есть все, и в то же время — нет ничего, твердит она. Джек пытается ее утешать, но из больницы он возвращается почти без сил.

Вспоминая ту страстную сцену в кухне, он очень досадует на себя, что не кончил тогда в Милли. Быть может, их ребенок высох в ее ладони. Жена, по доброте душевной, винила себя, говорила, что выпила лишнего под рыбную запеканку. Зеленый горошек больше походил на жесткий сушеный горох из школьной столовой.

Первая настоящая встреча с Яаном была назначена на понедельник, так что выходные все равно прошли бы в напряженном ожидании. Миддлтоны решили принять тех, у кого сами уже побывали в гостях ("По очереди отстреливать будем", как выразилась Милли), или же копить новые светские обязательства. Милли была измучена, поэтому "отстрел" проходил в ресторанах, что в их кругу тогда считалось вполне допустимым. Правда, прибавился новый должок: днем, среди большого стечения народа, они бродили по выставке Матисса, где запахи стареющих тел и застоялого парфюма напомнили Джеку больничный душок, а затем опять поехали обедать к не знающим усталости Николсонам.

На приемы и визиты они потратили оба уик-энда, им и часу не удалось побыть вдвоем. В гостях пришлось выслушивать утомительно подробные описания путешествий в экзотические края, куда еще несколько лет назад забирались лишь киношники или сотрудники международных благотворительных организаций. В августе Хьюлетт-Арквеллы вместе с тремя детьми две недели бродили пешком по Непалу; они рассказывали об этом паломничестве так, будто съездили на двухднев-

ную экскурсию в Озерный край. Джек чувствовал себя никчемным занудой. Совсем мелкой сошкой, по любимому выражению матери. Другая супружеская пара, более солидного возраста, владеющая старинной деревянной яхтой, только что вернулась из путешествия на Канары. Оба докрасна загорелые, лоснящиеся самодовольством.

— Одна беда, — манерно растягивая слова, говорила жена, — в наше время люди просто помешались на деньгах. Деньги, деньги, деньги! А сколько в жизни вещей куда важнее. Например, здоровье.

Все дружно согласились; правда, Джек, подтверждая сложившееся у Николсонов мнение, все же не удержался и спросил:

— Значит, яхта досталась вам бесплатно?

Милли сочла его выходку вопиющей грубостью, а позже сообщила Джеку, что супруги потеряли единственную дочь — ее сгубили наркотики.

Милли, естественно, выступает против туризма, передвижения на самолетах и даже на машинах — кроме случаев крайней необходимости. Но дело не только в этом. Джек впал в апатию. Ему ничего не хочется. Сколько мороки: билеты, заказ гостиниц и прочее. Единственное место на земле, куда его безотчетно тянет, — это острова в Белом море. Почему именно туда, он давно позабыл; может быть, прочел в детстве книжку про Россию. Хааремаа с ними, наверно, схож.

В то же воскресенье вечером они еще поехали на концерт в Уигмор-Холл — только потому, что Джек обещал Барнаби послушать его. Барнаби — старый приятель, играет на клавесине, они вместе учились в музыкальном колледже, а сейчас бедняга на грани нервного срыва. Милли на концерте заснула. Исполнение было холодное, неинтересное — будто музыку отстукивали на пишущей машинке. После концерта он обнял Барнаби и заверил, что играл тот изумительно.

Джек сильно нервничал из-за предстоящей встречи с Яаном — вдруг она разочарует их обоих? Так оно и вышло.

Кайя предложила сразу после урока музыки привести сына в парк Кенсингтон-гарденз, к статуе Питера Пэна. Джек заранее купил большой красный футбольный мяч, но он оказался слишком легким, поскольку был сделан из пластика. Дул сильный осенний ветер, и мяч то и дело относило вверх и в сторону. Из-за косолапой ступни Яан не получал от игры удовольствия, а только огорчался. Некоторое время Кайя стояла поодаль, наблюдая за ними, потом незаметно ускользнула.

Джек забыл ее спросить, сказала ли она сыну, что мистер Миддлтон ему отец, и поэтому не знал, как держаться с мальчи-

ком. В кино его двойник непременно обнял бы ребенка, но Джек на это не решался: сначала надо убедиться, что Яан все *знает*.

Видя, как трудно Яану бить по мячу, он решил сменить игру:

— Давай бросать его друг другу — кто ловчей поймает.

Но ловить мяч Яан тоже не умел. Было видно, что это занятие его не радует. Он оглядывался, ища глазами мать. Подняв мяч, Джек стал перекидывать его с ладони на ладонь, потом с кулака на кулак, но под порывами ветра мяч жил своей жизнью. На губах мальчика мелькнула улыбка и мгновенно исчезла. Джек попытался соскрести ярко-зеленую наклейку с ценой, но не тут-то было: из-за жары она держалась стойко. Мальчик, щурясь, наблюдал за ним.

— А в крикет умеешь? — спросил Джек.

Яан пожал плечами и вопросительно произнес:

— Кайя? Моя мама?

В его речи уже слышался акцент лондонских окраин.

— Она пошла прогуляться, — сказал Джек.

— Почему?

— Потому что солнышко светит.

Он пытался перехватить взгляд Яана, но тот глубоко задумался. Мальчик заметно избегает смотреть людям в глаза и не любит, когда смотрят на него. Он крайне застенчив. Лицо чаще всего грустное. Лишь изредка его освещает улыбка, и тогда грусть кажется чем-то другим — возможно, это погруженность в свою внутреннюю жизнь. Может, он и *вправду* необыкновенно одарен? Пошел в отца? Джек и сам не умел в детстве бить по мячу, да и ловить тоже. Вокруг Питера Пэна толклась большая группа крикливых французских школьников; жаль, Джеку хотелось, чтобы Яан рассмотрел статую вблизи. Они пошли к Круглому пруду — полюбоваться на снующие по поверхности модели катеров и яхт, которые там традиционно запускают. Яан не взял Джека за руку, он один подошел к самой воде — еще совсем малыш, в джинсах и ярко-красной майке — и сосредоточенно наблюдал за шумным юрким катерком, который на бешеной скорости описывал круги, подчиняясь бесшумным командам сутулого мужчины в военной форме цвета хаки.

Глядя на мальчика, Джек испытывал странное, жутковатое чувство: это же он сам в детстве. Хорошо бы Яан, в отличие от отца, сумел полностью реализовать свой дар, пронзила сладкая мысль. От отца? Да, надо полагать, он в самом деле его отец, и Кайя не водит его за нос. Если, конечно, она не склонна к болезненным фантазиям.

Но между ним и мальчиком, который вроде бы его сын, есть какая-то преграда, нечто вроде сетчатого экрана. Глядя на

своего отпрыска, на повторение самого себя, он испытывает едва уловимую брезгливость. Он почти уверен, что воспринимал бы ребенка иначе, если бы его родила Милли: тогда все было бы честно и по закону. А теперь он оказался в странном, неестественном, навязанном ему положении. Но он старается не наломать дров. Отсоединяет проводок за проводком, пытаясь отключить взрыватель на смертоносной бомбе. Но проводков этих — не счесть.

Вместе с Яаном они вернулись к статуе и с облегчением увидели, что по лужайке к ним уже идет Кайя. Яан бегом бросился к ней, обнял и с нескрываемой радостью уткнулся лицом в ее бедра. Она улыбнулась и заговорила с сыном по-эстонски, ласково выпевая долгие гласные.

— А мы хорошо порезвились, — сказал Джек. — Он победил, молодец!

Договорились встретиться на том же месте через неделю.

— Потом, может быть, чаще, — проронила Кайя. В ярком свете солнца ее глаза сияли; Джек терялся под ее взглядом.

— Посмотрим, как пойдет, — пробормотал Джек, ероша Яану волосы.

— Как пойдет, — повторила Кайя, глядя на сынишку, который старательно приглаживал спутанные пряди. — Очень по-английски сказано. Практичный подход.

— Потихоньку-полегоньку оно лучше.

— Хочешь учиться у Джека играть на фортепьяно? — спросила Кайя. — У него дома. Такое умение всегда пригодится.

Мальчик кивнул. Джек понимал, что рано или поздно этот вопрос неизбежно возникнет, и даже прикидывал, как самому заговорить об этом с Яаном, но тут невольно подумал: ловко она меня обставила. На Кайе были шорты — по-модному неподшитые, с бахромой ниток — и опять открытая майка, но было видно, что ей не холодно. От нее чуточку пахло потом, а не духами с серой амброй, как шесть лет назад. Здорово было бы обнять ее прямо сейчас. Он чувствует, что погружается в эту мечту, как в трясину, а она тем временем говорит что-то Яану по-эстонски. Мимо прошла крупная девица, через всю грудь по розовой майке вилась надпись: КАНИКУЛА — ЛУЧШИЙ МИГ ГОДА.

Яан снова кивнул. Его мать повернулась к Джеку:

— Он очень хочет, чтобы ты учил его играть на рояле. Когда? После трех тридцати он свободен.

Только когда жены нет дома, вертится у него в голове.

— Мне удобно во вторник. В пять тридцать ко мне приходит другой ученик. В четыре часа устроит? Во вторник в четыре приедете?

— Это же завтра.

— Верно.

Сын держал Кайю за руку, другой она подбоченилась и, щурясь от солнца, снова глянула на Джека. Яан их не слушал: он самозабвенно двигал бровями — вверх-вниз, вверх-вниз.

— А ты стал другой, — тихо сказала Кайя. — Понимаешь? Может, в Эстонии был не ты?

— Ага, мой однояйцевый близнец, — отозвался Джек, почему-то уязвленный ее словами.

Она покачала головой:

— Близнецы всегда одинаковые.

— И кого из нас двоих ты предпочитаешь?

— Уж точно не английский вариант, — фыркнула она. — Но, возможно, это и есть *настоящий* ты. До завтра.

И ушла, прежде чем разом помрачневший Джек вновь обрел способность говорить. Яан похромал за матерью; казалось, к его ножке прикована цепь с чугунным шаром. Джек знает, что это за цепь и что за шар.

Нет такого понятия: история. Есть только наследие отцов.

Джек никак не мог сообразить, что именно замышляет Кайя. Если она действительно что-то замышляет. Поэтому ему было трудно разработать план обороны. Его преследовало ощущение, что он уже полностью разоблачен, поэтому и не думал сообщать Говарду, как развиваются события. А Говард скоро уедет на Сицилию, будет преподавать на летних курсах под кустами цветущей бугенвиллеи; примерно там, где Циклоп расправился с Акидом.

По понедельникам и вторникам, а также в выходные Джек дает несколько частных уроков и поэтому обычно не ездит в Хейс — живет по особому расписанию, в которое теперь входит и Кайя.

На следующий день ровно в четыре раздался звонок в дверь.

— Кайя, привет! Здорово, Яан! — с напускной сердечностью, как принято в Англии, поздоровался Джек. У маленькой железной калитки стоит такси, рядом, скрестив на груди руки, высится упитанный детина.

— У меня нет наличных, — объяснила Кайя, — а кредитку он не берет.

— Не волнуйся, — сказал Джек и ступил за порог, под яркое солнце.

К несчастью, именно в ту минуту на крыльце своего дома Эдвард Кокрин прощался с маляром, который только что закончил ремонт. Не прекращая разговора, оба жадно уставились на Кайю. Джек вышел за калитку и расплатился; из-под

бархатистой рубашки таксиста выпирали складки жира, напоминая носовую часть судна на воздушной подушке.

Возвращаясь в дом, Джек сдержанно помахал Эдварду. Может быть, он потерял не только жену, но еще и работу.

– Я верну тебе деньги, – сказала Кайя.

– Не надо. Значит, придешь за ним через час?

В прихожей их точно никто не видит.

– Я могу и здесь подождать. – Она произнесла это так, будто он сморозил глупость. – У тебя тут, похоже, не слишком тесно.

– Пожалуйста. Можно пойти в сад, посидеть в тенечке. Теплынь-то какая, в сентябре это редкость. К чему бы?

Потом ему стало жутко стыдно. С каким радушием и щедростью принимали его на Хааремаа. А он обращается с Кайей, как с мамашей очередного ученика. Минут десять он готовил ей чай, раскладывал на тарелочке излюбленные крекеры Милли – безвкусные, отдающие сеном, без крупинки сахара. Каким огромным и богатым, наверно, кажется Кайе особняк, в котором он разыгрывает перед ней свою обычную жизнь. О доме она больше не сказала ни слова, лишь несколько раз пошутила, чтобы развеселить Яна. Джеку на миг почудилось, что они – семья и это их дом, а Милли вообще не существует. Он ужаснулся. В то же время его злило, что Кайя влезла-таки в его жизнь. И даже командует. Но что с этим делать, непонятно.

Чайник закипел, и тут позвонила Марджори, уверенная, что дочка дома. Теща объяснила, что заснула на верхней лужайке, а проснувшись, решила, что время позднее. Солнце тем временем не дремало, а двигалось по небосводу, и Марджори оказалась на припеке. Я зажарилась, как сарделька, заключила она. Джек со вздохом положил трубку. Теща назвала его Джеко.

– Твоя мама?

– Нет, – ответил Джек, стараясь не замечать понимающей усмешки Кайи. Не ее это дело.

Он повел их в сад, надеясь, что Эдвард ушел в дом.

– Это типичный английский сад, Яан, – сказала Кайя и повторила фразу по-эстонски. Так, во всяком случае, думал Джек. Она проговорила что-то еще, после чего Яан посерьезнел и, выйдя на лужайку, старательно сделал кувырок вперед – только ноги мелькнули. Джек и Кайя захлопали в ладоши.

– Будущий гимнаст, – улыбнулся Джек и тут же спохватился: его слова можно принять за иронию! – Кстати, ты ему уже сказала? – тихонько спросил он.

– Нет. Еще нет. Хочу подождать и посмотреть. Как пойдет.

Яан стоял и, наклонив голову, внимательно разглядывал траву под ногами. У Джека екнуло сердце. В детстве я точно

так же частенько замирал на нашей лужайке размером с носовой платок, думал он. Потому что в пять лет ты ближе к земле, тебе не нужно опускаться на коленки, чтобы разглядеть, что там происходит. Хотя после папиных стараний облагородить нашу лужайку в Хейсе, на ней мало чего происходило.

Пока Джек занимался в кабинете с Яаном, Кайя сидела на воздухе в шезлонге и читала толстую эстонскую книгу по лингвистике. В любую минуту на пороге могла возникнуть Милли, хотя теоретически она должна вернуться из Хакни только часов в семь-восемь. Урок шел трудно — не по вине Яана, для своих пяти лет мальчик усваивал все легко, без малейшего напряжения, но Джека терзал страх, что Милли вернется раньше времени. Яан играл плоскими растопыренными пальцами, приходилось приподнимать и округло сгибать их. Прямо не пальцы, а цветочные стебельки, думал он. Когда Клара Ноулз ставила ему, уже десятилетнему, руку, она частенько повторяла, что его руки похожи на лесные анемоны — тоже не знают покоя. Лесной анемон еще называют ветреницей дубравной, объясняла она, поглаживая его пальцы между костяшками. Джек потом заглянул в свой "Справочник диких цветов" и удивился, увидев там почти слово в слово то, что говорила Клара. Его тоже тянуло погладить пальчики Яана, но он не решился. Знакомая учительница музыки, работающая в одной лондонской школе, говорила Джеку, что ей вообще запрещено касаться рук учеников — даже когда она ставит пальцы или делает замечание при их неверной постановке. Но Яан же его сын, значит, Джек имеет право взять его ручонку и сжать в своей. Очень хочется стиснуть его маленькую лапку, но Яан ведь не подозревает, что Джек его отец. Глупейшая ситуация.

Урок окончился, Яан пошел за матерью. Джек остался ждать их в зимнем саду.

— Спасибо, — сказала Кайя. — Ему понравилось.

— Мне тоже. Я вызову такси.

— Не надо. Мы сядем на автобус.

— Мне казалось, ты не любишь ездить на автобусах.

— Не очень. Но меня с детства научили справляться с такими страхами. Сколько я тебе должна?

— Шутишь, что ли?

Кайя пристально взглянула на него, словно хотела прочесть мысли по лицу. Джека почему-то охватила страшная усталость.

— Ладно, — сказала она. — Через неделю в то же время?

— Ну да.

— А в Кенсингтон-гарденз? В понедельник, после урока альта? Ему очень понравилось, как ты играл с ним в мяч.

– На следующей неделе мне сложновато, – соврал Джек. Нужно хотя бы отчасти овладеть ситуацией. Она и так выходит из-под контроля. Но слова Кайи о том, что Яан получил большое удовольствие от прогулки с ним, растрогали Джека. Слышать это было очень приятно.

– Я позвоню? Накануне? В воскресенье?

– Пожалуй, сюда звонить не стоит.

– Но я всего лишь мать ученика.

Джек понизил голос, чтобы не услышал Яан:

– Не совсем.

Когда Джек проводил их, из-за забора его окликнул Эдвард:

– Выбираешь все моложе и моложе?

Стоя на крыльце, только что покрытом желтой краской элегантного оттенка, Эдвард любовался результатом. Похоже, он простоял там битый час. Маляр вместе со своим снаряжением уже ушел. Джек в который раз пожалел, что живая изгородь, разделяющая участки, не вымахала хотя бы в человеческий рост.

– Начинать учиться лучше всего как раз в пять лет, – объяснил Джек. Он решил принять вопрос соседа за чистую монету. – Даже в четыре можно.

– Я про мамашу. Или это нянька?

– Мать.

– По виду иностранка. Откуда она?

Джек пожал плечами:

– Из Латвии, что ли.

– А богатенький папсик ей не требуется? Я бы с ней такое закрутил...

– По-моему, у нее уже кто-то есть.

Эдвард недовольно хрюкнул.

– Вот всегда так, – проворчал он. – А малец – это не тот вундеркинд?

– Какой вундеркинд?

– Ты про него рассказывал после кенвудского концерта. Помнишь? Про вундеркинда, которого учит Говард. Только тот не из Латвии, а из Эстонии. Я тогда даже подумал: а не махнуть ли мне снова туда, не подыскать ли там себе женку, – растравил ты меня своим рассказом про Эстонию.

– До такой степени? – спросил Джек, чувствуя, что Эдвард не спускает с него глаз.

– Бабы нас используют в хвост и в гриву, вот в чем штука. Знают, что нам до зарезу охота перепихнуться, вот и пользуются. Как тебе цвет?

– Отличный, – уже с порога откликнулся Джек.

— А Лилиан желтый ненавидела! — крикнул ему вслед Эдвард.

Он укладывался в постель рядом с Милли, уже сгорая от желания: она так соблазнительна в новой рубашке кремового шелка с широкими, украшенными тесьмой лямками поперек ключичных ямок...

— Эдвард сказал, у тебя новый ученик, — вдруг проронила Милли.

— Да. Вундеркинд, от Говарда.

— Ты мне не говорил. Хотя обычно рассказываешь.

— Неужто не сказал?

Словно чародей, он провел рукой над ее грудями, почти не касаясь скользкого шелка, потом стал ласкать бедра, стараясь не задевать пах: Милли не нравится, когда он ускоряет любовную прелюдию, она видит в этом проявление мужского сексизма. Впрочем, ей обычно не нужно много времени на раскачку.

— Может быть, из-за матери? — проронила она.

— А?

Сердце заколотилось почти у горла, но он крепился и продолжал ласкать ее, как ни в чем не бывало. Интересно, слышит она, как бухает его сердце? Может, чувствует его удары?

— Эдвард говорит, обалденная телка. Это, разумеется, его выражение.

Джек убрал руку и откинулся на спину. Он изрядно напугался, но продолжал бессмысленно улыбаться. Они по-прежнему касались друг друга плечами и бедрами, но он ощутил, что она чуточку отодвинулась.

— Чего Эдвард добивается? Нацелился закрутить с тобой роман?

— С какой стати?

— Да кто же откажется завести с тобой шашни? — в том же легкомысленном тоне продолжал Джек. — И я этих жеребцов не осуждаю.

Я бы охотно прикончил этого подонка, соседа нашего, вертелось у него на языке, но он сдержался: перед Милли выражать ненависть к соседу, то есть к ближнему своему, — не самый умный ход.

— Клаудия сказала, Роджеру предстоит операция, — со вздохом сообщила она. — Чтобы снизить внутричерепное давление.

— О Господи.

— Он может даже умереть.

— Правда? — искренне удивился Джек.

Для конца сентября ночь выдалась на редкость теплая. Они даже простынями не укрывались. Вокруг еще вились ко-

мары — сказывалась близость прудов. Пятнышко на потолке прямо напротив головы Джека вдруг исчезло и появилось в нескольких дюймах от прежнего места. Чтобы Роджера Гроув-Кэри не было в живых? Такое в голове не укладывается.

— Для нее это был бы самый лучший исход, — сказала Милли. — Она живет, как арестантка, ее лишь изредка, под честное слово, отпускают в супермаркет "Уэйтроуз". Ей впору облачиться в чадру. Ужас, что я мелю! Ушам не верю. Откуда, говоришь, твой новый ученик?

— А?

— Юный гений, как утверждает Говард. Тот, с красоткой-мамой, откуда они?

— Кажется, из Латвии.

— А я думала, из Эстонии, — не поворачивая головы, проронила Милли.

— Возможно. Зачем тогда спрашивать?

— Я только сейчас вспомнила.

— Верно. Из Эстонии.

— Чудно́. Ты же там *был*, а вспомнить не мог.

— Чудно́, — по-американски прогнусавил Джек: спазм сдавил ему горло. Он чувствовал исходящий от Милли ток подозрения.

— Хочешь немножко почитать? — как можно более непринужденно предложил он; голос, к счастью, уже не подвел. Он посмотрел на небольшую стопку книг на ночном столике. Милли подарила ему критическую биографию Моцарта — толстенный том в твердом переплете, — но читать его на ночь скучно. — Наконец-то я взялся за Моцарта, — соврал он. — Блестящая работа. Захвачу ее с собой в больницу. Папа теперь покупает продукты в "Лидл" — дрянь жуткая. "Уэйтроуз" снесли, на его месте теперь "Лидл". Товар продают за бесценок, но качество — хуже некуда. Мороженая лазанья — просто гадость. Ладно, почитаю Моцарта.

— Это она звонила, когда ты был в Хейсе?

— Когда я был в Хейсе... — повторил он так, будто собрался рассказать анекдот. — Да, наверно.

Вот беда — он позабыл, что́ именно сказала тогда Кайя его жене.

— Стало быть, это и есть Кайя из Эстонии, — проговорила Милли. — Она так представилась на автоответчике.

— Хотела договориться насчет уроков, — сказал Джек.

— Кайя из Эстонии, — повторила Милли. — Конечно же, ты знал, откуда она приехала. Та самая, которая занимается творчеством Арво Пярта.

— Пярта?

Только тут Джек вспомнил: он ляпнул про ее увлечение Пяртом для маскировки. Господи, он пытается заметать следы, но забывает, каким способом! Милли повернулась на бок и выключила ночник. Джек начал было гладить ей спину, но она вздрогнула и выскользнула из-под его руки. Ему почудились тихие всхлипы; а может, просто показалось.

Он выключил ночник.

— Наверно, я перепутал потому, что она наполовину латышка, — сказал он. — Или русская. Эти балтийские страны так похожи, не разберешь. Многие даже путают их с Балканами.

Он понятия не имел, каким образом можно противостоять женской интуиции, которая логике, как известно, не поддается, но стараний не оставлял. Раз Милли ничего не ответила, даже не поцеловала его по традиции на ночь, он повернулся на бок в надежде заснуть, не замечая, что у него разинут рот — как у охваченного паникой человека. И вдруг услышал шепот Милли:

— Делай со мной, что *хочешь*.

— А?..

— Представь, что я проститутка. Делай все, что хочешь. Изнасилуй меня.

— Милл...

— Я серьезно. Затрахай до потери пульса. Давай сзади.

— Правда?

Он повернулся и всем телом приник к ней. Она подняла руку и спрятала в ней лицо.

— Возьми меня, — куда-то в локоть, едва сдерживая слезы, проговорила она. — Не церемонься, бери по-грубому. Как девку из Восточной Европы. Твою персональную эстонскую подстилку. Я буду просто лежать, и ты можешь вытворять все, что *вздумаешь*. Давай, ну пожалуйста!

Надеюсь, это не ловушка, пронеслось в голове. Нет, догадался Джек, это очередной маневр, подсказанный ее эксцентричным консультантом по проблемам фертильности, тем типом с псевдоиспанской фамилией. Но чем черт не шутит, может, стоит попробовать? Он уже изрядно возбужден. Откинув с ягодиц Милли шелковую рубашку, он стянул с нее трусы и бросил на пол. Она лежала на боку поверх простыней, будто в тропиках. Тело тяжелое, сонное. Кожа теплая, чуть влажная. Он погладил стройное бедро — к колену кожа более прохладная. Потом рука двинулась вверх, к груди; там, где действует закон тяготения, кожа натянута, и грудь напоминает носок с апельсином внутри. Джек поерзал, стараясь теснее прильнуть к заду Милли, задрал повыше ее ночную рубашку и дал волю пальцам, которые стали легонько, как она любит, поигрывать с

ее сосками. Сейчас оба соска рядом, он может охватить их ладонью, словно два маленьких мандаринчика.

Милли по-прежнему не шевелилась. Склонив к груди голову, лежала на боку в позе эмбриона, и он, словно близнец, принял ту же позу, вжимаясь коленями в ее согнутые ноги. Под тяжестью ее грудной клетки у него заныл локоть. Джек попытался его высвободить, но удобного положения не нашел. После изнурительного дня в Лондоне из ее подмышки пахло не дорогущим натуральным дезодорантом, а обычным пóтом, но Джек вдыхал этот запах с наслаждением, как вдыхают горный воздух.

– Делай, что *хочешь*, – требовательно процедила она, будто сквозь стиснутые зубы. – Я – твоя рабыня. В полной твоей власти. Давай, орангутанг гребаный, дрючь меня в задницу!

Он не однажды радостно изумлялся тем вольностям, которым они законно предаются в постели, услаждая себя и друг друга, раз от разу поддавая жару, потакая своим прихотям и фантазиям. Видя ее нескрываемое удовольствие, трепет восторга и непроизвольные содрогания, слыша ее томные стоны, он возбуждается еще сильнее. Глядя, как, благодаря его маленьким ухищрениям (когда главной целью стало зачатие ребенка, его штукарство стало напоминать аниматронику), она постепенно достигает экстаза, он сам распаляется страстью. Есть в этом какая-то щедрость, почти самоотверженность. Но, может быть, он тешит себя иллюзией, а на самом деле это лишь одно из проявлений эволюции?

Однако сейчас, когда Милли лежит оцепенело, словно неживая, стараний потребуется куда больше. Ему в ляжку впился комар, Джек прихлопнул его и, протянув руку поверх ее бедра, продолжил ласки. Его пальцы нежно теребили грудь, игриво касались лба, потом живота; вот новость – над пупком нависла складочка жира. Он не без усилия отвел согнутую ногу жены и принялся гладить лонную шерстку, чувствуя исходящий от нее первобытный жар; наконец, его ладонь скользнула, как в лисью нору, меж ее сомкнутых бедер. От неудобной позы руку заломило до самого плеча. Вторая рука онемела под его собственной тяжестью. Ему показалось, что Милли издала какой-то звук. За окном промчалась “скорая помощь”, вой сирены еще долго разносился по округе. В окно подуло ночной свежестью, его голое бедро стало зябнуть. Может, стоит накрыться простынями, но пока не до них.

Он уже вполне готов к бою. Тот чокнутый советник по технике оплодотворения называет соитие “моментом слияния”. В этот решающий миг он из-за инертности жены больше обычного занят собой: воображает совокупление животных,

жизнь свинофермы, вспоминает, что Милли говорила за ужином про всемирный продовольственный бизнес, про магазины "Асда", входящие теперь в сеть "Уолмарт". По ее словам, иммигранты, моющие салаты в "Асде", получают сущие гроши, живут в переполненных грязных халупах. Милли собирается, рискуя жизнью, сфотографировать лачуги на поле близ Кингз-Линн или где-то еще. Асда, Асда, Асда. Асдану тебя. Уолтрах-март-трах-уооол... Двигаясь в ней взад-вперед, как поршень, он целовал ее хребет, бугорки позвонков, но вместо знакомого блаженного неистовства откуда-то издалека пробивалось нечто вроде слабого шипения пузырьков газированной воды. Это близко не походило на ту неодолимую силу, что сметает с пути все остальное, включая шальные мысли про "Уолмарт", покалывание в начавшей отходить руке и ночной холодок, бегущий по голой коже.

К его облегчению, Милли повернула голову, начала чуть хрипло вздыхать и охать; от его толчков ее неповторимый, прелестный дюкрейновский профиль то поднимается, то опускается, рубашка сползла с худеньких плеч, соблазнительно открыв крошечную черную родинку возле шрамика от прививки и ключичную ямку — когда Милли принимает душ, в эту ямку непременно набегает вода. Он любит свою жену. Любит и за то, что ей сорок один год. Любит спать с ней. Любит ее родовитую кровь. Ему нравится, что ее аристократизм невозможно скрыть, что она очень богата, и тем не менее он может вытворять с ней в постели все, что захочет; нравится крепчающий запах пота из ее подмышки и лимонный аромат гомеопатической зубной пасты у нее изо рта.

— Ну же, давай, давай, — подгоняет она, не открывая глаз и царапая свою обнаженную шею. — Только ничего не *говори*.

Вообще-то, он не сказал ни слова. Но в последние дни они так сблизились... Может, она научилась читать его мысли?

Увы, он так и не кончил. Сколько ни старался — тщетно, ничего не получалось. Милли, однако, дольше обычного визжала и кричала, будто ее режут. Джеку послышался глухой удар в ту стену, за которой забор Эдварда, но возможно, он случайно ткнул большим пальцем себе в ухо.

— Прости, — виновато сказал он.

— Ничего, это устойчивое производство, — чуть улыбаясь, пробормотала она. — Быстро возобновляемые ресурсы. Входят в стоимость жизненного цикла.

— Очень обидно. Может, у меня не получается тебя насиловать.

— А вот у Гроув-Кэри всяко получается.

– Не думаю, что это насилие, – заметил Джек, неприятно пораженный ее легкомысленной ремаркой. Он был изнурен, выжат досуха.

– Ты волен *думать* все, что угодно, – едва слышно выдохнула Милли. – Мужчины испокон веков себе это позволяли. Но не думай, что можешь *делать* все, что угодно.

Так и не поцеловав его на ночь, она снова легла и накрылась простыней. Джек ничего не сказал. Счел за лучшее не выяснять, во всяком случае вслух, что именно она имела в виду. Ему долго не спалось, и не только из-за ночного холода, от которого стыли плечи.

– Все сильно осложнилось. Жена заподозрила неладное. Соседи, сама знаешь, не дремлют. Необходимо избежать скандала. Ради Яна.

– И ради тебя?

– И ради тебя тоже.

– Ты и за *меня* волнуешься?

– Ну конечно, Кайя.

В трубке слышались помехи – связь неважная. Потом ее голос зазвучал громче:

– Значит, в то же время, в парке, вместе с Яном? В понедельник?

– Конечно. Без вопросов. Только домой приезжать не надо.

– Но тогда выйдет только один раз в неделю?

– Ничего, пусть – для начала.

– Он в восторге от твоего урока. Без конца про него говорит.

– Давай пока ограничимся парком, футболом и прочими развлечениями, ладно?

– Яну этого мало.

– Это лучше, чем ничего, Кайя. Могу сводить его в Музей игрушек, покатать на колесе обозрения, еще чем-нибудь займу. На этой неделе договоримся насчет денег.

– Откупиться от меня хочешь?

– Что? Повтори, пожалуйста.

– Хочешь легко отделаться. До встречи в парке. Возле Питера Пэна.

И прежде чем он успел ответить, она повесила трубку. Джек был раздосадован. Жизнь стала все больше походить на жонглирование сырыми яйцами, а у него нет сноровки для таких цирковых трюков.

Он сунул в рот жвачку с винным вкусом, пластина таяла на языке, будто мыльная. А, она с ароматом лайма. И явно переслащена. Этот вариант нравится ему меньше других.

Нет, не привык он к таким поворотам, увольте.

В свое время унылый серый Хейс незаметно сменился просторными лужайками и натертыми пчелиным воском полами Королевского музыкального колледжа; потом — дальше и выше, довольно легко и просто. Подпираемый музыкальным сообществом, женой и всем тем, что нес с собой его брак, Джек ни разу не глянул назад или вниз. До двадцати с лишним лет ежедневно по четыре-пять часов проводил за фортепьяно. На буйства молодости, на странствования и набивание шишек оставалось мало времени. А теперь — уже поздно.

Он даже рад, что нужно ездить в больницу: там он отвлекается от тревожных мыслей. Ему по-прежнему нравится, что медсестра Сьюзан называет его "шикарным мужчиной". Он читает матери новости из "Дейли мейл", кроме неприятных и печальных сообщений, а также разглагольствований правого толка (в результате, выбора у него почти не остается), и дает ей с ложечки актимель — точно так же много лет назад она кормила его с ложечки детским питанием. Ее запястья по-прежнему в гипсе, она обливается потом в своем привинченном к черепу железном каркасе, ее жизнь проходит в пятом круге ада.

— Чудесная погода, только немножко тяжеловата для меня, — порой говорит она.

В соседней одиночной палате иссохший старик каждые две минуты, как заводной, издает вопль. Это единственное, на что он еще способен. Подымается на кровати и, содрогаясь всем телом, истошно и надсадно кричит, словно его режут. Дверь в его бокс не закрывают никогда.

— Бедняга, — говорит мать Джека. — Мне его так жаль.

Вернувшись домой, Джек обычно либо правит "Воды опасного путешествия", либо идет в парк и там во время прогулки пытается мысленно выстроить всю партитуру. У него разболелась поясница, он с трудом сидит в своем ортопедическом кресле, по-прежнему злоупотребляет винной жвачкой, а главное — чувствует себя скверно: мучается тревогой и унынием. Он вернул в партитуру взрывоподобный гром литавр, но теперь их звон выражает внутренние терзания. В определенный момент без литавр просто не обойтись. Под теплым ветерком деревья роняют листья, приводя в замешательство белок. Вдруг в ушах у Джека явственно зазвучала бархатистая виолончель во второй позиции на струне до, и он заново переписал вступление.

В пятницу вечером, едва Милли приехала с работы, у калитки возник Эдвард Кокрин с бутылкой "Боллинджерз" в руках. Милли пригласила его войти. Джек сидел под сливой в

дальнем углу сада и читал биографию Моцарта. Марита готовила популярное в Венесуэле блюдо, так что в кухне Джеку делать было нечего. При виде шагающего по газону Эдварда он закрыл книгу, но не встал ему навстречу. За последнее время неприязнь к соседу обострилась и приобрела иную окраску: теперь для Джека размазанная собачья какашка и то предпочтительней Кокрина.

Стоял последний день сентября, но лето этого явно не замечало: какая разница, облетают листья или нет.

– К чему это ты?

– Я нынче пью одно шампанское, – объявил Эдвард.

Милли подтащила два стула. Она свято верит, что соседа должно любить, какой бы он ни был.

– Нам нужны фужеры, Джек.

– Что ж ты не захватила их по дороге?

– Это упрек?

– Нет-нет. Я сам их принесу.

– Погожу открывать, – сказал Эдвард. – Хотя чертовски хочется выпить.

Марита что-то напевала на испанском. Из кухонного люка долетали аппетитные запахи. Вентилятор самозабвенно хрипел; Джек должен был еще год назад позаботиться о смене фильтра. Он осторожно достал из буфета фужеры, внимая их хрустально-чистому погребальному перезвону. Потом вышел на лужайку и вдруг услыхал громкий стук. Это стучит его собственная кровь, непривычно отдаваясь в ушах.

Эдвард ловко открыл бутылку и разлил по фужерам искрящуюся пенную жидкость: сказывался его немалый опыт по этой части. Недвижный воздух прорезала сирена охранной сигнализации, пронзительным воем звавшая хозяина машины.

– Выпьем за женщин, вино и песни, – провозгласил Эдвард.

– За невообразимо уверенных в своем превосходстве мужчин, которые приносят шипучку, – парировала Милли.

– Будем здоровы! – сказал Джек. – Выпьем за изменение климата – благодаря ему мы здесь и сидим.

– Про-шуу тебя, – протянула Милли.

– И за любимых, которых сейчас нет с нами, – шмыгнув носом, добавил Эдвард.

Все выпили до дна.

– Есть от нее вести? – спросила Милли.

Эдвард отрицательно покачал головой и повернулся к Джеку:

– Мне бы адресок твоей крали. Да побыстрей.

– Моей крали?!

— Той эстоночки. Она же наверняка на мели. Если не на панели.

— На панели? — снова эхом отозвался Джек.

— Ты давай не тупи. Кстати, читал про ее соотечественницу, эстонскую поблядушку? Она думала, что выходит замуж за двадцатидвухлетнего мульёнера из Суррея, а он, видать, гол как сокол. Беднее бедного. Снимает вонючую квартиренку. Денежки-то на меха и брюлики профукала, а как осталась ни с чем, своего муженька ножом и саданула. Нечаянно, говорит. Забавная история.

— Не читал, — буркнул Джек.

Милли внимательно разглядывала свой фужер.

— Учтите, ребята, я в фокус-группу не вхожу, — продолжал Эдвард. — Мне только-только сорок стукнуло, болтаюсь один по дому, точно горошина в жестяной банке, вот-вот стану разведенным холостяком, деньги зарабатываю страшенные, не считая премиальных. Как тут быть? Предположим, захотелось мне забежать к соседу потренькать на пианино. Ну, ты кивни хотя бы, что тебе, жалко, что ли? Сделай милость. Старая Европа знакомится с Новой Европой. В таком вот духе.

У Джека свело шею. Пытаясь расслабить мышцы, он проговорил:

— У нее уже кто-то есть. Банкир из франкофонной Канады.

— Блин! — с досадой воскликнул Эдвард. — А я на нее всерьез запал. Даже ахнуть не успел. Прямо любовь с первого взгляда.

— Банкир из франкофонной Канады? — переспросила Милли.

Джек сам не понимал, с чего он это брякнул.

— Да, — подтвердил он, — зовут Рауль. Канадец-*франкофон*. Постоялец гостиницы, в которой она работает. Несколько месяцев назад там проходил какой-то конгресс, а она обслуживала фуршет, резала и подавала ананасы, тут они и познакомились. Он знает три языка и обожает Арво Пярта.

Эдвард и Милли во все глаза смотрели на него.

— А еще Флобера, — мстительно добавил Джек. Каждая новая деталь его затейливого рассказа придавала ему сил. — Особенно та сцена с застрявшими в шпорах листьями папоротника. Из "Госпожи Бовари".

— Ого, сколько ты о нем знаешь, — заметила Милли.

— Вот черт! — подосадовал Эдвард. — Я-то думал, ей хоть кто сойдет, — такой у нее был вид на крыльце.

— Какой еще вид?! — взъярился Джек. Он готов был наброситься на соседа и, как в фильме "Зомби по имени Шон", вырвать ему горло. Недаром же это кино он пять раз смотрел.

– Будто она изголодалась по любви, – пояснил Эдвард, – само собой, при условии, что к нежному чувству прилагается большой толстый кошелек – на черный день.

– Сам ты большой и толстый, – устало вздохнула Милли. За целый день ей не удалось сбыть ни единой фотоэлектрической панели.

– Не уверен, что твои соображения, Эдвард, пришлись бы ей по вкусу. У нее, наверно, тоже есть гордость и чувство собственного достоинства.

– Брось, Джек. Телка, блин, просто обалденная. У него самого слюнки текут, только он помалкивает, – уже слегка заплетающимся языком сообщил Эдвард, наклоняясь к Милли.

– Пора бы уж повзрослеть, Эдвард, – промолвила Милли, не сводя глаз с зеленой изгороди.

– Не могу. Мой отец покончил с собой, когда мне было четырнадцать лет.

– Что?!

Эдвард обвел их взглядом, полным самодовольного торжества.

– Я вам разве не говорил? Повесился на крюке в гараже. По легкомыслию спустил все денежки. А я тогда был в частной школе. Веллингтон-скул[1]. Мне наставник сообщил. Я жутко расстроился: из-за чертовых похорон пришлось пропустить отбор для игры в "пятерки"[2]!

– Какой *кошмар*! – ужаснулась Милли. – До чего *удручающая* история!

Выходит, ненавидеть Эдварда теперь нельзя, совесть заест, досадовал про себя Джек.

– Значит, повзрослеть ты не можешь, – повторил он.

– Нет. И никогда об этом не жалел. Я – чокнутый. Псих. Лилиан твердила мне это постоянно. Психологически я из говноедов.

– А ты отца *любил*? – склонив голову набок, спросила Милли; она заметно оживилась, позой и всем своим видом выражая сочувствие.

– Так я ж его толком не знал, – признался Эдвард, по-клоунски подняв брови. – Жил в школе, а не дома. В том-то и беда. Потому и не взрослел. Откуда мне было узнать его по-настоящему?

1. Веллингтон-скул – привилегированная частная школа в графстве Суррей.
2. "Пятерки" – разновидность игры в мяч, популярная в Британских привилегированных частных школах.

Глава девятая

Кайя с Яаном уже поджидали Джека у статуи Питера Пэна. Завидев их, он с трудом удержался, чтобы не броситься наутек.

— Привет! Давно ждете?

— Не важно, — сказала Кайя. — Как дела?

— Отлично. Ну, Яан, будем ловить мяч или погоняем в футбол?

— В крикет, — очень серьезно ответил малыш, хотя весь трепетал от возбуждения. Он смотрел на взрослого мужчину, запрокинув голову; ему по-прежнему было невдомек, что это его отец.

— В крикет? Конечно. Эх, я дурак, забыл принести мячи и биты. В следующий раз непременно захвачу. Пока что будем учиться бросать и ловить мяч, а еще — бить по нему.

В школе Джек отнюдь не блистал в крикете и с той поры не брал в руки биту. Зато всегда обожал наблюдать за игрой, а еще лучше — слушать репортажи. К счастью, на сей раз он взял с собой теннисный мячик, а не тот — большой, красный и чересчур легкий. День выдался пасмурный и душный, без малейшего ветерка.

— Он смотрел матч на кубок "Урна с прахом", — сообщила Кайя. — В нашем доме есть жилец из Болгарии, со своим телевизором. Но в правилах мы так и не разобрались.

На ней длинная майка с аккуратно напечатанной надписью: "Не все так, как кажется". Майка туго обтягивает прямую спину гимнастки, крепкие плечи и груди.

— Из Болгарии?

— Да. А что?

— Ничего. Хороший парень?

— Вообще-то это женщина. Мы уже подружились.

Подошла чета японцев и попросила Джека сфотографировать их возле статуи Питера Пэна. Они стали у ограды и не помещались в кадре; Джек, точно военный корреспондент, вынужден был присесть на корточки и даже пригнуться, чтобы выбрать правильный ракурс. Японцы засмеялись. Сам он впервые увидел Питера Пэна примерно в возрасте Яана. Тогда статуя была гораздо выше.

Когда Кайя ушла, Джек стал показывать Яану вырезанных на бронзовом пне фей, кроликов и белок; за девяносто лет многочисленные руки и ручонки отполировали фигурки до блеска, а крылышки фей покрылись ярью-медянкой и приобрели красивый зеленый отлив.

— Питер Пэн так никогда и не стал взрослым, — объяснил Джек. — Он превратился в эльфа и взял девочку по имени Венди с собой в Страну грез. Именно там он когда-то впервые приземлился.

Уголок рта у Яана припух, образовав большую ямочку.

Они принялись кидать друг другу теннисный мячик. Одна беда: в Кенсингтон-гарденз почти все встречные кажутся смутно знакомыми, и Джек невольно занервничал. Правда, англичан было очень мало, в основном иностранцы; они с улыбкой смотрели на игру. Джек догадался, что их особенно привлекает Яан: малыш самозабвенно бросался за каждым мячом, хотя почти всегда его упускал; растрепанные темные волосы придавали ему слегка шаловливый вид, но внимательный взгляд подмечал серьезное, сосредоточенное выражение мордашки.

Это же мой сын, думал Джек.

По широкой дорожке они отправились вдоль Серпантина[1] за мороженым, подкидывая ногами опавшие листья и стараясь поймать те, что еще кружились в воздухе. У Джека в кабинете висит старая почтовая карточка 1911 года с этим же самым видом. На открытке по дорожкам гуляют няни с детскими колясками, мальчики в штанах до колен или в девчачьих платьицах и девочки в кружевных шляпках. Джек купил Яану большой рожок мороженого; в его маленькой ладошке рожок казался огромным, а измазанное мороженым лицо стало напоминать старинную рекламу крема для бритья. Джек не захватил с собой салфеток и растерялся.

— Оближись как следует языком, — посоветовал он.

Но язык описывал лишь маленький кружок вокруг губ. Джек вытянул из штанишек Яана полу мягкой хлопчатобумажной рубашки, опустился на колени и, придерживая мальчика за плечо, тщательно вытер ему лицо, стараясь не задевать губы. Запах растаявшего мороженого, его сладкая липкость были неприятны, но покорная признательность, которую он читал на лице ребенка, трогала до глубины души. Джек обтер запачканную полу о густую, нагретую солнцем траву. Ему хотелось вернуть Яана в том виде, в каком получил.

— Сколько суеты! — сказал он и подмигнул.

На лице у Яана опять образовалась ямочка, и он посмотрел Джеку прямо в глаза.

Когда Кайя вернулась, Джек шепнул ей, что хотел бы кое-что обсудить с глазу на глаз. Она сказала несколько слов по-

1. Серпантин — узкое извилистое искусственное озеро.

эстонски, и Яан остался на лужайке играть в мяч, а его родители сели на дальнюю скамейку, чтобы мальчик не слышал, о чем они беседуют.

— Он по-прежнему не знает, кто я?

— Да. Просто мой друг. Скоро скажу.

— Мне нравится с ним возиться. Отношения потихоньку налаживаются. Буду давать ему уроки у Говарда или сниму что-нибудь. Но только не дома. У нас там жуткий сосед, да и жена может войти в любую минуту. Начнутся расспросы...

— Ему хочется видеть тебя чаще.

— Мы будем видеться пару раз в неделю.

— Два раза в неделю?! — Кайя презрительно фыркнула.

— Пока, для начала. Но действовать надо осторожно. Пойми меня правильно, мне действительно нравится с ним встречаться. И с тобой тоже, — добавил он, чувствуя, как гулко забилось сердце.

Она скрестила руки на груди.

— Он твой сын. А не просто ученик, которого ты учишь играть. Это тебе не хобби и не клуб.

— Я и не говорил, что он для меня — хобби!

— Ты его папа. То, что ты предлагаешь, не годится. Норовишь легко отделаться. Выбрать пустячок по собственному вкусу. Очень мило. Только это не значит быть папой.

Как это все несправедливо, думал Джек, сидя рядом с ней под теплым осенним солнцем. Яан, один посреди лужайки, перекатывал мяч с ладошки на ладошку.

— Твою жену зовут Милли, да?

Джек кивнул.

— Судя по автоответчику, голос у нее приятный, благожелательный.

— На язычке медок...

— Что?

— Если я ей все расскажу, она взбеленится. Мы же много лет пытались зачать ребенка. Я рисковать не могу. Она церемониться не станет, тут такое начнется...

— Тогда я увезу Яана обратно в Эстонию. А про тебя расскажу, когда ему исполнится восемнадцать. Ты удивлен?

— Признаться, да, немного.

— На Хааремаа есть один парень. Мы с ним вместе учились в школе. Потом он поступил в университет, уехал, а теперь вернулся. Он плотник, отличный мастер, поэтому у него много работы. Он будет Яану хорошим отцом. Яану он очень нравится.

У Джека свело живот.

— Он — твой близкий друг?

– Думаю, если я вернусь, он станет моим мужем. Он этого очень хочет. А пока что – просто старый друг. Его зовут Томас. По-эстонски это скала.

– То есть ты можешь на него положиться, да? Вы ведь с детства знакомы.

Она кивнула и продолжила:

– Я поступлю на островную радиостанцию. Это радио местной общины. Они готовы меня взять. Кое-какие деньги у них есть. Буду немножко зарабатывать. У меня много разных планов. Учиться могу заочно. В Тарту есть знакомые профессора.

– Все же это не Лондон.

– Лондон помешан на деньгах, – бросила она. – Я скучаю по Хааремаа.

– А я буду очень сильно скучать по тебе и Яну. Мне нельзя вас навестить?

Она покачала головой:

– Так дело не пойдет. Моя жизнь – это тебе не веб-сайт. Либо ты отец, либо нет.

Стараясь не выдать колотившей его дрожи, Джек подался вперед и уперся локтями в колени.

– И *никогда больше* не увидеть Яна? Так я *не хочу*, – сказал он и сам удивился своему непреклонному тону.

– Что именно рассказать, Милл?

– Про Эстонию.

Они сидели вдвоем на пластмассовых стульях в садике его родного дома, подмечая среди гальки многочисленные кошачьи какашки и гадая, была ли хотя бы раз в употреблении блестящая маленькая жаровня на колесах из магазина “Би энд Кью”[1]. Утром они уже навестили мать Джека. В больницу, как всегда по воскресеньям, съехалось множество посетителей, зато из медиков – ни единого врача, только парочка загнанных сестричек да измученная мигренью старшая сестра. Потрясенная состоянием свекрови, Милли сразу устыдилась и стала корить себя за то, что, увязнув в делах, не навестила больную раньше. К обеду они оставили ее на попечение отца Джека, а сами вернулись в Хейс, чтобы немножко прибрать дом. Он был изрядно запущен. В последнее время Милли совсем забросила собственное хозяйство, почти не брала в руки пылесос и теперь с азартом взялась наводить чистоту у родителей Джека, несмотря на малоподходящее для такой работы обтягиваю-

1. “Би энд Кью” – сеть магазинов, продающих товары для дома и сада по сравнительно низким ценам.

щее платье на молнии — в нем ее фигура напоминала очки в футляре. Они привезли с собой корзину еды из "Фортнум энд Мейсон"[1], чтобы побаловать Доналда и поднять ему настроение, а себе, на запоздалый обед, — заранее приготовленную настоящую деревенскую курицу.

От работы и сознания собственной добродетельности Милли раскраснелась. Она все воскресенье посвятила Хейсу — это для нее большая жертва. Хейс ей не нравится, но она готова мириться с ним только за то, что он напоминает ей, откуда родом ее муж; она даже радуется — главным образом за Джека. Обычно-то она забывает, что он — мальчик из рабочей среды. Но очень одаренный мальчик. Джек считает такое отношение к Хейсу нелепым, но сознавая, что по-своему городишко благотворно действует на жену, он решил, что лучшего места для исповеди ему не найти. Да у него и выбора нет.

Милли хочет ребенка, так? Яан может стать ее пасынком! На выходные, праздники, на время отпуска. Как получится. Было бы здорово. Милли человек великодушный, справедливый, она заботится об экологии планеты, о бедных и о политических беженцах, выступает против использования детского труда. Она полгода прожила в Берлине, в коммуне революционеров, пока он, как пай-мальчик, учился в Гааге. Она вкалывала на кухнях, организованных школой "Экшн Спейс"[2]. Какое-то время продержалась в зимбабвийской деревне. А он тем временем изучал двенадцатитоновые ряды Луиджи Даллапиккола[3]. Изредка, без всякого повода, Милли напоминает ему, что в Соединенном Королевстве каждый четвертый ребенок живет за чертой бедности. Не исключено, что это — напоминание самой себе, потому что забыть о несчастных детях очень легко: до них никому нет дела, такие факты всплывают только на листовках, сунутых в дверную почтовую щель, но их, как правило, отправляют прямиком в мусорное ведро. Милли человек непредвзятый и честный.

Но вот незадача: она его опередила. На считаные минуты.

— Про Эстонию, — повторила она. — Расскажи мне про Эстонию.

— Ладно. Вообще-то, гм...

1. "Фортнум энд Мейсон" — большой дорогой лондонский магазин, славящийся экзотическими продовольственными товарами.
2. "Экшн Спейс" ("Action Space") — известная британская школа консультантов и бизнес-тренеров, практикующая системный интегральный подход в тренинге и консультировании.
3. Луиджи Даллапиккола (1904—1975) — итальянский композитор, пионер додекакофонии в Италии.

Где-то поблизости раздался пронзительный призывный вопль:

– Лииз! Лииз!

Очень хотелось бы услышать отклик Лииз – или Лииза. Вероятно, Лииз, как и Джек, не находит нужных слов. Вылетевший из Хитроу самолет, толкая перед собой темное облако шума, пронесся почти над самой землей – казалось, можно даже разглядеть название авиакомпании.

– Мне разбивали сердце дважды, – проговорила Милли. – Впервые это сделал парень, который у меня был до тебя...

– Фируз, – кивнул Джек. – Нет, Салим.

– А второй раз, когда я потеряла моего ребеночка; я его любила всей душой, хотя живым никогда не видела.

– Знаю. Как странно, что ты об этом просишь.

Внезапно воздух озарился ярким светом: солнце пробилось через тонкую пелену облаков, его ослепительные лучи отражались от белой столешницы, и у них с Милли разом выросли тени. Джек по-прежнему не знал, с чего начать.

– Сдается мне, что оно будет разбито в третий раз.

– С чего ты взяла?

– По-моему, ты мне лгал.

На ее лице под темными очками читалась неприязнь. Темные очки ей вообще не идут. В каждом стекле Джек видит крошечное отражение своей головы с черной полоской поперек – будто повязка на глазах.

– Я бы так не сказал, – возразил он. Лет тридцать пять назад на этом самом месте он точно так же отрицал, что съел мамину шоколадку "Дэри милк". – Позволь мне объясниться, а потом уж суди.

Она что-то пробормотала в ответ, но ее слова заглушила промчавшаяся мимо машина; из нее неслось низкочастотное буханье сабвуфера, нарушающее глубинные ритмы организма. Автомобиль взвыл, на бешеной скорости, скрипя покрышками, развернулся в тупике и скрылся из глаз. Зато Лииз, видимо, удалось отыскать.

Стало сравнительно тихо, если не обращать внимания на ровный шум лондонских окраин. Джек почувствовал, что ему не хватает воздуха.

– Про Эстонию, – опять повторила она.

– Ладно. По-твоему, я не только ходил по бесчисленным музеям, храмам и болотам. Шесть лет назад.

Еще не поздно отречься от своих слов. Сделать вид, что он готов досконально все обсудить, лишь бы оправдаться в ее глазах. Он же запросто может сочинить обстоятельную историю с массой ярких подробностей, чтобы навсегда убедить Милли

в своей правоте. Как в отрочестве, он машинально поглаживал пластмассовую столешницу — столик, правда, уже другой, но копия того, прошлого. Вокруг сгрудились соседние домики — бурые кирпичные коробки с ушками на макушке; окна второго этажа прямо-таки упираются в сточные желоба, а утыканные спутниковыми тарелками крыши смахивают на кепки, спущенные на самые глаза. *Все не так, это ошибка.*

— Ну же, рассказывай, — не отставала она.

Пространство молчания между ними в действительности заполнено беспорядочным шумом: барабаны, тромбоны, флейты-пикколо.

— Что ж, хорошо, — наконец произнес он. — Мне и самому уже некоторое время *кажется*, что все это... лучше бы... обсудить начистоту.

— Боже, как мне страшно.

— Погоди, Милл, выслушай меня.

Она не отрывала глаз от столешницы. Впрочем, может, ему только так кажется — сквозь ее большие, как у летчика, черные очки ничего не видно. Поди разбери — может, она уже смотрит на него в упор.

— Ты выскажешься и облегчишь себе душу. Тебе станет лучше. А мне?

Джек услышал за забором кашель: это перхала Дафна, жилистая старуха-соседка.

— Давай-ка укроемся в доме, — предложил он.

— Я от тебя уйду.

— Замечательно. Я еще ничего не сказал, а ты уже готова меня бросить. Говори потише.

— Извини, я выражусь иначе. Придется *тебе* оставить *меня.*

Снова послышался кашель, да так явственно, будто Дафна зашла в их садик.

— Хорошо, — сказал он.

— Это все?

— Нет. Да, вот что: я хочу видеть твои глаза.

— Аналогично.

Милли сняла очки. Глаза у нее были влажны от слез, веки слегка покраснели. Джек очков не снял, потому что не мог выжать из себя ни слезинки. Со стороны дороги над забором вдруг появилась девчачья голова, он даже вздрогнул. Волосы у нее туго-натуго стянуты на затылке — на местном жаргоне прическа называется “харлингтонская подтяжка”.

— Эй, смотрите-ка, да их тут двое! — заливаясь визгливым истерическим смехом, крикнула девица невидимым хохочущим приятелям.

— Пошли в дом.

В гостиной он притулился на подлокотнике обтянутого кожзаменителем дивана и почувствовал, что лицо у него сморщилось, как у обиженного ребенка, но слезы не шли. Милли опустилась на толстый ковер у камина, обхватив руками колени и глядя на кучку фальшивых углей, которые она тоже пылесосила. Сколько Джек себя помнит, угли, похожие на огромные леденцы, всегда лежали в одном и том же неизменном порядке. Перед камином чинными близняшками стояли кроссовки Милли, а она шевелила пальцами ног.

— Знаешь, мне кажется, тебе следует выслушать и ответчика, — сказал он.

— Что именно слушать? Как ты трахал безмозглую красотку — Катью, или Каяк, или как там ее, а потом... Ах, негодяй!.. — лицо Милли на глазах побелело, она поднесла ладони к щекам. — Боже мой, Боже мой!

— Что, что такое?

— Вундеркинд... Говардов вундеркинд. Эдвард сказал, он приходил с ней к нам. Это же *он*, да? О Боже!

Открыв рот, Милли смотрела на него в упор. Он чуть заметно кивнул, не в силах произнести ни слова. Его мать выбросилась из окна. Его жена собирается вышвырнуть его из дома. Жуть, какой кульбит может в одну секунду выкинуть жизнь.

— Ребенок, — высоким звенящим голосом проговорила Милли. — Ну, ты молодец. Прямо в десятку попал.

— Милл, Милл, Милл. Прошу тебя...

— Да пошел ты!..

— Это чистая случайность. Я как раз пытался тебе... Понимаешь...

— Да, наверняка случайность, — подхватила Милли; лицо ее мучительно сморщилось. — Наверняка она была отнюдь не *единственной*. Твою мать!..

Никаких других не было, убеждал ее Джек, но теперь даже сам не верил, что это — *правда*.

— А я-то старалась, пылесосила гребаный дом твоих родителей сверху донизу, до самой крыши, — процедила Милли.

— Дом у них не слишком велик, — заметил Джек.

Она рассмеялась. Нет, заплакала, прикрыв лицо ладонями. Перекрывая ее стоны и всхлипы, он снова пустился в объяснения, стараясь говорить четко и ясно, — он же столько раз репетировал в кабинете свою покаянную речь. Увы, она все равно походила на заученный речитатив: в чужом городе ему было ужасно одиноко, вот он и совершил тогда (столько лет назад!) глупость, но уже на следующий день все было кончено. Он понимает чувства Милли, сознает, что она сейчас испытывает; он ее безмерно любит, а к Кайе совер-

шенно равнодушен. Но свой отцовский долг перед Яаном он обязан исполнить. Скажем, будет проводить с ним выходные. Так поступает множество людей, в том числе их друзья и знакомые. Взять хотя бы Диего, Руперта, Барнаби, Ника. Другие тоже, только всех он сейчас не в состоянии перечислить. Джек замолк, ее стоны и всхлипы стихли. Слышались лишь тяжелые вздохи.

— Зацарапала бы тебя, защипала до смерти, — наконец проговорила она. — С наслаждением повыдирала бы тебе все зубы — не торопясь, один за другим, этими... металлическими... вроде щипцов.

— Клещами, — подсказал он.

Лииз то ли беспробудно спит, то ли опять потерялась, то ли ее (или его?) так и не нашли. В открытое окно снова неслись призывные крики. Потом смолкли. Кожа у Джека болезненно свербела, зубы ныли, он чувствовал себя беззащитным.

Милли повернулась к нему. Глаза у нее сильно покраснели и опухли. Ей нужен носовой платок. В поисках бумажных платков он пошел сначала на кухню, потом в ванную, но не нашел ни единой пачки и разозлился на отца. Оторвал длинную полосу розовой туалетной бумаги, аккуратно сложил и поднес Милли, словно чашечку тончайшего фарфора.

— Спасибо, — прошептала она и принялась сморкаться и утирать глаза.

Наступила короткая пауза, которую, казалось Джеку, он может, точно подшипник, покатать в руке.

— Мне чудится, что меня замуровали, — проговорила Милли, не отрывая глаз от раскисшего комка бумаги. — Так прежде замуровывали монахинь, давших обет молчания.

— Ей-богу, Милл, это был просто коротенький... мимолетный загул. Почти ничего не помню... Вдобавок я был в стельку пьян. До потери пульса надрался местной водки. Таллиннской сивухи, черт ее дери. По наивности. По дури.

Он страдальчески поморщился, изображая раскаяние.

Милли не отзывалась. Его слова повисли в воздухе. Поганые, гнилые оправдания. На его счастье, именно поэтому они в конце концов лопнули, рассыпались в прах и навеки исчезли.

В их супружеской жизни ссоры случались и раньше; в таких случаях Джек какое-то время ночевал у себя в кабинете, и несколько дней они с Милли сторонились друг друга, словно чужие, изредка вспыхивая гневом из-за сущих пустяков, вроде поднятого сиденья на унитазе или измазанного джемом ножа, забытого на конфорке.

И даже теперь Джека не вытолкали из дому на глазах у ошарашенного Эдварда Кокрина, не швырнули ему вслед чемодан, распугав топчущихся на тротуаре голубей. Он много раз воображал себе эту сценку, отчасти даже желая, чтобы она произошла в действительности. Дело, однако, ограничилось тем, что они, как прежде, три дня вежливо избегали друг друга. В доме царила сдержанность, от Милли веяло холодом.

Свободное от работы время она все больше проводила у Клаудии. Впечатление было такое, что теперь работа может обойтись и без нее. Клиенты, часами болтавшие про биотуалеты и повторное использование воды, вдруг разом перестали звонить. В мирных полях уже не видно юрт, их разобрали и увезли. Целые проекты — даже еще не утвержденный оксфордский — отложены до лучших времен. Непостижимо, думал Джек. Работа жены теперь походит на великолепный особняк, внезапно заброшенный хозяевами. Сам он стал пить слишком много кофе, ему снятся кошмары — если, конечно, удается уснуть.

Он позвонил Кайе — уточнить, по-прежнему ли в силе их уговор встретиться в понедельник в Кенсингтон-гарденз. Ни о чем другом он говорить не стал. И никому больше не звонил. Учеников у него было всего два, Йех и Радж. На электронные письма он отвечал кратко, ссылаясь на спешку и давая понять, что по горло занят работой. А потом решил прибегнуть к популярной чиновничьей уловке: “Господин Миддлтон временно отсутствует”, — извещал звонящих автоответчик. Джек остался очень доволен собой.

Во вторник вечером Милли долго бродила по парку одна. Она уже договорилась с родителями, что проведет у них неделю, а может, и дольше, но причины длительного визита не объясняла. Через полчаса после ее ухода Джек вышел из дому и тоже направился в парк; на дальнем краю заросшей травой луговины, над которой из созревших султанов дымными облачками вились семена, он увидел женщину и по темным волосам и походке сразу узнал Милли; она шагала целеустремленно, руки свободно болтались вдоль туловища. Тут только до него дошла вся немыслимая сложность ситуации и возможных потерь, с которыми он еще не готов смириться. Милли уже звонила в Девон своей старинной подруге Сэмми; разговор был очень долгий и добра ему не сулил: Саманта Карлайл и Джек Миддлтон всегда терпеть не могли друг друга. Если у Милли еще оставались сомнения в правильности своей позиции и действий, теперь, опасался Джек, они полностью развеяны. Столь же продолжительная беседа жены с Клаудией добавила ему треволнений: позже Милли сухо со-

общила, что Роджер в тяжелом состоянии. Навещать больного Роджера Джеку не хотелось, у него самого в голове туман, будто после легкого сотрясения мозга.

Возможно, двери Уодхэмптон-Холла для него теперь закрыты навсегда, и он никогда больше не увидит Марджори и Ричарда: они на него очень рассердятся. Возможно, Милли подаст на развод, и он останется ни с чем. Джек с головой ушел в собственные переживания, но не находил в них отрады, испытывая лишь мелкотравчатую жалость к себе, порой переходившую в нудное слабенькое раскаяние. В парке Хит деревья и кусты — все те же, давно знакомые деревья и кусты. У деревьев все силы уходят на то, чтобы длить свою жизнь; когда Джеку было лет восемнадцать-девятнадцать, они виделись ему совершенно иначе. В ту пору он думал, что деревья, как и белые облака, с ним заодно.

Милли вернулась домой, когда на дворе давно стемнело. Джек не слушал ни Шуберта или Шопена, ни Бриттена или Берио[1], а смотрел по кабельному телевидению какую-то чушь. Не говоря ни слова, Милли сразу поднялась к себе; до него долетел лишь запашок спиртного и дорогих сигарет. Ведущий телеигры в сверкающем пиджаке глумливо ухмыльнулся и помахал с экрана лично Джеку.

В довершение всего позвонил отец и дал понять, что у мамы дела идут не лучшим образом, хотя паниковать не стоит. Однако же он хочет поговорить с братом и сестрой Джека, чтобы в случае ухудшения ситуации они были готовы прилететь в Англию, и было бы хорошо, если бы на этой неделе Джеку удалось две-три ночи провести в родном доме.

— Ты ведь можешь и здесь работать, Джон, — добавил отец, не имевший ни малейшего представления о работе композитора.

В его голосе слышалась нотка безнадежности, и, когда сын с готовностью согласился, он был явно удивлен; а Джек даже обрадовался столь благовидному и вескому предлогу сбежать с Уиллоу-роуд.

— Какой разговор, папа! Шесть ночей — заметано.

Может, за это время все утрясется — не без синяков и шишек, разумеется, но хотя бы его не выбросят на помойку, как никчемную рухлядь. Ему вдруг вспомнился тот красивый кусок светлого дерева, который они с Кайей подобрали на белом пляже, что тянется вдоль северной оконечности Хааре-

1. Лучано Берио (1925–2003) — итальянский композитор.

маа. Из живых существ им встретилась тогда лишь парочка песочников на длинных тонких ножках.

На следующий день — в канун отъезда Милли в Гэмпшир — Джек зашел в магазин игрушек и купил детский набор для крикета в прозрачном пластиковом пакете. Мяч — резиновая копия настоящего, бита сделана из светлого дерева, скорее всего, не из ивы, а из сосны; на ее обратной стороне синей краской напечатано: “Команда графства”. Еще он обнаружил в пакете четыре столбика калитки и две перекладины. Крикетный набор для самого младшего возраста.

Покупка подняла Джеку настроение. Он вошел в дом, уверенный, что там никого нет: в предыдущие дни Милли отсутствовала до поздней ночи. После той сцены в Хейсе они обменялись самое большее десятком слов. У Милли развилось нечто вроде аутизма, будто она, уподобившись средневековой монахине, дала обет молчания. Обоим было тяжко. Пару раз он пытался заговорить с ней, но получал решительный отпор. В первый раз она сказала:

— По-моему, я сейчас на грани нервного срыва. Не торопи меня.

Во второй отрезала:

— За помощью — не ко мне.

Та осень выдалась рекордно жаркой. Лужайку усеяли ярко-желтые листья — в этом не было ничего необычного. Но листья все летели и летели на траву, сметай их, не сметай — разницы никакой, а садовник Уилл должен явиться лишь к выходным. Насвистывая песенку Яначека из “Считалочек”: *Свекла вышла замуж, морковь пустилась в пляс, тидли-тидли-тидли*, — Джек стал ввертывать столбики калитки в землю.

Это оказалось делом непростым: пересохший грунт прямотаки спекся, и калитка, словно в подпитии, накренилась вбок. Джек решил поупражняться в подаче. Начал с верхней, но каждый раз мяч летел слишком высоко и далеко от столбиков. Подача снизу удавалась лучше, но калитка была предназначена для малышей, и он, как правило, мазал. Джек пожалел, что рядом нет ни единого полевого игрока — после каждого удара приходилось самому искать мяч и потом возвращаться к запасному столбику. Но без тренировки не обойтись: очень уж не хотелось опростоволоситься перед Яаном и многочисленными посетителями парка.

Выдернуть гвозди из моих рук и ног.

Он сделал еще один бросок сверху; идеально закрученный мяч описал кривую, запрыгал, готовый к срезке, и покатился в почти черную тень деревянной шпалеры, которую Грэм сколо-

тил для них в Холле из древних балок. Шпалера сплошь заросла ворсистой кудрявой пассифлорой. В разгар лета густая зелень была усеяна веселыми ярко-белыми звездами цветов; теперь же она превратилась в золотисто-желтую массу, на которой там и сям болтались скукожившиеся соцветия, похожие на кошачьи какашки.

К его удивлению, бросок снова оказался очень сильным, будто мяч выпустили из резиновой пращи.

Джек снял очки — густая темная тень от шпалеры с пассифлорой посветлела, в ней обрисовался силуэт предмета, который Джек сначала принял за поставленную на попа тачку. Уилл охотно пользуется тачкой — он собирает в нее мусор, который потом с удовольствием сжигает на костре, а тачку бросает где попало. Но через мгновение Джек вздрогнул, кровь зашумела в ушах: тачка приобрела явственные очертания человеческой фигуры, скрючившейся или просто присевшей на лавочку под шпалерой. На всякий случай он взял в руки детскую биту.

— Это ты, Уилл?

Фигура распрямилась, шагнула под солнечные лучи и приняла вид его жены Милли. В руках она держала высокий стакан то ли ячменного отвара с лимоном, то ли "перно". Джек уловил едва слышное позвякивание льдинок.

Заслонив от солнца глаза ладонью, Милли громко воскликнула:

— Ты хоть представляешь себе, *что* со мной творится?

Где-то сада через два от них вроде бы послышались смешки.

— Не очень, — промямлил он.

— Меня это *убивает*. Ты меня *убиваешь*.

— Лучше вызови полицию, — посоветовал фальцет, скорее всего, не из соседнего дома, а чуть подальше; дом арендовало целое стадо молодых юристов-стажеров из Сити, каждому из которых уже года через два светит первый в жизни миллион.

— Зззаткниссь! Не то приду и шкуру с тебя спущу! — проорал Джек и сам поразился: выходит, он хам. Но разозлился он не на шутку. Даже потряс в сердцах детской битой. На залитой солнцем лужайке ему стало жарко. Странно, но никакого ответа на его рев не последовало. Может быть, он недостаточно громко крикнул: в ту минуту, заглушая прочие звуки, в небе гудел реактивный самолет.

— Браво, — саркастически похвалила Милли.

— А ты давай не заводись, — неожиданно для себя оборвал ее Джек.

Он стоял растерянный, бита несуразно болталась в его руке. Милли подошла ближе и отхлебнула из стакана. Джек учуял запах аниса — точно, "перно". Судя по цвету, почти не раз-

бавленный. Она злобно посмотрела на него и вполголоса проронила:

– Я сейчас позвоню в банк. Не ровен час, твоя краля питает страсть к барахляным юбкам и шикарным украшениям.

– О чем ты?

– Сам знаешь о чем.

– Нет.

– Во-первых, сходи подстригись. А потом катись отсюда к чертям собачьим. Может, даже без судебных издержек обойдешься. Валяй, заделай себе еще пяток эстонских полукровок.

Джек вздохнул. Такой Милли он даже побаивался.

– Ты же знаешь, у нее этот... банкир из франкофонной Канады. Между нами все кончено. Да и было-то всего один разок... понимаешь? Один-единственный...

– Ага, всего одна чудесная, плодотворная и чисто платоническая ночь страсти, – закончила за него Милли. – Ладно. Выходит, *le problème* во мне. Или *la problème*?

Она покачала головой, будто стряхивала муху. Серьги в виде рыбок заметались на своих золотых лесках. Не отрывая взгляда от газона под ногами, она процедила:

– Желаю тебе подцепить какую-нибудь гадость, чтобы мучиться долго и страшно. – И, отхлебнув глоток, опять повторила: – А мне грозит полное нервное истощение.

Судя по всему, Милли основательно напилась. Это ей несвойственно. Она упорно смотрит себе под ноги.

– Милли, – вполголоса начал Джек, живо представляя себе приникшее к забору карминно-красное ухо Эдварда, – я по-прежнему в тебя влюблен. В тебя, а не в нее. Я тебя правда очень люблю. А ее – нет. Уехав из Эстонии, я про нее сразу забыл, а вспомнил, только когда она вдруг появилась снова. Мы с тобой должны справиться с этой ситуацией, понимаешь? У меня состоялся вполне достойный разговор с Кайей в Риджент-парке, возле озера...

– Как удачно выбрано место, – ядовито заметила Милли. – Крякай себе в свое удовольствие. *Я тебя люблю, я тебя люблю*, – заверещала она во весь голос, так что ее вопли эхом отразились от стены дома. Видимо, она уже выдула куда больше "перно", чем он сначала предположил.

Стараясь сохранять здравый смысл и самообладание, он улыбнулся и негромко сказал:

– Утки там в самом деле раскрякались. Послушай, мы с ней нормально поговорили, она рассказала мне про своего... про Рене из Квебека.

– Про Рауля.

— Да, то есть про Рауля. Про Рауля из Квебека... Словом, дело обстоит так. Слушай: я буду помогать Яну, стану учить его музыке, играть с ним в крикет, водить в парк Хит и прочее. Все как у нормальных людей. В крикете, сама видишь, я не спец, но...

— А я? Что мне делать? Играть в бридж?

— Ты же в бридж никогда не играла.

— Тогда — разводить кур? Всю жизнь мечтала кур разводить.

— Я выдохся, Милл, честно тебе говорю...

— Или нюхать кокаин? Может, спать с Эдвардом Кокрином?

— Да я его прежде укокошу, — хмыкнул Джек. — Делай то, что считаешь нужным.

— Я так и собираюсь, — взвизгнула она; возможно, от смеха. — Вот она, история моей жизни. Одна сплошная попытка не изгадить окружающую среду.

— Твои усилия достойны всяческого восхищения, Милл.

— Да пошел ты!.. — вдруг в голос заорала она. — Тщеславный враль, придурок гребаный!

И с силой швырнула стакан на газон; стекло лопнуло, стакан покатился, цепляясь разбитым краем за траву; даже смотреть на него было страшновато.

— Правильно! Правильно! — раздался все тот же молодой гнусавый фальцет, не оставлявший сомнений в источнике поддержки.

Джек повернулся в ту сторону, откуда верещал юнец-стажер, и обеими руками, как булаву, поднял детскую биту.

— Иди сюда, ублюдок, и попробуй повторить это здесь! — проорал он и вдруг, как подкошенный, рухнул на колени; казалось, в нем надломилась какая-то опора, на которой держалось все его существо.

Никакого ответа, за исключением визгливого фыркань я — скорее всего, еле сдерживаемого смеха. Милли уже решительно шагала к дому. Джек не узнавал собственного голоса — он походил на эхо в огромном соборе. Чудилось, что душа его в виде крестьянина в старинном костюме удаляется от него по сельской дорожке, обсаженной могучими тенистыми деревьями. Никогда прежде, во всяком случае с отроческих лет, он не думал, что у него есть душа в общепринятом смысле этого слова, а сейчас остро переживает расставанье с ней. Какая интересная травка торчит возле его колена. Досадно, если ему уже не суждено вникнуть в ее головоломное разнообразие; а так хочется по-прежнему ловить легкий аромат ладана, ее золотистость и теплоту после

напоенного солнцем летнего дня. Ощущать ее откровенную податливость.

В конце концов, силы вернулись к нему, и он направился в дом, уверенный, что там никого нет, Милли ушла — быть может, навсегда растворилась во мгле неведения.

Поднимаясь на третий этаж в свое "орлиное гнездо", он размышлял о Кайе, цитировавшей Флобера по-французски, и о своем замечании про застрявший в стремени лист папоротника. Фанфарон паршивый, черт тебя побери! Можно подумать, всю литературу назубок знаешь, хоть французскую, хоть какую. И еще кучу всего.

Если он в чем и разбирается, так это в музыке. Эта сторона у него даже чересчур развита — разрослась подобно опухоли. И существует она в отрыве от повседневной жизни — отдельный, особый мир. Вроде математики.

Но птицы ведь тоже создают музыку.

Он лежал в кабинете на кушетке и под прихотливые звуки "Первой арабески" Дебюсси снова и снова мысленно перебирал обличительные выпады Милли. Она назвала его тщеславным — уж чего нет, того нет, — и вралем. Последнее невозможно отрицать, он в самом деле ей врал. Но разве не свойственно всем людям прибегать к вранью в случае необходимости, просто чтобы вывернуться из трудного положения? Он попытался припомнить хотя бы один случай лжи со стороны Милли или Кайи, но не сумел и дал себе слово никогда больше не врать. И даже ничего не придумывать.

На сердце накипели слезы; он попытался выдавить их из себя, но не вышло, глаза оставались сухими. В сочинении музыки есть странная особенность: ложь здесь исключена. В музыке нет ни слов, ни изображений, значит — никакой лжи. Быть может, и правды тоже нет. Та мелкая подробность про лист папоротника, запутавшийся в стремени, кажется ему верхом правдивости. Очень хочется написать музыкальную пьесу с той же достоверностью деталей. Он чувствует запах папоротника. Когда любовник — как там его звали? — выдергивает папоротник из стремени, Джек слышит треск раздираемого листа. Он охотно рассказал бы Кайе об этом творческом порыве, она бы его поняла. А Милли нет. Собственно, Милли никогда его не понимала, во всяком случае, не понимала эту сторону его натуры. Вдобавок обозвала его тщеславным вралем и гребаным придурком.

Стало быть, на этом точка. Его браку пришел конец.

И вдруг, как пишут в книгах, он ощутил на губах вкус своих слез. Он неподвижно лежал на кушетке, а слезы набегали на глаза, змеились по щекам, пока не достигали рта. Из носа

тоже потекло, но он не утирал ни губ, ни носа. Удивляясь обилию выделений, он вспоминал себя в детстве — тогда он точно так же давал волю слезам. Он — полный неудачник. Лет десять назад все было ровно наоборот: он не сомневался, что достоин восхищения и зависти: самый многообещающий английский композитор, женатый на богатой наследнице старинного рода; в нем бурлил творческий дар, залог его блестящего будущего; и, конечно, он надеялся на скорое появление потомства. Годы летели незаметно, десять раз расцветали подснежники, но кому до них было дело? А теперь — поезд ушел: ему далеко за сорок, на висках пробивается седина, он давно не молодое дарование, его мать, вероятно, скоро умрет. Он уже не бурлит идеями, закваска выдохлась. Зато дом растет в цене, стремительно увеличивая их семейное состояние; такого дохода ни он, ни Милли никогда не добились бы работой или искусством. Эти кирпичные стены, свежая штукатурка, этот сад и даже просто трава ежесекундно источают, словно гной, сознание их общего богатства, и мысль о нем подрывает творческие силы. То же самое происходит и в Лондоне, и в дальних уголках страны: богатство, подобно запаху, да просто воздуху, то накатывает, то убывает, и миллионы пасынков судьбы, которым не удалось его вдохнуть, вынуждены и дальше карабкаться по бесплодным скалам, мучительно пытаясь приладить никуда не годные кислородные маски. Для этих людей богатство — отравляющий газ. Прежде он этого не понимал. Он бы с радостью взял биту и раскроил башку юристу из Сити, глядя, как зубы стажера мешаются с прозрачной мозговой жидкостью. Трудно поверить, что он способен испытывать такую ярость, такое остервенение. Он сам затронул нечто, гнездившееся в самом его нутре, точно уголь в земных недрах.

Он подошел к роялю, сел, наклонился, но не извлек ни звука. Изо всех сил растопырил пальцы и увидел, что они на глазах темнеют — от вскипевшего в нем угольно-черного бешенства — и расплываются от набегающих слез; с размаху опустил руки на клавиши; раздался мощный аккорд, он станет началом чего-то большего.

На следующий день, приехав в Хейс, Джек уселся в своей детской спальне с голыми стенами и стал размышлять над тем, что пару часов назад сказал ему врач-индиец.

— Ваша мама тяжело больна, мистер Миддлтон, — с характерным акцентом заговорил доктор на выверенном, чуть рубленом английском, — но ваш отец, боюсь, это не вполне понимает. Если не полагаться на чудо, придется признать, что

она вряд ли выживет. Мне очень жаль. Все это время Мойна держалась превосходно. А ведь она еще и слепа. Ей пришлось очень трудно.

Кабинет врача мрачноват, зато просторен, большой стол завален бумагами. Сердечный клапан у матери поражен инфекцией, она ничего не ест, страшно похудела, голова под привинченным к черепу аппаратом пылает.

– Да, понимаю, – отозвался Джек.

Правильно ли он себя ведет? Может быть, врач ожидал, что он разрыдается? А он как бы завис в нерешительности над собственными эмоциями, ничего, в сущности, не испытывая, кроме неясного подозрения, что доктор, возможно, говорит правду, хотя ум отказывается ее принять.

– Вы догадываетесь, к чему я клоню? Учитывая состояние вашего отца, лучше оставить этот разговор между нами.

– Понятно. Он тоже плох?

– Его самочувствие меня тревожит. – Доктор сплел длинные опрятные пальцы и опустил на них подбородок. – Не *слишком*, но немного... *беспокоит*. Вид у него измученный, согласитесь. А ведь он немолод.

Из коридора доносились разнообразные шумы, мешанина из разных звуков, вроде экспериментальной музыки семидесятых годов: шорох тележек, жизнерадостные возгласы сестер и санитаров, скрипы, визг, ритмичное попискивание аппаратуры, трели звонков, глухие удары. Здесь Джек чувствует себя в относительной безопасности. Ему даже кажется, что доктор, с его добрыми индийскими глазами и по-женски изящными руками, сумеет сотворить чудо.

Нет, чудо сотворит его мать. Она им всем покажет! И врач будет от души радоваться. Наверняка ему приходится сообщать такие же печальные новости и другим людям, но сегодня он делает это будто в первый раз в жизни. Может быть, ему и правда жаль маму. У Джека сдавило горло, но не от жалости к матери, а от доброты врача – этой капельки доброты в необъятном бедламе Государственной службы здравоохранения. Они с Милли предлагали Доналду положить Мойну в частную клинику, но Доналд из гордости отказался. Он десятилетиями голосовал за лейбористов – добрых старых лейбористов, как он их называл. Среди квалифицированных рабочих, его коллег по заводу, принадлежащему компании "И-эм-ай", голосовать за них не принято. Но после несчастного случая, произошедшего с Мойной на фабрике, и постыдного поведения владельцев-консерваторов Доналд стал приверженцем социализма – правда, социализма специфического, с тоненькими прожилками крайне правых взгля-

дов во всем, что касается межнациональных отношений, закона и порядка. Доналд с тяжелым сердцем наблюдал, как работает национальная система здравоохранения. Но, слава Богу, и здесь есть сущие ангелы: лечащий врач жены и некоторые сестры. Больница сильно смахивает на огромный неслаженный оркестр: все играют кто в лес, кто по дрова, бестолковым шумом кое-как заглушая гул Смерти, наяривающей на электрооргане Хаммонда[1], но этот доктор понимает, что одной аппликатурой тут не обойтись.

— Сколько же она еще протянет?

— Месяц, не больше, — ответил врач. — А может быть, всего сутки. Мы не знаем сколько, понимаете?

Они с отцом сели в кухне перекусить; от принесенной из ближнего китайского ресторанчика коробки с едой по всему дому — а может, и по округе — расползался запах фритюра.

— К Рождеству она уже вернется сюда, — уверенно заявил Доналд. — И вы с Милли могли бы провести его здесь, у нас. Навряд ли у мамы хватит сил куда-то ехать.

— А кто сказал, что ее выпишут?

— К Рождеству-то? Непременно выпишут. Недельки через две шея у нее будет в полном порядке. То-то Мойна обрадуется, что можно, наконец, снять с головы эту жуткую железяку.

— А инфекция?

— Антибиотики же есть. Подложить тебе рису, Джек?

Состояние матери резко ухудшилось. Доктор знал, что говорил, но Джек все равно был поражен. Чем больше она слабела, чем чаще начинала бредить, тем менее внимательными становились сестры. И однажды, впервые в жизни, Джек сам расчесал ей волосы. Она попросила пилочку для ногтей; он сбегал в магазин и принес миниатюрный напильничек, но мать, совсем обессилев, просто держала его в горсти, будто надеялась, что и от этого будет толк. Она всегда следила за ногтями. Возможно, потому, что слепота обострила ее осязание.

Джек не стал ничего рассказывать отцу про свои отношения с Милли. Она уехала в Гемпшир и теперь поправляет здоровье в Холле; вероятно, много ездит верхом. Мойна сидела в обтянутом кожзаменителем больничном кресле с вертикальной спинкой — видимо, более удобного сиденья для человека с тяжелым металлическим сооружением на голове в клинике не нашли, хотя наверняка пытались. Она спросила, почему Мил-

1. Электроорган Хаммонда — электромеханический музыкальный инструмент, построенный Лоуренсом Хаммондом (1895—1973; американский инженер и изобретатель) в 1934 г.

ли ее не навещает. Кратковременная память у матери уже практически разрушена, и Джек просто намекнул, что Милли заходила к ней накануне:

– Ты, мама, в это время спала.

Не подозревая об утрате кратковременной памяти, Мойна изредка начинала всерьез сердиться на невестку, жалуясь, что та давно у нее не появлялась. Увы, это полностью соответствовало действительности. Во всяком случае, куда больше, чем ее же россказни о том, что утром ее посетил граф Маунтбаттен Бирманский, пожал ей руку и угостил черносливиной. Однако эта фантазия вновь и вновь всплывала в ее бедной голове.

Джек уже неделю жил в Хейсе, но Милли ни разу даже не позвонила.

В понедельник он поехал в Хэмпстед – заняться музыкой со своей тайской ученицей, потренироваться на лужайке в крикет, снова засесть за "Воды опасного путешествия" и маяться над пассажем со взрывом бомбы: он никак не может решить, где именно должны зазвенеть тарелки. Та скандальная сцена с Милли теперь кажется ему лишь игрой воображения. Милли запаздывает с работы, вот сейчас войдет и с порога заявит, что ей до смерти хочется выпить... Но тут в траве блеснули осколки стекла в липких потеках "перно", на которых копошились муравьи.

Он первым делом позвонил Кайе и, сославшись на тяжелое состояние матери, перенес встречу в Кенсингтон-гарденз на следующую неделю. Кайя разговаривала скупо, заметила лишь, что Говард уезжает работать на Сицилию, поэтому урок альта отменяется.

– Ах, да, на Сицилию, верно, помню, – отозвался Джек. – Вот здорово! Ну, а мы встретимся там же, у Питера Пэна. Я купил Яну набор для крикета.

– Хорошо.

Он съездил на Джермин-стрит, и в магазине мужской одежды "Чарльз Тиритт" купил для отца рубашку-поло с длинными рукавами: Доналду нравятся такие рубашки; потом прихватил в "Фортнуме" готовой еды и приехал в Хейс. Они решили поесть на воздухе. Сели за садовый столик и в унылом молчании приступили к трапезе, но оказалось, есть им придется под аккомпанемент громкого ритмичного "транса", гремевшего из стоявшей за забором машины с распахнутыми дверцами. В конце концов, не выдержав оглушительного шума, они ретировались в дом.

– Может, мне на них пожаловаться? – предложил Джек.

– Не хочу, чтобы ты тоже попал в больницу, а то и в морг, – ответил Доналд, вяло тыча вилкой в poulet de

Bresse[1]. – Когда ты был совсем маленьким, тут бесчинствовали модзы[2] и рокеры. Потом – хиппи и скинхеды. А теперь – буйные психи в парусиновых туфлях.

Джек хмыкнул, давая понять, что оценил отцовскую шутку, тем более, что Доналд вообще-то не склонен к юмору; впрочем, тут же выяснилось, что он говорил совершенно серьезно.

Утро Джек, как правило, проводил в больнице, изредка позволяя себе передохнуть в безупречно чистеньком стильном ресторанчике, открывшемся в новом шикарном "Картрайт-центре". Корпус под этим названием вырос напротив больницы, на другом конце ухоженной лужайки. Что это за центр, Джек так и не выяснил, но в ресторанчике всегда было полным-полно врачей и сестер, сбегавших туда от больничной суматохи и убогости. В холле над фонтаном висела доска с длинным списком частных спонсоров центра, среди которых Джек, к своему удивлению, увидел строчку: "Ричард и Марджори Дюкрейн".

Мойна почти ничего не ела. Если утром ей забывали дать меню, чтобы она отметила галочкой блюда, которые ее устраивают, она оставалась вообще без еды. Когда Джек в первый раз приехал в больницу, ей принесли говядину под соусом карри и фруктовый пирог с патокой. Мойна велела няне отдать все Джеку:

– Его надо подкормить, – объяснила она.

Краснолицая низенькая няня, фигурой напоминавшая грейпфрут, приехала, как выяснилось, из Латвии. Разговаривала она строго и безапелляционно, без малейшего намека на чувство юмора. Тем не менее поднос с тарелками она все же в палате оставила. Джек звякал посудой, причмокивал, изображая, что ест, но от вида и запаха мяса его затошнило. Он впервые видел еду, столь сильно смахивающую на отбросы.

– Вкусно? – спросила мать.

– Пальчики оближешь, – ответил Джек. – Островато, правда.

– Здесь всегда так, – сказала она. – На кухне-то работают одни цветные.

Потом на смену Джеку приехал Доналд и взялся за пирог с патокой. Правда, его вставные челюсти тут же увязли в сладкой массе, норовя расстаться с деснами владельца; двухминут-

1. Цыпленок по-бресски (*франц.*).
2. Модзы – группы хулиганствующей английской молодежи конца 1950-х – начала 1960-х гг.

ная суматоха вокруг пирога и зубных протезов отвлекла Мойну от ее неутихающей боли и уже потому была ей в радость.

Однажды утром, минуты через полторы после приезда Джека, она вдруг сказала:

– Надеюсь, у вас все нормально.

Голос у нее был даже не слабый, а необычно высокий и писклявый – таким, как правило, говорят актеры, изображая глубоких стариков. Она недвижно сидела в том же неудобном кресле, низко свесив голову, будто кланяясь после выступления.

– У кого "у вас"?

– У тебя и Милли.

– С чего это пришло тебе в голову?

– Когда у человека уйма времени, всякое приходит в голову, – не поднимая головы, ответила она.

Наверно, это металлическое сооружение и не дает шее срастись, подумал Джек. В последние дни глаза у матери тоже не те – они стали белесыми, будто еще более незрячими. До падения ее слепота была почти незаметна: ни черных кругов вокруг глаз, как у панды, ни шрамов, потому что авария была совершенно другого рода. А теперь в обе руки воткнуты капельницы, вокруг игл кровоподтеки, на подставках банки с физиологическим раствором, кругом пакеты и мешки для отходов жизнедеятельности – словно ее внутренние органы, вытащенные наружу. Но Джек отупел и уже не воспринимает весь этот ужас. Когда-то мать работала контролером на колбасном заводе, ходила, словно доктор, в белом халате, с модной тогда высокой прической и с блокнотом в руке; она сновала по цехам, давала указания, смеялась и отчитывала нерадивых. Надо это запомнить.

– Все отлично, – заверил Джек, чувствуя, что к горлу подступают рыдания.

Не хватает и ему развалиться на части. Он до боли закусил губу. Эта комната, соседняя палата, коридоры, вся больница пропахла вывернутым наизнанку телом. Кругом трубы, трубочки, провода. Прямо как Центр Помпиду. Вскоре после знакомства они с Милли побывали в Центре Помпиду. Там, на фестивале современного искусства, исполнялось одно из его ранних скрипучих сочинений, а позади оркестра на экранах целой шеренги телевизоров одновременно демонстрировалась авария на мотоциклетных гонках: пострадавший гонщик уползал с трассы, спина его в языках огня походила на покрытое пластинами тело стегозавра. И эти кадры повторялись снова и снова.

– Очень рада, – сказала мать; она не видела, что сын закрыл лицо руками. – Я считаю, Милли не только хорошо воспитана, она еще добрый и чуткий человек.

Глава десятая

Он надеялся, что Милли опомнится, осознает, сколько хорошего подарили им годы совместной жизни, и простит его. Трудно сказать, известно ли Ричарду и Марджори, что произошло между их дочерью и зятем, но Милли им, скорее всего, сама рассказала. Естественно, родители попытаются уговорить ее помириться с Джеком. Они же не какие-нибудь закоснелые рутинеры. История рода Дюкрейн изобилует скандальными связями и незаконнорожденными детьми.

Наконец, опять наступил понедельник, все еще необычно теплый, хотя и грозящий дождем. В Кенсингтон-гарденз Джек поехал через Хэмпстед; маршрут вышел долгий и неудобный, зато у него есть время поразмыслить. До встречи с Кайей и Яном еще целый час, как он и рассчитывал: хотелось прогуляться по парку в одиночестве. Выходные он проведет в своем доме в Хэмпстеде. Пока его оттуда не вышвырнули. Любопытно, как с юридической точки зрения будет решаться вопрос, если Милли все-таки надумает порвать отношения и вынудит *мужа* ее оставить.

Надо обсудить все это с Кайей — пусть знает, что происходит у него в семье. Если она вдруг бросится ему на шею со словами "Джек, дорогой, в таком случае переезжай к нам с Яном навсегда!" — он знает, что сказать в ответ. И очень решительно. "Поживем — увидим", — твердо заявит он.

Вагон подземки трясло и качало; под перестук колес ему пришло в голову, что барочные литавры (четыре взрыва) могут зазвенеть *после* грохота тарелок, и на их фоне вступит хор. Для голосов он позаимствует у Шостаковича один из "Семи романсов на стихи Александра Блока", из цикла "Тайные знаки", опус 127. Это станет иносказательным намеком на события его личной жизни, который останется загадкой даже для просвещенной аудитории "Перселл-Рум"; зато благодаря Шостаковичу Джек сумел выбраться из музыкального и эмоционального тупика. В тот день, в ту минуту, когда взрывались бомбы, он как раз слушал диск с этим произведением. И сейчас у него перед глазами сама собой выстраивается партитура; сидящая напротив женщина увлеченно читает "Il Codice Da Vinci"[1] и даже не подозревает, на что устремлен пристальный взгляд странного пассажира.

Джек вдруг понял, что еще ни разу ничего не читал сыну. И ведать не ведает, какие книжки тот любит. Разумеется,

1. "Код да Винчи" (*итал.*).

Кайя занимается культурным развитием мальчика, в том числе его литературным образованием. Джек почувствовал себя никчемным и никому не нужным. Недавно Милли рассказала ему, что сейчас второе по популярности слово в английском языке — "кока-кола".

– А должны бы быть "любовь" или "уход", — сказала она.

– Ага, например, уход из семьи, — пошутил Джек.

Они стали гадать, какие слова были самыми популярными в доисторические времена, всерьез обсуждали разные версии и в конце концов расхохотались.

Он очень скучает по Милли. По ее сильному характеру, по ее умению содержать в порядке весь мир и его самого; и, хотя она потерпела крах, он тоскует по ней еще больше. А в парк Кенсингтон-гарденз он едет через Хэмпстед, чтобы взять с собой набор для крикета. Было бы странно, если бы он привез в Хейс этот малышовый набор, пришлось бы объяснять что́ да зачем, но сейчас он жалеет, что не захватил набор сразу и теперь попусту тратит время, катаясь по Северной линии.

Пожалуй, Милли права, думал он, глядя на свое отражение в окне мчащегося по туннелю поезда, ему и в самом деле надо бы постричься. Решительно изменить внешность. А главное — стиль. Нечеткое отражение в затененном стекле ему льстит, лицо кажется почти таким же, каким оно виделось много лет назад в окне школьного автобуса. Чего он с той поры добился? И добился ли? Удастся ли ему когда-нибудь с помощью музыкальных инструментов передать страшный звук в бешено мчащемся под землей вагоне, этот вой, от которого выворачивает нутро? Кейдж записал бы его на пленку, Кардью сказал бы, что человеку достаточно самому услышать этот подземный звук, но те времена прошли. Фрагмент со взрывами бомб — не повествование, а размышление, памятник. Это не горизонталь, а вертикаль. И зубилом должно стать его собственное отчаяние. На этой мысли партитура перед глазами мгновенно исчезла, будто ее кто-то свернул. Но он ведь не впал в отчаяние, в этом все дело. Он просто... как это называется... бесстрастен, что ли? Высокие белые облака плывут над Миддлсексом, они негромко гудят над его жизнью, вот они уже окружили его, стали частью его самого, и он смотрит вниз, на собственную жизнь. Так бывало много раз. Он объяснит это Милли. И Кайе. Возможно, он уже им объяснял. Ну, так объяснит заново.

Сидящая напротив итальянка оторвала от книги остекленевшие глаза и не улыбнулась в ответ. Кто-то из пассажиров вагона слушал рингтон своего мобильника, очень схожий с

музыкальной фразой Джеймса Ласта[1]: “зип-а-ди-ду-да”. Мелодия незаметно прокралась Джеку в голову, да так и осталась там на весь день.

Открывая входную дверь (это все еще его дом? да и был ли он когда-нибудь его домом?), Джек наступил на письмо. Вопреки обыкновению, Марита не положила его на плетеный поднос для почты. Значит, она с утра еще не приходила. Наверно, всю неделю с удовольствием хозяйничала здесь одна. В малой гостиной еще витает сладковатый запах сигарет — возможно, с марихуаной. Марита обзавелась дружком-греком, который курит травку так же естественно и часто, как другие пьют чай. Милли считает его сущим бедствием, но ведь этот парень ей не родня, как-то заметил Джек, зато денег у него куры не клюют. На коврике у камина стояла немытая кружка с потеками кофе, из нее торчала чайная ложка.

Дом выглядит чужим, точно новое издание с детства знакомой книги. До отъезда в парк еще час. Джек поднялся наверх в кабинет и вытащил пластиковый пакет из-под дивана, куда сам его засунул. Он уже предвкушал, как застенчивая мордашка Яана просияет улыбкой с ямочкой в уголке рта при виде крикетного набора и от сознания, что теперь это его собственность.

На попавшем ему под ноги конверте круглым почерком, похожим на руку Милли, только мельче, было написано: “М-ру Джеку Миддлтону”. Джек пошел в зимний сад; воздух там застоялся, и он растворил двери настежь, но и снаружи пахнуло необычной для осени духотой. Он сел, прислонив к ноге пакет с крикетным набором, и вскрыл конверт. Вот что он прочел:

Дорогой мой Джек!

Когда ты получишь это письмо, я вместе с Яаном уже вернулась в Эстонию. И буду в Хааремаа. Именно там я хочу растить нашего сына. Мой старый друг, о котором я тебе говорила, — его зовут Томас, он отличный плотник, — уже ждет нас.

Почему я так поступаю?

Потому что мне ясно, что ты будешь только “воскресным” отцом, который приходит и уходит, когда ему угодно, раз в неделю играет с сыном в крикет или футбол и очень озабочен счастьем жены — насколько я понимаю. Возможно, моя вина в том, что я не могу это вынести. Джек, ты весь очень английский, очень вежливый, но берешь то, что тебе нужно. И еще: Яану в Лондоне не слишком

1. Джеймс Ласт (наст. имя Ханс Ласт; р. 1929) — немецкий композитор, аранжировщик, дирижер.

хорошо. Как и мне. Из-за кривой стопы над ним смеются, дразнят, и лондонский воздух ему тоже вреден. Меня часто принимают не за ту женщину, какая я есть, потому что я из Прибалтики и так называемая блондинка. Я хотела, чтобы ты увидел сына и тогда, может быть... Мне кажется, я поступила правильно и выполнила свой долг.

Прости меня. Когда Яан захочет узнать, я расскажу ему, кто его настоящий отец. А сейчас это — Тоомас, который любил его с младенца. Пока что он будет учиться играть на альте у моей подруги, на нашем острове; она музыкант, в советские времена играла в оркестре, сейчас она на пенсии, наверно, немножко старомодная, но очень милая. На три года или около того — вполне годится. Потом, может быть раз в две недели, мы будем ездить на автобусе в Таллинн. Я пойду работать на радио Хааремаа и еще учиться. Скоро ты сможешь услышать нашу станцию в интернете.

Джек, если хочешь, я буду иногда присылать тебе фотоснимки Яана. Так лучше всего. Прощаться невозможно.

"Какой он, настоящий ключ от неба?" Так писал Яан Каплинский. Когда я прочла это, я подумала про тебя маленького, как ты в Хейсе смотрел на белые облака и слушал их. А Ахматова говорила: "Света источник таинственно скрыт".

С любовью навсегда,

Кайя.

Но моя жена *вовсе не счастлива*! — звенел в ушах внутренний голос. Джек долго смотрел на детский крикетный набор в прозрачном, похожем на чулок пластиковом футляре. Письмо выпало из его руки. Возле кресла, под растением с сочными, отороченными алым листьями, он увидел пепельницу с тремя недокуренными "косяками". Джеку почудилось, что он может прямо сейчас умереть на месте — просто перестанет цепляться за жизнь, впадет в транс и уйдет безвозвратно. Потом начнется разложение, по лицу станут ползать мухи... Но к тому времени Марита его обнаружит.

Он явственно ощущает тяжесть металлического аппарата, что громоздится на голове матери, боль от шурупов в собственном черепе. Он уверен, что она не умрет ни сегодня, ни завтра, ни даже на следующей неделе, что бы там ни говорил врач. Она же бабушка Яана. Мама Джека. Доналд — Яану дедушка. А Джеку — отец. Все совершенно ясно.

А он — *отец Яана*. Ему хочется научить мальчика хотя бы начаткам крикета. Сводить его в Музей игрушек, что в районе Бетнал-Грин, тем более что музей скоро закроют на год. Все очень просто и ясно. Но ведь он прикован к креслу. Толпящиеся вокруг растения дышат, забирают воздух и исторга-

ют из себя совсем другие газы. Этот большущий стол из липы стоил бешеных денег, он весь в шрамах прошлой жизни, прошедших жизней. Какими неимоверными усилиями его сюда втащили.

От отсутствия Яана в груди пустота. Огромная дыра, пробитая в его грудной клетке. Чудится, что он безвольно плывет по воде, по течению, но правит им это чувство в груди. Оно тянет его на дно. Для взрывов бомб литавры ему точно не понадобятся! Взрыв прогремит в начале и завершится в конце. Миллисекунда, которая будет длиться двадцать минут. Виолончель, вторая позиция на струне до, а одновременно, чуть ли не заглушая виолончель, будут устрашающе бушевать духовые, дисканты хора мальчиков и мягкий арабский барабанчик. Все это звучит у него в ушах, пока он упорно смотрит на детский крикетный набор, и светлая деревянная бита то чернеет, то белеет — это уже шуточки зрения: глаза устали одновременно и смотреть в одну точку, и читать развертывающуюся в его голове партитуру. Она аккуратно и четко выписана чернилами, посверкивающими, как мозговая жидкость, на раскручивающихся перед его мысленным взором свитках.

В определенном смысле письмо Кайи все прояснило. С другой стороны, оно все усложнило. Джек чувствовал в себе мощные встречные потоки. В тот же вечер он позвонил в Уодхэмптон-Холл; трубку взял Ричард.

— А, это ты, Джек, — суховато сказал он. — Ты, конечно, хочешь поговорить с Миллисент.

С *Миллисент*?!

— Да, если можно.

— Пойду посмотрю.

Так разговаривают не с зятем, а с малознакомым и никчемным кавалером дочери. Ричард пропал минут на десять, не меньше. Время от времени Джек кричал в трубку "Алло!" Он живо представлял себе, как неторопливо и чуть прихрамывая (с недавних пор у тестя болит нога) Ричард бродит по огромному дому, изредка выходит на крыльцо и оглядывает окрестности. В трубке вроде бы послышался грачиный грай, дальний стук колотушки, забивающей столб забора, дыхание свежего сельского ветерка.

Наконец, донеслись глухие шаги, негромкий треск, и в телефоне раздался голос Ричарда:

— Алло?

— Да, Ричард. Удалось ее найти? — в сильном волнении, точно наивный подросток, добивающийся внимания девушки, спросил Джек.

– Увы, нет.

– Она что, вышла?

– Гм, по-моему, она еще не готова.

– Что значит “не готова”?

– Не готова разговаривать. Понял? – скупо ответил Ричард.

Так опытный сапер ведет себя с неразорвавшейся бомбой.

– Ричард, скажи ей, что они уехали, ладно? Уехали насовсем.

– Кто уехал?

– А что она вам рассказала?

– Ну, что между вами не все ладно. Как я понял, там замешан некий мальчуган. Но он не от Миллисент.

– Верно. Словом, скажи ей только, что они уехали к себе. Навсегда.

– Будет сделано.

Джеку показалось, что на заднем плане звучит чей-то настойчивый голос, но вряд ли это голос Милли.

– А как поживает твоя мать? – спросил Ричард, будто только что о ней вспомнил, но прозвучало это не очень убедительно.

– Довольно-таки плохо, – сказал Джек.

– Вот беда, – по-прежнему неубедительно посочувствовал Ричард. – Мне очень жаль.

Все-таки Ричард, видимо, поговорил с Милли, потому что на следующий день она вернулась домой. Джек уже целые сутки размышлял о небытии. Иначе говоря, он всерьез рассматривал смерть как более предпочтительный для него вариант, нежели жизнь; размышлял спокойно и отстраненно, будто из двух депозитных счетов выбирал тот, который принесет больше дохода. Казалось, все его существо – кровь, кости и сердце – пропитано больницей. Ему тяжко видеть страдания матери и упорную надежду отца на ее выздоровление, в то время как жизнь, жестокая и обманчивая, идет своим непредсказуемым чередом. Как-то, повинуясь неосознанному порыву, он заглянул в шкаф Милли и заметил, что коробка с прахом их погибшего ребенка исчезла. На коробке была наклейка с именем: “Макс Миддлтон”. Могла бы меня спросить, подумал Джек. И почему только люди ни о чем не спрашивают? Но не ему ее винить.

Зато Кайю он вправе винить. Надо написать ей, как только он обуздает свою злость. Сначала он решил, что Кайя – женщина взбалмошная. Но, подумав, пришел к выводу, что она хотела его наказать. И ей это удалось. Не мудрено, что он крепко сердит на нее.

Он и помыслить не мог о том, чтобы повидаться или хотя бы поговорить с кем-нибудь из старых друзей – к примеру, с Ником Брадфордом или с "Горемыкой" Барнаби (Говарда нет в Лондоне, он все еще на Сицилии): его инстинктивно тянуло побыть одному. Кончилось тем, что, к собственному немалому изумлению, на следующий вечер он оказался в саду у Эдварда Кокрина, где они вдвоем стали пить шампанское.

Дело было так. В самый неподходящий момент, когда Джек в полном отчаянии сумерничал в саду, раздался звонок во входную дверь. Может, Кайя, – мелькнула абсурдная мысль.

Но это был Эдвард Кокрин.

– Здорово!

– Я занят, Эдвард.

– Мы – два сапога пара, и не думай это отрицать.

К тому времени Джек забыл, что отец Эдварда покончил с собой. Но, увидев землистую, щенячью физиономию соседа, его приплюснутый, облупившийся на солнце нос, разом вспомнил.

– С чего ты взял? Сходства маловато.

– Вот тебе мой совет: займись делом. Найди работу. Берись за любую: ухаживать за старухами, работать в "Оксфаме"[1]...

– У меня, черт возьми, *есть* работа, Эдвард. И за старухами я тоже ухаживаю. Хотя бы за собственной матерью.

Склонив голову набок, Эдвард уточнил:

– Я говорю про помощь чужим людям. Тогда не останется времени на всякую хрень.

– Спасибо за ценный совет, приятель.

Джек уже собрался закрыть дверь, но не тут-то было: Эдвард решительно воспротивился.

– Хочешь, барбекюшку сварганим? Только ты да я. Поплачемся друг другу в жилетку, выпьем шампусика?

– Барбекю? Если ты не в курсе, в Англии конец октября.

– Брось, у нас здесь Австралия. Жара рекордная. Не заметил, что ли? В Йоркшире народ загорает.

– Нет, в общем, не хочется.

– У меня все готово. Кончай думать про крюк с веревкой. Мясо – лучше не бывает. Свежайшее. Сегодня днем урвал. А на сладкое – зефир.

Джек вдруг почувствовал, что проголодался. После завтрака у него маковой росинки во рту не было: в больнице на обед принесли яичницу – и опять с карри; запах карри, смешан-

1. "Оксфам" – независимая международная благотворительная организация помощи голодающим и жертвам стихийных бедствий в различных странах мира. Основана в Великобритании (Оксфорд) в 1942 г.

ный с вонью дезинфекции, на несколько часов отбил у него аппетит.

Вот так он и очутился у соседа, в его ухоженном саду с разными водными прибамбасами, извилистыми кирпичными дорожками и изысканными античными статуями; все это тонуло в сладостном хмельном тумане от выпитой бутылки "Боланже". Он отклонил предложение хозяина поставить негромко, "для настроя", диск "Роллинг Стоунз".

— Милли мне вкратце все рассказала, — небрежно бросил Эдвард. Он почти в открытую радовался неладам у соседей. — Про компанию "Врун и сын".

— Какого дьявола она *тебе-то* выкладывала?! С ума сойти.

— Честно скажу, я провел целое расследование. Сам знаешь, Милли с Лилиан были закадычными подружками.

— С Лилиан, но не *с тобой*.

— Верно, но я умею обаять женщину.

— Надеюсь, что не мою жену.

Эдвард залился смехом, продолжая ворошить горящие угли в причудливом кирпичном сооружении для барбекю. Шорты в стиле "джунгли" едва не лопались на его объемистых ляжках. Сыпавшиеся с деревьев листья вспыхивали, не долетая до огня.

— Увы. Такая рыбка на мою наживку не клюнет. Она попросила меня присматривать за домом. По-соседски. Чувствовалось, что она в большом расстройстве. Я всегда знал, что ты с придурью, но что такой болван, не представлял! Подумать только! Имея законный неограниченный доступ к телу Милли Дюкрейн, связаться с тупой балтийской блондинкой!

— Она не тупая, но я с тобой согласен.

Сквозь дурман от выпитого шампанского Джека пронзило острое чувство утраты. Глядя, как Эдвард умело и любовно ворошит угли, он попытался представить его в детстве. Задачка-то нехитрая. В определенном смысле Эдвард так и не повзрослел. И это многое в нем объясняет. На сад уже спускалась непроглядная тьма — вернее, спустилась бы, если бы сад, точно взлетную полосу, не освещали по периметру галогенные лампы. Эдвард прыснул на угли жидкости для барбекю, и мгновенно вспыхнувшие языки пламени принялись лизать толстые куски говядины.

— Смотри мясо не опрыскай, — сказал Джек.

— Положись на меня, старик. Здесь убежище для холостяков. Нам надо держаться вместе. Вжик! Сипасибо, ребятки, сипасибо.

Джек услышал негромкий звонок, определенно в его доме; напрасно он не закрыл стеклянные двери, пожалуй, это опрометчиво с его стороны. Вероятно, звонят из больницы,

а может, его отец. Или Милли. А то и Кайя. Придется завести мобильник. Меньше всего на свете ему хотелось жарить и есть барбекю вместе с Эдвардом Кокрином, однако ж именно этим он сейчас и занимается. После ремонта дом Эдварда выглядит очень элегантно, в отличие от хозяина — во всяком случае, в этих дурацких шортах. Джек вновь наполнил фужер. Надо же себя побаловать. Жаль, что он не прихватил свитера. Днем было жарко, точно на юге; ан нет, здесь все-таки север, да еще и осень.

— Та история с твоим отцом...

— И что?

— Злишься на него за то, что он с собой сделал?

— Может, и злюсь, — ответил Эдвард. — Он был викарием, а я взял и пошел в армию.

— Правда?!

— Семь лет оттрубил. В Северной Ирландии та еще веселуха была, — добавил Эдвард, поворачивая вертел с мясом.

Джек представил себе соседа в военной форме: вот бронемашина осторожно едет по Фоллз-роуд[1], а из люка, словно чертик из табакерки, высовывается Эдвардова голова в каске. Удивительно, сколько неожиданного скрывается в человеке, которого вроде бы знаешь, как облупленного.

— Получается, ты ему отомстил.

— Точно. Плюнул в рожу.

— Викарий — и покончил с собой?

— Да, викарий, *потому* и покончил с собой. На самом деле он утратил веру. Как-то несерьезно, скажи? Он ведь даже получил какой-то пост по церковной линии. К маме относился жутко. Курильщик был заядлый, сигарету не выпускал изо рта, зато спиртного — ни капли. Эгоист, каких поискать.

Как будто ты не эгоист, подумал Джек. Однако же именно Эдвард пригласил его к себе. Посочувствовал соседу. А может, Милли попросила Кокрина приглядывать не только за домом, но и за мужем?

Они уже взялись за зефир, как вдруг, точно в страшном сне, из-за деревьев и густых кустов, разделяющих два участка, Джек услышал голос Милли: она звала его из оставленных нараспашку стеклянных дверей. Голос дрожал, будто она боялась наткнуться на что-то страшное. Обычно Джек не оставляет двери незапертыми, но он ведь пошел в соседний сад, рукой подать от дома...

1. Фоллз-роуд — дорога в Северной Ирландии, проходящая через Белфаст.

— Бог ты мой, похоже, твоя кричит, — прошептал Эдвард, поворачивая на вилке оплывающую зефирину.

Джек уже успел прокусить подсохшую над огнем корочку и с наслаждением ощутил полузабытую сладость мягкого зефирного суфле: в памяти сразу всплыли картины жизни в скаутском лагере. Приторная масса залепила рот; делать нечего — пришлось, обжигая язык, глотать все разом.

— Она вернулась, — с трудом выговорил он.

— Похоже на то. Э-гей! — гаркнул Эдвард; спьяну ему в голову не пришло сначала посоветоваться с Джеком насчет дальнейших действий. — Тут он, у меня.

— У тебя?!

— Ага, мы с ним вовсю гуляем. И не надо нас осуждать.

— Неправда! — крикнул Джек. — Мне тошно и горько.

Он не заметил, как выпил гораздо больше обычного, и теперь все стало казаться забавным и вызывало лишь беспечный смех. В конце-то концов, жизнь не больничная койка. Вокруг происходит масса нелепого и потешного, надо только уметь это видеть. К примеру, его собственный вопль — что ему тошно и горько, — уморительно комичен. Эдвард неожиданно положил руку на колено Джека. Тоже можно лопнуть со смеху. А тут еще... С этим зрелищем вообще ничто не сравнится: нанизанная Эдвардом на вилку зефирина, повинуясь закону тяготения, очень медленно, как в эпизоде из какого-нибудь фильма ужасов, оплывает и вот-вот плюхнется ему на колени.

— Оо-о-о, какое потрясаа-ающее колено у твоего мужа! — взвыл Эдвард, подражая голосу валлийца-педика из телешоу "Маленькая Британия".

Ответа не последовало.

— Куда она делась? — удивился Эдвард. В ту же минуту расплавленная зефирина отчаялась и сгустком эктоплазмы шмякнулась прямиком Эдварду на ширинку.

Пьяный в зюзю Эдвард ошарашено уставился на свое причинное место, и Джек понял, что ничего смешнее в жизни не видел. Любое, даже самое лучшее комическое телешоу бледнеет рядом с этой картиной. Его захлестнул приступ необоримого веселья. Он сотрясался от хохота, или хохот сотрясал его. Глядя на Джека, Эдвард тоже залился смехом, и теперь удержу не было обоим. У Джека уже болел живот, ломило мышцы, скулы. Оба смеялись теперь почти беззвучно, лишь слегка повизгивая, но время от времени дружно разражались оглушительным хохотом, от которого слезы ручьями текли по щекам. Белая блямба на ширинке Эдварда стала для них "кнопкой включения", от одного взгляда на нее они форменным образом задыхались от смеха. Корчась и раскачиваясь на стульях,

едва не падая, они бессильно стонали, мечтая о передышке, но стоило им встретиться глазами, пытка смехом возобновлялась.

В эту минуту в саду появилась Милли. У нее же есть свой ключ от соседского дома. Ей дала его на всякий случай Лилиан: мало ли что бывает — скажем, она поедет по магазинам или в бассейн, детей оставит дома, а там вдруг вспыхнет пожар...

— Прости, прости, — мямлил Джек, безуспешно утирая мокрые глаза и нос. — Это все... из-за... зефира. Извини, пожалуйста. Это...

Повисла странная тишина — несколько мгновений ничего особенного не происходило. Лишь его вышедшее из-под контроля тело сотрясалось последними судорогами смехоизвержения. Милли молча наблюдала за ним.

Внезапно все прекратилось. Веселье покинуло Джека — так бесы покидают тело одержимого. Что-то изгнало из него всю веселость. Обессиленный, одуревший, он ухватился за ноющий живот. Эдвард тоже слегка очухался и снова поднял фужер. Глаза у него покраснели так, будто он долго кого-то оплакивал.

— Милли, дорогуша, посиди с нами и отведай зефиру.

Залитая светом галогенных ламп, Милли стояла на лужайке в нескольких метрах от них, скрестив на груди руки. Она вообще не склонна видеть смешное в окружающей жизни. Собственно, в этом-то и беда: для Милли жизнь почти всегда — дело серьезное. Очень серьезное. Неизменно связанное с планетарной катастрофой. Джек напрягся, вспоминая, что кроется за таким отношением к жизни. Ах да, биотуалеты. Повторно используемая вода. Исчезновение белых медведей.

— Милл, иди, сядь сюда. Я люблю тебя без памяти.

— Выпей "Боланже", дорогая, — предложил Эдвард, подняв бутылку шампанского. Блямба от растаявшего зефира по-прежнему белела у него на ширинке. — Если хочешь завести ребеночка, детка, надо заниматься этим *не реже* трех раз в неделю.

— Роджер умер, — проронила Милли.

— Откуда ты знаешь? — спросил Джек.

И опять где-то внутри возник пузырек смеха. Видимо, в нем по-прежнему сидит проказливый мелкий бесенок. Поза Милли, ее скрещенные на груди руки, суровый взгляд и тон, которым она сообщила ему о смерти Роджера Гроув-Кэри, его обожаемого старого учителя... Все это чрезвычайно странно. Он стал думать про Освенцим, Хиросиму и Руанду. Про Яана, которого никогда больше не увидит. Ничто не помогало. Живот сотрясался от приступов подавляемого смеха так, будто по нему били кулаком, и эти толчки рвались прямо к горлу. Чисто механический эффект. Но и эта мысль казалась смешной. Глобальное потепление. Белые медведи, со-

скальзывающие с тающих льдин. Плюх, плюх, плюх. Милли тем временем объясняет, что звонила Клаудия, что Ричард умер вчера, а ей надо кое-что сказать Джеку наедине, но он, судя по всему, надрался, как сапожник, и своим утлым умишком не понимает, что ему говорят.

— Ничуть я не надрался, Милли. Мне в самом деле очень тошно и горько. А это просто эффект компенсации.

— Констипации? — удивился Эдвард.

— Ком-пен-са-ции.

— Вот я надрался так надрался, а он — как стеклышко, — заявил Эдвард. — Ему, правда, очень плохо.

До чего же Эдвард смешон! Настоящий комик-самородок. Джек сунул в рот кулак, чтобы не расхохотаться. Да они оба самородки. Не хуже Лорела с Харди[1] или Эрика с Эрни[2]. Или Фрая[3] с кем-то. Да Бог с ними. Роджер умер, но из живота Джека по-прежнему рвется смех; единственное, что сдерживает приступ ржания — собственный кулак во рту, вроде завязки на туго надутом воздушном шарике.

— У меня руки чешутся хорошенько треснуть тебя по башке, — сказала Милли.

— Они уехали, — отдуваясь, будто проплыл метров триста, проговорил Джек. — Я тебе звонил, хотел сказать, что их нет. Исчезли из моей жизни навсегда. Фу-у.

— Что ты там про меня пыхтел? — Эдвард удивленно захлопал глазами.

Обалдеть, до чего смешно.

— Слишком поздно, — проронила Милли.

— Не бывает слишком поздно, — возразил Эдвард и поднял руку, словно хотел поймать такси.

Белая блямба улиткой поползла по шортам ему на ляжку и дальше на стул, оставляя за собой густой липкий след. Таких жирных омерзительных коленей Джек в жизни не видел.

— Разве что для меня, — добавил Эдвард. К его носу прилип кусочек розового зефира. Джек прежде его не замечал. Вместе с носом кусочек двигался туда-сюда, во всех направлениях. Эдвард — настоящий клоун, гениальный комик. *Потому что сам этого не сознает.*

1. Стэн Лорел (1890–1965) и Оливер Харди (1892–1957) — популярный комический дуэт эпохи "классического" голливудского кино 1920–1940-х гг.
2. Эрик Моркэм (наст. имя Джон Эрик Бартоломью; 1926–1984) и Эрни Уайз (наст. имя Эрнест Уайзмен; 1925–1999) — популярный английский комический дуэт 1940–1980-х гг.
3. Стивен Джон Фрай (р. 1957) — английский актер, писатель, сценарист, режиссер; в течение многих лет тесно сотрудничал с Джеймсом Хью Кэламом Лори (р. 1959), английским актером, пианистом, певцом и писателем.

— До чего ж ты уморительный! — сказал Джек, тыча в него пальцем. — Знаешь почему? Потому что когда ты думаешь, что потешаешь людей, им ничуть не смешно.

Дальше было как в кино. Вот Милли направляется к нему, вышибает у него из руки фужер и хватает баллон с воспламеняющейся жидкостью. Эдвард, словно толстый буддийский монах, тупо твердит "дзен, дзен, дзен", а она прыскает и прыскает на свою легкую кофточку, на красивую красную юбку, будто в баллоне средство от комаров... Джек вскакивает на ноги, для устойчивости держась за спинку стула, и невнятно бормочет:

— Шшотакоэ, Милл? Она же ядовитая. И огнеопасная. И ошшень не ик... икологична. Она для бар-бик-кю, вот для чего. А ты шшо делаешь, а, Милл?

Она отшвыривает баллон, хватает со стола зажигалку и щелкает ею. Вспыхивает тонкий язычок пламени, потом сникает, но это все же пламя. Она подносит зажигалку к потемневшей от жидкости кофточке.

— Это ж очень опасно, Милл, — с трудом выговорил Джек.

— Положи на место, — распорядился Эдвард, качаясь на неверных ногах; приказной тон не вяжется с его беспомощной фигурой.

— Как мило, что вы все-таки обратили на меня внимание, — сказала Милли. Ее мокрые от слез глаза блестят в свете огненного язычка. — А ведь я вернулась, чтобы здраво обсудить с тобой сложившееся положение, только и всего.

— И я хочу здраво обсудить, — отозвался Джек, чувствуя, как внутри его обожгло ужасом.

— Я хочу, я хочу, — передразнила она.

— Милл...

— Не делай этого, Милл, — сказал Эдвард.

— Не надо! — взмолился Джек.

— А мужчины регулярно расправляются с женами таким способом.

— Только не в цивилизованных христианских странах, — возразил Эдвард.

— Спорим?

— Милл...

— Заткнись. Не тебе указывать, что мне делать, а что — нет.

— Я не указываю.

— Я тебе не собака, чтобы мной командовать. Значит, больше ты ее никогда не увидишь, так?

— Она уехала. Я же сказал. Уехала обратно в Эстонию. Билет в одну сторону.

— Это же глупо, — произнес Эдвард, пыжась держать военную выправку, но продолжая качаться.

— Я — планета, — Милли придвинула огонек к груди. — А вы, мужчины, — огонь. Видите, как мы близки. Вы затеваете войны и производите яды. Ненавижу вас всех. Вот как мы близко, но вы ничего не предпринимаете. На самом деле, это вы подносите огонь.

— Но в политическом отношении я целиком на твоей стороне, — сказал Джек; ему уже было не до смеха.

— А я почти всегда сую пустые бутылки в специальный контейнер для стеклянной тары, — вставил Эдвард.

— Вы держите огонь у груди Матери-Земли, — проговорила Милли. — Вы — разрушители. Ненавижу вас, всех до единого.

— Милли, прошу тебя. Давай поговорим, как разумные люди. Пожалуйста.

— Ты нализался.

— Да не нализался я, по правде нет.

Джек, конечно, чувствовал, что нализался, он пытался одолеть пьяный дурман, бестолково размахивая кулаками:

— Я никогда больше ее не увижу. Клянусь тебе. Никогда в жизни.

Милли пристально глянула на него и, вместо того чтобы исчезнуть в пламени, задула огонек. Глаз ее теперь не видно — волосы загородили свет ламп.

— Живи, как тебе заблагорассудится, — обронила она. — Ты теперь свободный мужчина.

На следующий день она повторила эту фразу.

Они сидели за светлым липовым столом друг против друга. За окнами зимнего сада тихо шелестел дождь. На улице заметно похолодало, деревья уже сбросили почти всю листву. Необычно долгое лето вынуждено, наконец, отступить.

Джек с Эдвардом рассудили, что, раз Милли в таком состоянии, Джеку лучше остаться у соседа. Эдвард уложил его на кровать одного из пребывающих в нетях сыновей: простыни разрисованы фигурками из мультика “Король Лев”, на наволочке пятна от детской слюны, а ноги Джека свешиваются с короткого ложа.

Но у Джека была и более весомая причина не торопиться домой. После того как Милли едва себя не подожгла, она приказала Джеку явиться к обеду для нормального разговора на трезвую голову. И он понял, что лишился дома, жены, всего. Милли удалилась, оставив его с Эдвардом.

— Как-то вечерком Перселл выпил лишку, так жена не пустила его в дом; бедняга простудился и умер, а было ему всего тридцать семь, — заметил Джек. — Надеюсь, я тоже скоро отдам концы.

— Только не здесь, не у меня на ковре, — поспешно предостерег его Эдвард.

И тихим, но твердым голосом он поведал Джеку, что́ он сделает, если станет пожизненным президентом Британии. Проект оказался на удивление схож с идеей халифата, за которую ратуют многие, в том числе и те, кто взрывал лондонское метро и автобусы. В этом идеальном государстве женщинам отводится очень скромное место; там потравят газом всех гомосексуалистов, а заодно с ними — даунов и прочих недоумков, нелегальных иммигрантов, нападающих на старушек пьяных хулиганов, левых крикунов, а также беднягу Тревора Норриса, местного зануду, который уже всех в округе заколебал и вдобавок некоторое время назад выступил против плана застройки лесопарка Хит, а Эдвард Кокрин вложил в проект немалые деньги. Одуревший от выпитого и вечерних событий, Джек слушал вполуха. С шампанского они уже перешли на бренди. В его государстве, продолжал Эдвард, с бабами наконец-то разберутся. Пусть знают свое место и не высовываются. Вплоть до обязательной паранджи. Эдвард пытался шутить, но было уже не смешно.

— Так ты, выходит, фашист, — заключил Джек.

— Я — реалист, — поправил Эдвард. На нижней губе у него выступила слизь. — Я — человек бывалый. Слушай меня, приятель. У меня, блин, жизнь была куда интереснее твоей. Начнем с того, что я три года прожил в Дубае.

Спустя примерно двенадцать часов самочувствие у Джека было премерзкое. Как будто его отравили. И Милли с нескрываемой неприязнью опять повторила:

— Ты теперь свободный мужчина.

— Каюсь, Милл, прости меня, пожалуйста. Мне очень стыдно.

Где-то на улице негромко скрипнули по асфальту шины. Про урну с прахом Макса напоминать не стоит.

— Так. Пожалуй, всё, — сказала Милли.

Она вышла, но вскоре вернулась с вегетарианской лазаньей из магазина “Маркс и Спенсер” и коробкой “наполеонов” из кондитерской “У Луи”. Как ни старайся, но заварной крем непременно вываливается из этих пирожных, а коржи разлезаются, словно мокрая бумага. Джек ковырял вилкой жесткие, как пергамент, слои лазаньи; от сильного запаха сыра тошнота подкатывала к горлу. Милли выглядит чуть постаревшей, но ей это даже идет. Кто-то по-новому ее причесал, и она отдаленно напоминает русских дам начала двадцатого века. Чем именно, он не знает и даже не уверен, что прав. Просто такое у него впечатление.

— Ты побелел — дальше некуда. Хуже, надо полагать, не будет, — продолжала она. — Короче, мы с Клаудией хотим все здесь распродать и купить что-нибудь в Италии. Или, может, во Франции. Будем выращивать овощи. Вот так, уж извини.

— С Клаудией?

— Да, с Клаудией, вдовой Роджера Гроув-Кэри.

— Он вправду умер?

— Да, наконец-то, — ответила Милли. — На прошлой неделе. Завтра похороны.

— А мне никто не сообщил, — пожаловался Джек, напрочь забыв, что он сам отрезал все технические возможности связаться с ним.

— Я же тебе только что сообщила. И вчера говорила. Но ты был пьян до беспамятства.

Джек положил вилку и сунул руки между коленями.

— Овощами, стало быть, займетесь.

— Да. Будем сообща растить ее сына. Подальше отсюда. В большом сельском доме. Вдвоем, как родители. Разведем много разных овощей. Не исключено, что откроем вегетарианский ресторанчик — так, для забавы. А ты можешь иногда приезжать и играть джаз на пианино, если оно настроено. До сих пор я совсем не прислушивалась к своему внутреннему голосу.

Джек прикусил губу, чтобы мучительной гримасой не выдать своих чувств.

— Гм, тут мне потребуется руководство со стороны, — в конце концов, выдавил он. Фраза была совершенно не в его стиле, поэтому прозвучала иронично.

Он явно не в себе, ведет себя неадекватно.

— На мой взгляд, тебе будет полезно встать на ножки и выйти в реальную жизнь. Пора начать самому о себе заботиться.

Джек отодвинул тарелку с лазаньей и снова стиснул руки между коленями. Да, к примеру, можно отправиться в кругосветное путешествие на велосипеде. Будет крутить педали, пока не окочурится в каком-нибудь милом местечке, вроде пустыни Гоби.

— Ладно. Хорошо, — сказал он. — Значит, ты... гм... бросаешь работу?

— Со мной все просто. Если понадоблюсь в качестве консультанта... Сегодня можно работать где угодно. Открывай офис хоть в Италии, хоть во Франции. Далее везде.

Джек кивнул. Милли всё по плечу: сядет со своим ноутбуком у щербатой стены из светлого камня, теплые солнечные

блики будут играть на ее руках, ветерок принесет ароматы цветущих олеандров и полевых трав... — тимьяна... Запросто.

— Поступай, как считаешь нужным, — внезапно осипшим голосом едва слышно проговорил Джек; руки у него были по-прежнему зажаты между коленями, голова понуро склонилась, будто ожидая удара топора.

— Больше всего мне всегда хотелось спокойно жить в окружении детишек, варить им кашу и рисовый пудинг, — мечтательно сказала Милли.

Джек не успел ответить: в дверь позвонили. К его удивлению, Милли почти вскочила и чуть ли не бегом поспешила в прихожую. Такое впечатление, что у нее появился новый источник энергии: щеки разрумянились, пышные волосы упруго колышутся. Джек встал и двинулся следом; вдруг это Эдвард? — мелькнула тревожная мысль. Он пытался ускорить шаг, однако ноги его не слушались. В дверях стоял незнакомый мужчина с ярко-красным собачьим ошейником в руках.

— Это, случайно, не ваш? — тяжело дыша, спросил он. — Боюсь, я только что задавил выбежавшего на дорогу лабрадора.

Милли недоуменно обернулась к Джеку.

Мужчина был очень высокого роста и весь в черном. Вместо галстука лоскут белой ткани. Белое с красным. Викарий. Едва ощутимый запашок жженой резины. *Я навсегда потерял жену*, свербила мысль. Викарию-то невдомек, он уверен, что перед ним довольные жизнью супруги, владельцы богатого дома; в изысканном холле, на стене, которую сквозь открытую входную дверь не могут увидеть жадные и нечистые на руку представители нынешнего мира, висят фотографии Арта Синсабо[1] с дарственными надписями.

— У нас нет собаки, — неожиданно громко сказал Джек. — За время нашей совместной жизни мы с женой не завели ни собаки, ни кошки, ни даже золотой рыбки по имени Клифф. Только маленький коробок с прахом. Но и он пропал.

— Я тебе не жена, — прошипела Милли.

— Рано или поздно непременно заведете, — громко заверил викарий, пятясь к двери и размахивая собачьим ошейником. Крошечный колокольчик на ошейнике долго звенел поверх невнятных аккордов Лондона.

Ту ночь Джек провел в доме один; Милли уехала утешать Клаудию и возиться с малышом. Джек допоздна сидел в кабинете с наушниками на голове, прочищая себе мозги музы-

1. Арт Синсабо (1924–1983) — американский фотограф.

кой групп “Красс” и “Саксон”[1] и запивая ее остатками виски “Хайленд-Парк” двадцатипятилетней выдержки — четыре года назад, на очередное Рождество, Ричард преподнес ему эту бутылку. Выходит, напитку стукнуло двадцать девять лет. Даже виски не стоит на месте.

Наутро небо затянули грозовые тучи — в полном соответствии с похоронной церемонией, проходившей в угрюмом кирпичном крематории. Под звуки произведений покойного Роджера Гроув-Кэри, в том числе какофонических и перегруженных саксофонами “Недозволенных воспоминаний”, гроб плавно опустился в невидимое жерло печи. На всех собравшихся, кроме закоренелых любителей атональной музыки, эта инфернальная сцена произвела угнетающее впечатление. На протяжении всей церемонии маленький Рикко неумолчно плакал, его крики эхом отдавались от кирпичных стен и почти заглушали звучавший в ушах Джека голос Роджера:

— *А ведь когда-то ты подавал такие надежды, ублюдок несчастный!*

Милли, сидевшая рядом с Клаудией, старалась ей помочь. Расположившиеся в отдалении дети Роджера от первого брака смахивали на адвокатов низкого пошиба, под стать своей тетёхе-матери. Клаудия почему-то выглядела так, будто она под кайфом. Джек, терзаемый головной болью, одиноко сидел в другой стороне зала. Происходящее казалось ему психологической пыткой, ничего подобного он в жизни не переживал. Вокруг множество знакомых — от побитых молью артрозных приверженцев атональной музыки до панкующих студенточек, но это лишь усугубляет его мучения. Каким образом Роджер сумел их тут собрать? Непостижимо. Наверно, перетрахал половину присутствующих женщин, а может, и некоторых мужчин. Джек был уверен, что на похороны придет до неприличия мало друзей и знакомых усопшего, а тут... Если бы крематорий вдруг разнесло взрывом, то с лица земли исчезло бы большинство столпов современной британской музыки, в том числе и приветливая седая дама, режиссер Радио-3. Давняя поклонница творчества Джека Миддлтона, она как-то спросила, почему он так мало пишет. В поминальных речах Роджер представал фигурой библейского масштаба — человеком мудрым и добродетельным, преобразовавшим человечество. Тоска...

Джек не навещал Роджера в больнице, но совесть его ничуть за это не грызла; нет, он просто злился на себя. Все прочие же, судя по речам, ездили к Роджеру регулярно. Многие

1. “Красс” — английская панк-группа, созданная в 1977 г. “Саксон” — английская рок-группа, возникшая в 1977 г.

твердили, что он очень похож на лежащего в мавзолее Ленина — да, восковая мумия, но она живее многих живых и способна издавать рык — вроде музыки "граул". Великий человек. Настоящий оригинал.

На шумные поминки Джек не остался, поехал прямиком в Хейс. Вечно перегруженная транспортом дорога с многочисленными развязками его сильно утомила, зато в доме было умиротворяюще тихо, самый воздух как будто сидел, плотно сжав губы. Джек зашел в кухню и на видавшем виды транзисторе попытался поймать Радио-3; долго крутил болтавшуюся в гнезде ручку настройки, но, не выдержав назойливого треска помех, оставил потуги. Ручка давным-давно расшаталась, а ведь Доналд может наладить приемник в считаные секунды. Почему им с Милли ни разу не пришло в голову купить родителям новый транзистор? Вечно дарили им никчемные ультрамодные безделки; старики сразу убирали их подальше, отговариваясь тем, что для них "нет места". На самом деле, эта дорогая дребедень нарушила бы сложившуюся атмосферу дома, его чистенькую, без пылинки, умопомрачительную серость эпохи 1970-х. Он помнит, как еще ребенком часами сидел в этом самом кресле, уставившись на черно-белую испытательную таблицу в надежде, что хорошенькая длинноволосая девушка внезапно оживет, линии на экране окрасятся в разные цвета, а однообразная фоновая музыка сменится буйными фантастическими созвучиями. Иногда такое случалось.

Наконец, из больницы вернулся Доналд.

— Как поживает Милли? — спросил он. — Не скучает по тебе?

— Честно говоря, наши отношения оставляют желать лучшего.

Отец кивнул, но ничего не сказал. Он принялся заваривать чай, хотя Джек предлагал свои услуги. Когда он заливал сухой чай кипятком, его рука заметно дрожала. Девонский заварочный чайник сплошь покрыт рельефным орнаментом в виде осенних листьев, закрыть его крышечкой — для отца дело очень непростое; можно подумать, что он играет на необычном ударном инструменте.

— Брак — не летний домик, — наконец промолвил отец. — В нем живут постоянно, независимо от сезона. Он больше похож на оранжерею.

— Отличное сравнение, — приятно удивился Джек.

— Да, только стены у нее стеклянные, — продолжал Доналд. — Там нельзя швыряться камнями. Надо действовать осторожно.

— Ты меня поразил.

— Утром слушал по радио “Ценную мысль на сегодня”[1]. Об уважении к чужой вере. А я, представь, думал о твоей маме и о себе. Не о вере.

Отец вдруг заплакал. Джек приобнял его одной рукой. Впервые за десятки лет. Доналд не одобрял прикосновений.

— Сейчас пришли холода, — тоненьким, почти детским голосом проговорил он. — Но я все равно ее не покину.

— Конечно, папа, — сказал Джек, растирая отцу спину сквозь обсыпанный перхотью теплый жилет.

— Что-то я совсем разнюнился, — выдавил Доналд; подбородок у него по-ребячьи сморщился. — Извини.

— Не за что извиняться. А поплакать иногда даже полезно.

— Лучше бы смеяться, а не плакать, — заметил Доналд, хотя смеялся он очень редко. И едва ли когда-нибудь плакал.

— Смотря по обстоятельствам, — обронил Джек.

Три дня спустя мать умерла; сначала бред отступил, потом она глубоко заснула и уже не просыпалась. На мертвом лице застыло упрямое выражение, будто покойница предупреждала окружающих: “И не пытайтесь остановить мой уход!” Джек навестил ее в период просветления. Ей уже не хотелось слушать ни диски для слепых, ни радио, и Джек решил почитать ей вслух. Именно на такой случай он носил в кармане пиджака сборник стихов персидского суфия Руми. Но едва начав читать, сразу понял, что сильно промахнулся. Надо было принести что-нибудь уморительно смешное. Мать вежливо слушала. Джек монотонно читал стихотворения, все они кончались неожиданно быстро и потому казались бессмысленными. Вошла няня, довольно объемистая в талии, принесла поднос, на нем стояла кружка с чаем. Время уже подходило к обеду. Чай с молоком был абсолютно холодный.

— Я с десяти часов просила принести чаю, — писклявым голосом пожаловалась мать; иссохшая, обложенная подушками, она походила на куклу. — Все потому, что они сплошь цветные. Понятия не имеют о наших обычаях.

— Она вовсе не цветная. Самая настоящая арийка, — возразил Джек. Поздновато бранить маму за расовые предрассудки, подумал он.

— *Эта* как раз белая, сама знаю, — отрезала мать, хотя было ясно, что знать это она не могла. — Может, дашь мне послушать что-нибудь твое?

1. “Ценная мысль на сегодня” — ежеутренняя (кроме воскресенья) трехминутная передача Би-би-си Радио-4, основанная на цитате из Библии или священных книг других конфессий.

— Я с собой ничего не захватил. Вот дурак. Завтра привезу.

Он и вправду чувствовал себя дураком. И вместе с тем был глубоко тронут. Завтра у них будет чудесная, целительная встреча. Может быть, он даже расскажет ей про Яна; он скучает по мальчику, и тоска угнездилась не в голове, а в самом его нутре.

— Замечательно, — сказала она. — Что-нибудь негромкое, умиротворяющее.

— Подберу непременно, — пообещал Джек. У отца в отдельном ящике хранятся все три его диска. — Мне будет только приятно.

— Зачем ты сидишь прямо на траве? Простудишься насмерть.

— Гм... Я, мама, гм, на траве не сижу.

— Не лги. Я же теперь вижу, потому что на самом деле ничего того не случилось. И не возражай. Главное, забери меня отсюда, а сидеть на траве тебе нельзя. Тут слишком ветрено.

— Все в порядке, мама.

— Ничего не в порядке. Вы только поглядите на него: вон как далеко забрался. — Словно хмельная королева, она резко уронила голову, почти касаясь носом собственных бедер. — Опять замечтался? Золотой мой мальчик, прелесть моя. Печеньку хочешь, Джеко? Не сиди на траве, нельзя. Нам надо идти в ту сторону. На что ты засмотрелся?

— На тебя, мама. Ты замечательно выглядишь.

— На облака, небось, да? Они белые, красивые, правда? И пушистые. Будто их выстирали с порошком "Дэз". А Мюриэл пользуется "Персилом". И Дафна тоже.

— Да, — завороженно подтвердил Джек, — облака белоснежные.

— Что же ты с мячиком не играешь? Побегай немножко. Вон белье висит, Джек.

— О Боже, — пробормотал он, продолжая улыбаться. — Дождь собирается, да?

Он вспомнил, что, уходя ненадолго из дома, она обычно поручала ему снять сохнущее белье, если вдруг пойдет дождь. Сколько раз он забывал про ее наказ! И пока дождь шел, белье оставалось висеть на синтетической веревке, натянутой между металлическими шестами вдоль бокового забора; порой оно по нескольку дней болталось там безмолвным упреком, пачкаясь и намокая все сильнее.

— Оно крутится и крутится, — тем временем говорила мать. — Приспособление такое. Как же оно называется? Штуковина, которая крутится и крутится? У нас она была до того несчастного случая со мной. Ну же, подскажи!

— Которая крутится? Может, ты имеешь в виду приспособление, с помощью которого можно двигать веревку по кругу?

— У него есть название. Свое, специальное. Ну, Джек! До чего же ты *бестолковый*!

Ни разу в жизни он не видел мать в таком раздражении. Может быть, она всегда считала его бестолковым? Может быть, только сейчас она дошла до самой крайней степени откровенности?

— Ума не приложу, — беспомощно признался он.

— Станешь постарше, поумнеешь, — успокоила мать. — Она еще звуки такие издает. Ты же любишь разные звуки, правда? Бельевая веревка идет по кругу и гудит. Мммммммм.

Джек смотрел на нее, разинув рот. Вот это да! Она пытается воспроизвести те заветные звуки! А ведь он с детства был уверен, что свою музыку белые облака посылали только ему. У матери она звучит грубовато, но это определенно та самая музыка. Согнувшись в три погибели, мать все мычит сквозь сомкнутые губы. На пороге смерти.

— Ну, и как она называется? Соображай, бестолочь.

— Не знаю, но постараюсь выяснить. Посмотрю в справочнике, спрошу кого-нибудь. Она, правда, издавала такие звуки?

— Мммммммммммммм, — чуть покачиваясь, замычала в ответ мать; под тяжестью короны она сложилась почти пополам; начавшую зарастать трещину в ее черепе того и гляди разорвет от напряжения. — Крутилась без конца, особенно в ветреную погоду. Мммммммм. Смотри, убери все до дождя. Как же она называется? Ну, давай, вспоминай, ты наверняка знаешь. Не круглый же ты дурак! Почему приехал ты, а не Дональд? А? Если тебе даже название не известно?

— Мама, послушай, я выясню. Не волнуйся. Прошу тебя, не волнуйся. Выясню непременно, слово даю.

Она немножко распрямилась, лицо ее болезненно сморщилось, и голова вновь поникла под тяжестью кошмарной короны.

— И когда только придет твой отец? Мне нужен он, а не ты. От тебя толку чуть.

— Ладно, мамочка, ты главное не волнуйся. Все хорошо. Правда-правда. Узнаю непременно.

Джек пошел на сестринский пост. Едва он произнес свой вопрос, как палатная сестра, дежурившая на посту, затараторила: у нее очередной приступ мигрени, у двух других молоденьких сестер дел невпроворот, телефоны звонят беспрерывно, тот больной, что лежит в боксе рядом с палатой его матери, орет громче обычного... Речь о жизни и смерти, под-

черкнула она, а тут посетитель вздумал выяснять, как называется механизм, вращающий бельевую веревку! Когда Джек вернулся в палату, мать, позабыв обо всем, попросила его расчесать ей волосы, что он и сделал.

Вечером отец вернулся из больницы, как ни странно, в довольно бодром, почти веселом настроении. Джек решил спросить его про бельевую веревку.

— Ты имеешь в виду нашу старую ротационную сушилку для белья?

— Точно. Именно так она и называется. Вертелось на языке, но припомнить не мог.

— Зачем тебе?

— Мама про нее спрашивала. Говорит, она издавала особые звуки.

— Верно, издавала, — улыбнулся Доналд. — Еще как издавала. При определенном направлении ветра она приходила в движение и начинала как бы гудеть. Но не всегда. Тебе эти звуки нравились. Ты думал, они летят с неба. Вроде самолетов из Хитроу. Совсем еще малыш. И все-таки слушал. Сызмалу был неравнодушен к музыке.

Джек сидел, уставившись на тарелку с жареной рыбной палочкой. Выходит, вся его жизнь основана на недоразумении. Возможно, у большинства людей тоже. Кот смотрел на него, вытаращив круглые глаза.

— Папа, а почему вы отказались от той сушилки?

— После несчастного случая маме стало трудно с ней управляться. Каждый раз надо было устанавливать ее заново. Ты не представляешь, как трудно слепому человеку установить сушилку в конце сада. Я как-то зажмурил глаза и сам попробовал.

— Сад у нас, вообще-то, не больно велик.

— Но шесты тонкие. Она постоянно стукалась о них головой. Куда проще идти прямо от дома, держась за шнур. А потом по нему же возвращаться обратно. Я специально повесил на обоих концах мешочки с прищепками. Понимаешь, она вообще плохо ориентировалась в пространстве.

— Она пока что жива, папа.

— Знаю. И еще вернется сюда.

Джеку не терпелось сообщить матери правильное название сушилки. Ротационная сушилка для белья. Пусть видит, какой он внимательный сын. Но утром их разбудил звонок из больницы: нужно немедленно приехать. Мать лежит без сознания. Они сразу поняли, что она умирает; под безжизненно белой кожей явственно проступили кости черепа. К пяти часам — времени вечернего чая — паузы между шумными вздохами стали долгими, как у Айлин, ее покойной соседки по па-

лате. Вдруг одна пауза страшно затянулась. Тишина казалась нескончаемой. Доналд выбежал в туалет и надолго пропал. Ее рука была холодна как лед — будто всю ночь пролежала на осеннем ветру.

— Мама, держись, — умоляюще сказал Джек. — Надо дождаться папу, он сейчас вернется. А та штука называется ротационная сушилка для белья. Мамочка, не отключайся.

Из ее рта вырвался легкий выдох. Слава Богу, еще не угасла. У Джека теплилась надежда, что она откроет глаза и медленно, постепенно начнет поправляться. Ему нельзя потерять мать. Он к этому еще не готов. Ему же всего лет пятнадцать. Вернулся Доналд, обтер руки спиртовым гелем из дозатора. Джеку сразу стало легче. Прошелестел еще один неглубокий вздох и оборвался на середине.

— Боюсь, папа, это конец, — сказал Джек. — Надо бы позвать сестру.

Доналд опустился на стул возле подушки жены:

— Думаешь, там есть туалетная бумага? Конечно, нет.

— Папа, мне кажется, она умирает. С минуты на минуту ее не станет.

— Да?

Ни звука, ни вздоха больше не вырвалось из ее груди.

Стоял последний день октября. Следом, как положено, наступил ноябрь. Джек вспоминал свои последние слова, сказанные матери, пока она еще была в сознании: “Завтра принесу тебе мои диски. Пока, мама”. И ее последние слова ему: “Если чуть-чуть повезет, роднуша. Пока-пока”.

Итак, ее последним словом ему было “роднуша”. “Пока-пока” не в счет.

“Мама” и “роднуша”.

От этих слов ему было немного легче в похоронном бюро, когда он глядел на лежащую в гробу мать и не узнавал ее лица под толстым слоем грима; все тщательно подоткнуто, стянуто, кожа гладкая, точно свежеокрашенная. Глаза закрыты; интересно, подумал Джек, а там, куда она ушла, — не важно, куда именно, — зрение к ней вернулось? Открывшиеся *там* глаза видят? Но лицо главным образом выражало облегчение. Она уже не чувствует ничего, не знает, что слепа, и больше не клянет своей слепоты. Может спать вечным сном.

Под ненастоящей — электрической — свечой лежит Библия. От мягких, напоминающих бумажные носовые платки, страниц исходит тошнотный запашок. Странно. Он полистал книгу и наугад ткнул пальцем. Это оказался стих из Иеремии: “Ибо голос плача слышен с Сиона: ‘как мы ограблены! мы жестоко посрамлены, ибо оставляем землю, потому

что разрушили жилища наши'"[1]. Нервный холодок пробежал у него по спине: все в точку, кто поверит, что это чисто случайное совпадение? Он понял, что судьба его решена.

Склонившись над гробом, он поцеловал мать в лоб, холодный как лед, он не ожидал этого холода. Понятно, тело же из больничного морга. Но почему челюсти не размыкаются? Наверно, чем-то незаметно скреплены.

Еще несколько часов он ощущал тот холод, словно зажимом сомкнувший ему губы.

Несколько дней спустя состоялись похороны — уже вторые за неполные две недели, и на протяжении всей церемонии у него перед глазами стояло ее лицо в гробу. Разумеется, Милли тоже приехала, и им приходилось притворяться любящей парой. В душе Джека шевельнулась надежда на ее сочувствие, но из нескольких разговоров по телефону у него сложилось впечатление, что она считает всю историю со смертью его матери намеренной уловкой, рассчитанной на то, чтобы вернуть жену. Возможно, он ошибается, и это лишь его нелепая фантазия. Милли подчеркнуто ласкова с Доналдом, ежедневно звонит ему, давая советы практического свойства и поддерживая психологически. По-видимому, она теперь постоянно живет у Клаудии; из-за дорожных пробок она приехала на похороны в последнюю минуту, разрумянившись от волнения. Рядом с Милли в модном черном костюме все прочие выглядели убого.

Джек готов был тоже нести гроб, но его уже водрузили на постамент в пустом зале крематория; из динамиков приглушенно лилась "Похоронная песнь волынщика" в исполнении Джеймса Голуэя[2]. Джек участвовал в выборе музыки, хотя брат с сестрой ему сильно мешали. Он предложил было кассету со своим впервые записанным на пленку сочинением, живо напоминавшим о детстве, но они сочли его пьесу "не слишком уместной". Сестра решительно прервала минималистское позвякивание и посвистывание:

— Музыка должна быть в мамином вкусе, а не в твоем.

После этого ультиматума опус показался нелепым даже автору. Сестра всегда была убеждена, что Джек хватается за малейшую возможность оказаться в центре всеобщего внимания.

— Но ведь мама мертва, — заметил он.

При этом все трое уверены, что их мать обожала Фрэнка Синатру, хотя Доналд это решительно опровергает:

1. Книга пророка Иеремии. 9:19.
2. Джеймс Голуэй (р. 1939) — выдающийся британский флейтист североирландского происхождения.

— Вэла Дуникана — да. Или Энди Уильямса. А еще никогда не пропускала "Черно-белые народные песни"[1], — заявил он, тоскливо глядя на безжизненный экран телевизора. После аварии на фабрике Мойна его только таким и видела.

Наконец, шторки раздвинулись, и гроб уплыл в печь под медленную печальную мелодию в исполнении группы "Чифтенз"[2] — как бы напоминая об ирландских корнях Мойны. Сама она избегала малейших намеков на свое происхождение: в роду имелся пропойца-дядя сомнительных достоинств, не говоря уже об общей убогости и нищете, так что навряд ли она одобрила бы этот выбор. Более тонкий Вэл Дуникан был бы уместнее. Из ее ирландских родственников не явился никто; вероятно, в живых остались только совсем дальние, а может быть, их даже и не пригласили. Джек был разочарован. Почти вся семья Мойны, едва перебравшись в Англию, погибла во время бомбежек Лондона[3], и тринадцатилетнюю девочку отправили в сиротский приют, а спустя два года призвали на трудовой фронт. С 1952 года она работала в Хейсе — на фабрике компании "Уолл", и однажды, на вечеринке в рабочем клубе, познакомилась с Доналдом. Свое довоенное прошлое она просто вычеркнула из памяти и, наверно, правильно сделала.

Выступая с надгробными речами, родственники покойной вкратце касались этого периода ее жизни, подчеркивали мужество Мойны, страдания, которые она претерпела, ее чувство юмора и замечательные достижения ее детей — именно их успехам посвятил бóльшую часть своего многословного выступления брат Доналда, баптист. Для Джулии же, сестры Джека, главным достижением в ее жизни стало замужество: она вышла за австралийца-полицейского с наголо бритой, похожей на пушечное ядро, головой, в которой сама мысль о шурине-композиторе решительно не укладывалась. Брат Джека Денни еще в начале 1980-х годов из занятного хиппи вдруг разом превратился в помешанного на компьютерах по-американски разжиревшего козла и теперь ковыляет, переваливаясь как утка, и пыхтит как паровоз. Он живет холостяком, хотя трижды чуть было не женился и до сих пор не теряет надежды найти суженую.

1. Вэл Дуникан (наст. имя Майкл Вэлентайн Дуникан; р. 1928) -- ирландский певец. Энди Уильямс (наст. имя Ховард Эндрю Уильямс; р. 1927) — американский эстрадный певец и актер. "Черно-белые народные песни" — британское развлекательное музыкальное телешоу 1950—1970-х гг.
2. "Чифтенз" ("Вожди") — ирландская группа, исполняющая ирландские и кельтские народные песни; основана в 1962 г.
3. В 1940—1941 гг. немецкая авиация проводила массированные ночные бомбежки Лондона и близлежащих городов.

Джек всегда неплохо ладил с ними обоими, отчасти потому, что они гораздо старше его. Он всю жизнь был младшим братишкой, хотя не припомнит, чтобы кто-то из них его особо ласкал или баловал, даже сестра. Теперь-то у нее пятеро своих довольно трудных отпрысков; старший, двадцатипятилетний спасатель, недавно угодил в тюрьму за то, что прямо на пляже набросился на арабского туриста с кулаками.

Одна мысль о том, что брат или сестра прознает о разрыве с Милли, непереносима: то-то будут злорадствовать, пусть и тайком. Они уверены, что он целыми днями лодырничает, — только женины денежки считает да песенки насвистывает.

Милли подошла и стала в первом ряду рядом с ним. Они обменялись мимолетными взглядами, и Джека охватило чувство безысходности. Милли ему необходима. Милли, его жена. Выражение лица у нее спокойное, не суровое, без всякой враждебности. Она красивая, умная, волевая. Уникальная женщина. Не может же она с ним так поступить, тем более сейчас. *Сейчас* — нет. Она коснулась его руки, но не взяла ее и не сжала.

Хотя у него перед глазами все плыло и казалось нереальным, за время похорон он ни разу не прослезился. Поразительно. А ведь пытался и даже захватил с собой пачку бумажных платков. Но слезные каналы отказывались работать. Похоже, весь механизм вышел из строя. Из-за дождя скромные поминки проходили в доме, куда набилось человек двадцать. Милли с Джеком и кое-кто из гостей вышли в прихожую; стоя на нижней ступеньке лестницы и оттого возвышаясь над Джеком, она спросила, как он себя чувствует.

— В шоке, — сказал он, испытывая странное возбуждение, почти кайф. И дело было вовсе не в средстве против тараканов, которое упрямая рыжая Джулия привезла-таки из Австралии. — Он дает себя знать в самый неожиданный момент. Вроде бы все ничего, и вдруг — как шибанет!..

— В шоке? От чего именно?

— От всего, — негромко бросил он, со значением глянув ей в глаза.

— События в нашей жизни редко происходят вовремя, — заметила она. — Взять хотя бы цунами.

Он кивнул: перед глазами всплыли разбухшие в воде трупы и оплакивающие мужей рыбачки. У Милли всегда была склонность сопоставлять несопоставимые по масштабу явления. Ему почудилось, что он съеживается, превращаясь в нечто вроде дурацкой, гнущейся во все стороны игрушки.

— Ты тогда сказала, что хотела бы варить кашу, печь рисовый пудинг и все такое, — начал он, не вполне сознавая, что

говорит. — Теперь ситуация существенно упростилась и, мне кажется, твою мечту можно осуществить.

— Ты пьян или просто подавлен?

— Смотря что ты имеешь в виду под словом “подавлен”.

Ему вспомнилось, как, сидя на этой самой ступеньке, он чуть не подавился колпачком от шариковой ручки. А сейчас подчеркнуто охладевшая к нему жена продавливает ковровую дорожку каблучками шикарнейших туфель от Гуччи, оставляя в ней вмятины. Но разговор идет в родительском доме — какое уж тут сексуальное возбуждение! Теперь это дом моего отца.

Подавлен.

Она уехала рано, под улюлюканье и свист местных обалдуев: они заметили, что в доме происходит что-то необычное, и околачивались под дождем неподалеку, надеясь досадить заезжим чужакам.

— У тебя с Милли все в порядке? — решилась полюбопытствовать сестра, одаряя его фальшивой улыбочкой косметолога со стажем. Ее обожженная солнцем кожа пятидесятилетней женщины теперь требовала защиты и неустанных забот. В речи нет и намека на австралийский акцент, а может, сестра легко меняет его на здешний, миддлсекский.

— Кхм, как всегда. В общем и целом — супер, — с псевдоаристократической небрежностью бросил Джек, будто подражал Хью Гранту. Его так и подмывало дать сестре пинка.

Ему стала повсюду видеться смерть. Он решил отдохнуть и поехал на денек в Сассекс-Даунз, где первым делом заметил на телефонных проводах трех воронов. В душе царила абсолютная пустота, вакуум. В Хейсе он дважды чуть не попал под машину, потом его чудом не задавили в Хэмпстеде: каждый раз он был в полубессознательном состоянии и не смотрел по сторонам, а водители, в свою очередь, болтали по мобильникам. Однажды утром в небе над Хитом поплыли пышные белые громады облаков; он вспомнил гудевшую на ветру ротационную сушилку для белья и захохотал. Судя по взглядам, которые бросали на него прохожие, его приняли за помешанного.

Несколько дней спустя пришлось ехать с отцом в больницу за обручальным кольцом матери. Из двери с табличкой “Психологическая помощь родным” появилась элегантная молодая женщина в модных туфлях на высоких каблуках. В кабинете шел ремонт: рабочий в белом комбинезоне крепил над дверью уплотнитель. Они с отцом двинулись следом за дамой по низкому длинному коридору, устланному полиэтиленовой пленкой, за которую Доналд то и дело цеплялся ногой.

— Извините за неудобства, но ремонт давно назрел, — сказала дама; на ее нагрудном жетоне значилось имя: Ивонн. Очень привлекательная особа.

— Психологический ремонт тоже, — пошутил Джек, но Ивонн не отреагировала.

Их провели в узкую комнатку с неказистыми креслами, обитыми светло-зеленой тканью; по-видимому, это здесь считается комнатой отдыха. Ивонн ушла за кольцом. Джек и Доналд не обменялись ни словом. На стенах картины — типичный современный ширпотреб: тщательно выписанные зимние пейзажи с угловатыми голыми деревьями. Точно такие пейзажи Джек видел в гостинице. Из коридора долетает смех и посвистывание рабочих. Дневного света нет вообще. На низеньком столике с пластиковой столешницей высится пачка брошюрок, озаглавленных: *Что делать после смерти родственника.* Джек предпочел бы брошюрку под названием *Что делать после смерти*, но никто ведь не знает, что происходит после нее, значит, о действиях не может быть и речи. Зато тут не играет назойливая музыка — уже хорошо. Из коридора доносятся голоса рабочих, стук молотков и жужжание дрели.

Вернулась Ивонн, в руках у нее большой коричневый конверт с надписью: “Мойна С. Миддлтон”. Она слегка наклонила его, словно сыпала порошок, и что-то упало Доналду в протянутую ладонь.

Отец смотрел на кольцо, будто видел его впервые. Оно и правда казалось меньше, чем в ту пору, когда к нему прилагалась сама Мойна. Пятьдесят пять лет назад Доналд осторожно надел его ей на палец, и оно стало частью его жены. А теперь он не знает, что с ним делать — с маленьким тонким кружочком, золотисто поблескивающим в неоновом свете.

Ивонн мягко, с профессиональной доброжелательностью, словно подбадривая начинающего фокусника, посоветовала Доналду положить кольцо обратно. Он повиновался, и Джек, чувствуя, что отец уже на пределе душевных сил, взял у него пакет.

— Ну что ж, — сказала Ивонн, — если у вас вопросов больше нет, на этом, пожалуй, закончим.

Они пробормотали слова благодарности и вышли, с трудом протиснувшись мимо металлической стремянки; на ней стоял рабочий в белом комбинезоне и, насвистывая себе под нос, “пистолетом” вбивал герметик в щель между стеной и потолком. На ободранной стене местами горбились шматки задубелого обойного клея — следы предыдущего ремонта. От едких запахов у Джека запершило в горле, он почувствовал себя безмерно изнуренным, словно путешественник, вернувшийся из многолетнего странствия.

— Мы с тобой — властелины кольца, — промолвил он.

Отец его не слышал. Он был настолько выбит из колеи, что Джеку пришлось вести его под руку. Они медленно двинулись по главному коридору к ярко освещенному выходу; навстречу катились скрипучие перевозки и шагали встревоженные родственники.

Интересно, как Милли поступит с кольцом, которое двенадцать лет назад он надел ей на палец? Оно же ей теперь ни к чему.

Я уже в аду, мелькнула мысль. Надо из него выбираться.

В Хейсе Джек зашел в огромный, серый, похожий на самолетный, ангар "Лидл", чтобы купить какой-нибудь еды, и там, в залитом неоновым светом молочном отделе, возле секции йогуртов, его охватил приступ горя. Оно поднималось снизу, от пальцев ног сквозь живот прямо к горлу. Джек едва успел прикрыть рукой лицо и, не в силах сдержаться, зарыдал. Он бы и в голос завыл, но очень уж место неподходящее. Плакал он не по Милли и даже не по Яну, нет, он оплакивал мать. Запах металла, исходивший от холодильного прилавка, его блеск и негромкое гудение напоминали морг, хотя он ни разу не бывал в морге. Он никогда больше не увидит мать! Эта мысль не укладывалась в голове. Теперь детство и юность уже бесповоротно остались в прошлом, спектакль окончен, аплодисментов не будет. Только гробовая тишина.

Она любила йогурт с абрикосами, только чтобы кусочков в нем было не чересчур много. Наклонялась к зажатому в руке стаканчику и осторожно направляла ложечку внутрь. Любое действие, кроме сна, было для нее бесконечно сложным. Он мог бы сочинить исполненную скорби пьесу, в которой слышался бы скрип ложечки по пластмассе, своеобразные звуки, исходившие из стаканчика; тихонько пели бы кларнеты, едва касались бы друг друга литавры.

Теперь, когда он знает то, что познал, как хочется сбросить лет двадцать!

Он сотрясался всем телом, но не мог остановить рыданий. Подошедшая за баночкой сливок женщина заметила:

— Приятно, что хоть кто-то от души смеется.

Поскольку Милли большую часть времени проводила в Белсайз-Парке, Джеку было позволено остаться в Хэмпстеде. Медленно и неохотно он освобождал дом от примет своего пребывания; начал с кабинета. Это оказалось на удивление просто, главное — запастись объемистыми коробками и не слишком озабочиваться тем, что куда уложено. Раздраженный, потрясенный, он злился на себя за свою никчемность и в любую ми-

нуту готов был расплакаться. Когда его сестра и брат разъехались по разным континентам, он стал часто ночевать в Хейсе. Отец плохо переносил одиночество.

Короткая поездка в Стокгольм и его выступление промелькнули, как полоска немыслимого, нереального счастья. Он стоял в окружении сдержанных шведов, и докладчица, молодая яснолицая американка, радостно сообщила ему, что его музыка "напоминает Бернстайна[1], которого играют задом наперед". Там было на редкость холодно, в зале сидело человек двадцать.

Джек стал внимательнее следить за тем, что на языке взрослых людей называется "текущие расходы". Милли не склонна мелочиться ни в чем, ни в постели, ни в соблюдении жесткой диеты, ни в борьбе за сокращение вредоносных отходов. Джек впервые искренне обрадовался маленькому, оплачиваемому по низкой ставке заказу фестиваля "Алмейда"[2] — кое-какие денежки все же накапают. Он предложил свои услуги внештатного рецензента разным музыкальным журналам и снова опубликовал в газетах объявления: "Даю уроки композиции и игры на фортепьяно для начинающих профессионалов". Перешел на более дешевую зубную пасту. Прекратил покупать диски в магазинах — их же можно брать в библиотеке. Ездил теперь на автобусах и даже несколько раз садился на велосипед. Не покладая рук работал над "Опасным путешествием", причем без всякой жвачки с винным вкусом; он вернул в партитуру позаимствованный у Шостаковича пассаж, отказался от мальчиковых дискантов (слишком уж они напоминают Бриттена), неустанно сглаживал арабские мотивы и добился, что они стали едва различимыми. Как только дом в Хэмпстеде уйдет с молотка, поначалу думал он, надо будет присмотреть студию где-нибудь вроде Баундз-Грин. И живо представлял себе это жилище — тесное, голое, бесцветное, матрац на кирпичах, стулья из упаковочных ящиков, солнечный свет бьет в голое, незанавешенное, окно. Он по-прежнему ждал звонка от мамы. Очень хотелось расспросить ее про ротационную сушилку для белья.

Потом его планы поменялись. Без какого-либо волшебного озарения, без внезапной вспышки, без дзенбуддистского постижения смысла бытия. Все само собой сложилось из перебивчатых ритмов.

1. Леонард Бернстайн (1918—1990) — американский композитор, дирижер.
2. Фестиваль "Алмейда" — ежегодный летний фестиваль современной музыки, оперного и театрального искусства; проводится в театре "Алмейда" на одноименной улице Лондона.

В один прекрасный день в Хэмпстед приехала Милли с Клаудией и ее малышом. Джек смотрел по телику детскую передачу: ноги на столе, на ковре пустая пивная банка, в руке — початая. Он хотел было встать и выйти, но остался сидеть, разыгрывая из себя несчастного придурка и делая вид, что уже пристрастился к кокаину. Может, даже подсел на героин.

Милли направилась прямиком в кухню. Клаудия с ребенком на руках улыбнулась ему. Она выглядела не такой измученной, как раньше, но была по-прежнему тонка и пикантна; бившие в окно лучи высветили ее стройную фигурку. Малыш Рикко мял пухлой ладошкой заостренную грудь матери.

— Привет, Джек!

— Привет, Клаудия.

— Какую передачу смотришь?

— Про жизнь в психушке.

— Надеюсь, мы по-прежнему друзья, да?

— Конечно, вполне годимся для ménage à trois[1], — с напускной язвительностью сказал он, хотя на короткий миг такая перспектива ему даже понравилась. Он мог бы вместе с ними мыться, наблюдать, как они ищут кристаллики соли для ванны в интимных местечках друг друга, а потом идти в поле мотыжить землю или собирать оливки в краю, где пейзаж утыкан восклицательными знаками кипарисов, а горячий воздух напоен ароматами диких трав.

Клаудия вышла. Из кухни донесся взрыв смеха. Даже два, причем явно ехидного смеха. Джек упорно не двигался с места, глядя на экран, где поющая корова тыкалась носом в высокий ворот молодого ведущего с прической, как у Перри Комо[2]. Милли с Клаудией уехали, не попрощавшись.

Однажды вечером, во время ужина, позвонил вернувшийся с Сицилии Говард. Поскольку отец не был в курсе событий, Джек поспешно вышел из-за стола. Они с Говардом договорились встретиться назавтра под вечер у Ковент-Гардена и попить пивка.

Друзья расположились на веранде; вокруг весело гомонили клерки, стремительно осушавшие стакан за стаканом, вместо того чтобы идти к домочадцам. Говард покрутил перед Джеком заживším, но еще не очень гибким пальцем; Джек поздравил приятеля. Говард отрастил усы, похожие на крылышки крапивника, лицо у него загорело неровно, пятнами. Как

1. Любовного треугольника (*франц.*).
2. Перри Комо (наст. имя Пьерино Рональд "Перри" Комо; 1912–2001) — американский певец и телезвезда 1940–1990-х гг.

обычно, он категорически заявил, что это его последняя поездка на Сицилию.

– Сумасшедший дом! – возмущался он. – Мафия все насквозь разъела! А Евросоюз сыплет и сыплет бабки в их бездонные карманы. Гниющая пята Европы.

– Но тебе-то платят хорошо.

– Мне платят хорошо.

– И солнце сияет.

– И солнце сияет.

– И самцов – хоть завались.

– И Этна, – задумчиво проговорил Говард. – Куда ни глянь, кругом сплошная черная застывшая лава. Кажется, я первым это сказал?..

– Что именно?

– Что перед этим зрелищем все людские усилия представляются совершенно бессмысленными? Нет, не я.

Джек вкратце изложил все сколько-нибудь существенные события последнего времени.

– Озадачил ты меня своим рассказом, – признался Говард. – Я *совершенно* оглоушен. Просто в шоке. Знай я, как все повернется, ни за что не предложил бы...

– Ладно, брось! – остановил его Джек. – Она использовала тебя в качестве алиби.

– А что с Яном? Ты намерен с ним повидаться?

– По малышу я скучаю.

– Так поезжай к нему. И не тяни!

Джек вздохнул.

– Может, и съезжу. А может, ребенку только на пользу, если его папочка не пудрит ему мозги.

– Ага, пусть этим занимаются отчимы. Тебе когда-нибудь говорили, что у тебя прическа, как у Гитлера, разве что волосы погуще? Будь уверен, кстати – из Яна со временем выйдет *потрясающий* альтист, – с несвойственной ему серьезностью заключил Говард.

Джек кивнул. Компания клерков время от времени разражалась слоноподобным ревом, и Джек всякий раз невольно морщился, как от боли. Интересно, что требуется от человека, чтобы стать своим в такой кодле? Чтобы тебя считали нормальным мужиком?

– Лишь бы занятия музыкой не разрушили другую, не менее важную ипостась его жизни.

– Брось! Для Яна важнее всего будет звучание его альта, особенно *в жару*, черт бы ее побрал, – возразил Говард, хотя на дворе уже повеяло прохладой. – За глобальное потепление я подам в суд на янки. И на китайцев.

— А еще на британцев, — добавил Джек. — Да на всех подряд, кроме Милли.

— О-о, нашей дорогой Милли я просто не решусь вчинить иск!

Преувеличенно идиотский страх, изобразившийся на лице приятеля, покоробил Джека, тем не менее он выдавил из себя улыбку и поинтересовался:

— Известно ли тебе, кстати, отчего Яан хромает? Откуда у него искривление стопы?

Говард утвердительно кивнул:

— Известно. Представь себе, перед каждым чемпионатом гнусные коммунисты пичкали его мать особыми препаратами. И стопа — печальное наследие зла.

— Я-то давно это знаю, причем из первых рук, от нее самой. Просто хотел узнать, в курсе ли *ты*, — объяснил Джек. В душе шевельнулась ревность, возможно, отразившаяся у него на лице. Осталось ли хоть что-то, чего она Говарду не рассказала?

Однажды утром он заехал в Хэмпстед, чтобы разобрать свои пожитки, и в зимнем саду увидел плачущую Милли.

— Я отчаянно нуждаюсь в *одобрении*, — призналась она, сморкаясь в платочек. — Прямо-таки неотступная потребность. Как у одного из героев Данте, блин. Даже когда *счастлива*. Вот как *сейчас*.

— Гм, почему именно Данте?

— Да какая разница. Кстати, я выставила дом на торги. Нам надо обсудить предстоящую сделку с адвокатом. Деньги поделим пополам, хотя в свое время он был куплен *целиком* на средства моей семьи. Сумма огромная, дом невероятно подорожал за пять лет.

— Я не возьму ни пенса, — с неожиданной для него самого уверенностью заявил Джек, будто вел рискованную игру, самостоятельно планируя свои хитроумные действия, заманивая противника, чтобы ошарашить его труднейшим, сбивающим с ног броском.

— Что-что?

— Начну жить заново, с нуля. Немножко мне оставила мама. Кое-что продам. Рояль, если не ошибаюсь, мой. За него можно взять тысяч десять, не меньше.

— Как всегда, дурака валяешь?

— Деньги-деньги-деньги. Фу, гадость! Поразмысли об этом на досуге, Милл.

В начале декабря дом в Хэмпстеде действительно ушел за абсурдно гигантскую сумму, и Джек окончательно переехал в

Хейс к отцу. В Белсайз-Парке Клаудия и Милли целыми днями весело резвились с маленьким Рикко, время от времени летая в Пизу, чтобы подыскать там жилье. С точки зрения заботы об окружающей среде, они сущие лицемерки, думал Джек, но держал язык за зубами. Что было не трудно, поскольку его мнение никого не интересовало.

Детская спальня в родном доме стала ему постоянным прибежищем — вроде клетки, в которой сидел тот снежный барс, изредка ловя в воздухе дуновения, напоминавшие о Гималаях. Но в тесной комнатушке некуда деть многочисленные книги и даже на стенах мало места — негде повесить афиши в рамках, портреты любимых композиторов, вручную раскрашенную тарелку из "Коллекции естественных курьезов" Альберта Себы[1]. Она подвернулась Джеку в Делфте еще в студенческие времена, и он выложил за нее свою месячную стипендию. Рояль, а также все подарки от Милли — маленькие подлинники современных художников, редкие гравюры известных мастеров, к которым у него не лежала душа, — он продал на аукционе в Северном Финчли. Старинное полотно с изображением купальщицы (подаренное ему на тридцатипятилетие) купил самонадеянный владелец галереи. "Хлам эпохи рококо", — презрительно бросил он, однако цену дал вполне приличную. А вот керамический фонарь начала девятнадцатого века вместе с подлинной свечой того времени Джек не стал продавать из какого-то суеверного страха, хотя мог бы выручить за них пару тысяч фунтов. Остальное ушло с молотка.

Расставаться с этими вещами было нелегко. Вернее, слишком до ужаса легко.

Обычная односпальная кровать теперь почему-то стала казаться узкой и коротковатой. Джек не забыл, как вместе с родителями ходил по мебельным магазинам. Сколько же ему тогда было? Тринадцать? Он живо помнит, как сгорал от смущения в огромном, заставленном кроватями зале. Его преследовало чувство, что сон, в общем-то, — занятие странное, да и сами люди — существа странные. В ярко освещенном магазине обнажалось и выставлялось напоказ нечто сугубо сокровенное. Парочки дружно проверяли упругость матрацев на двуспальных кроватях в форме раковины с обитыми мягкой тканью краями. Рядом висели изображения женщин в ночных рубашках и медицинские плакаты с различными искривлениями позвоночника. Покупатели без тени улыбки бродили по за-

1. Альберт Себа (1665—1736) — нидерландский аптекарь, натуралист и коллекционер.

лу и сосредоточенно щупали всё подряд, всем свои видом показывая, что сон — дело серьезное, один только лысоватый господин улегся на ортопедический матрац “данлопилло” и притворно захрапел. Родители уговорили Джека тоже лечь на матрац, и он стал снимать ботинки, чем сильно насмешил хорошенькую продавщицу в туфлях на высоких каблуках. Она постучала шариковой ручкой по крытому полиэтиленом изножью, показывая, куда можно класть ноги прямо в обуви. Очень она тогда развеселилась.

Сам он от природы — истинное чудо-юдо. Отправился надолго, сам не зная куда, и вернулся ровно туда, откуда начал свое странствие. Настоящий Улисс из предместья. А путешествие вышло пустым и жалким. *Ублюдок несчастный.*

Доналд приехал в Перселл-Рум, где должно было исполняться сочинение сына “Воды опасного путешествия”. Журналист с Радио-3 взял интервью у нескольких композиторов, в том числе и у Джека. В надежде подыскать броскую цитату на любой случай Джек заранее полистал “Избранное” Бодрийяра[1], но, когда дошло до дела, он в очередной раз убедился, что окружающие превосходят его остроумием, тонкостью суждений и глубоким энциклопедическим знанием истории музыки. Даже юная Абигейл Стонтон, вопреки своему сверхмодному молодежному прикиду, сумела блеснуть, неоднократно упомянув переменную шкалу Гербера, стереотипы империалистического мышления и свою недавнюю поездку в Ливан. Но, главное, все они, сочиняя музыку, прекрасно знают, что делают. Джек ввернул-таки цитату из Шостаковича, но разнервничался до того, что исказил ее смысл. Если бы его спросили, как пишется имя этого композитора, он, скорее всего, и тут опростоволосился бы.

Во время наспех проведенной репетиции Джек впервые услышал свой опус живьем и остался крайне недоволен. В его сочинении, единственном из всех, не было и намека на взрыв бомбы. Музыканты исправно играли положенное время, но вдохновенные пассажи тонули в невнятице старательного, но неосмысленного и неслаженного исполнения. Писк пейджера ничуть не напоминал звук больничного кардиографа и только портил дело. На фоне других названий заглавие его пьесы звучало старомодно и претенциозно, а на фотографии, впопыхах снятой Милли три года назад для коробки с его дисками, у Джека такое лицо, будто ему до зарезу нужно в уборную, — и название неожиданно обернулось двусмысленностью.

1. Жан Бодрийяр (1929–2007) — французский философ, социолог, культуролог.

Собравшиеся в Перселл-Рум слушатели оказались большими терпеливцами и высидели все положенные шестнадцать минут. Джек почти въяве видел над каждой головой нимб со словом "терпеливец". Забившись в задний ряд и стиснув рукой подбородок, он внутренне корчился от стыда. Опус получился перегруженный, ни складу ни ладу. Придется разодрать его и заодно себя в клочья, после чего начать все заново.

Потом, когда коллеги и приятели стали, как водится в таких случаях, одобрительно (или снисходительно) похлопывать его по спине, — отвратительный обычай! — он тоже не испытал ни малейшего удовольствия. Подошедшая Тэнси Дэвис пыталась ободрить его, но остальные, в том числе и отец, говорили очень мало. После чего Гэри Соумз, новый главный продюсер Радио-3, официально заказал ему на следующий год пьесу ко Дню святого Георгия за абсолютно мизерный гонорар.

— Надеюсь, это будет новая музыка об Англии, — сияя улыбкой, возгласил он и поднял бокал с шампанским. Последнее время множество сотрудников Радио-3 сияют улыбками. — В записи, не живьем. Мы запускаем серию серьезных передач под названием "Камерный зал в эфире". Заявки принимаются только от известных композиторов. Выделены средства на оплату заказов. Тема вас вдохновляет?

— Гм, да, *древняя* Англия, — машинально забормотал Джек. — Силбери-Хилл[1], старые-престарые грунтовые дороги, поросшие колокольчиками холмы, обряды оплодотворения, практиковавшиеся нашими пращурами, и все такое прочее. Эпоха неолита с ее мрачными, темными тайнами. Но, разумеется, не в легковесно-фольклорном духе...

Гэри Соумз кивал, стараясь краем уха уловить, о чем толкует Джордж Бенджамин[2] собравшимся вокруг меломанам. До Джека вдруг дошло, что его собственные высказывания не блещут ни умом, ни оригинальностью, зато сильно смахивают на речи активистов движения "Нью Эйдж"[3].

— Отлично! — воскликнул продюсер, сверкая крупными квадратными зубами; возможно, он моложе Джека и только выглядит старше. В его равнодушные глаза смотреть не хотелось. — Просто отлично. Забавно, но другие говорили бук-

1. Силбери-Хилл — доисторический рукотворный меловой курган в графстве Уилтшир; входит в список памятников мировой истории и культуры ЮНЕСКО.
2. Джордж Бенджамин (наст. имя Джордж Уильям Джон Бенджамин; р. 1960) — английский композитор, дирижер, пианист.
3. "Нью Эйдж" (от *англ.* New Age — новая эра) — название совокупности различных мистических течений, в основном, оккультного, эзотерического характера.

вально то же самое. Минут на десять-двенадцать, не больше. *Очень* интересно. Сначала, до записи, мы с вами немножко посплетничаем, и вперед.

— По-моему, идея хорошая.

— Подумайте на досуге, Джек. И сразу дайте мне знать. Я же понимаю, вы безумно заняты.

После пережитого разочарования Джек не сумел скрыть накопившейся досады. Несмотря на предстоящий заказ, Гэри Соумз его страшно раздражал.

— Хорошо, но только, пожалуйста, после исполнения должна быть *полная тишина*, — выпалил он, размахивая руками. — Не хочу, чтобы сразу врезался ведущий с глупыми комментариями, типа *Вы наверняка согласитесь, что это было...* Собственно, я прямо в партитуру впишу. *Тишина.* Самое меньшее — пять тактов.

Но Гэри Соумз уже повернулся к Джорджу Бенджамину.

Позже Джек услышал, как Соумз заказывает Абигейл Стонтон новое сочинение — с нею он был гораздо красноречивее:

— Хотите верьте, хотите нет, но на протяжении той недели у нас каждый вечер будет свое постоянное время. В прайм-тайм. Чудеса, да и только! И ради Бога, не тушуйтесь, пишите сложную музыку. Хорошенько встряхните публику, Абигейл. Да, наше радио обязательно учитывает запросы слушателей. И в тот день для них будет звучать сколько угодно заезженных мелодичных опусов. Перселл, Воан-Уильямс, Элгар, Финци[1] и прочие в том же духе. Наряду, впрочем, с передачей о Бёртуистле; то есть мы не ограничиваемся одними золотящимися нивами и коровьими лепехами.

Абигейл засмеялась.

— Главное — чтобы нас не приняли за отделение БНП[2], отвечающее за культуру, это опасно, — окрыленный ее реакцией, продолжал Соумз. — Подлить вам шипучки, прелесть моя?

Абигейл протянула стакан и одарила Соумза такой улыбкой, от которой его ленивый взор заметно повлажнел. Джек уехал домой в большом раздражении. Секрет успеха в том, чтобы, не открывая рта, делать вид, будто жаждешь серьезного разговора.

Он понятия не имел, когда отмечается День святого Георгия, но спросить не решился. Позже справился в интернете.

1. Джеральд Рафаэль Финци (1901–1956) — английский композитор.
2. БНП (Британская национальная партия) — крайне правая политическая партия националистического толка, в 1982 г. отколовшаяся от партии "Национальный фронт".

Оказывается, двадцать третьего апреля. Между прочим, в Англии — национальный праздник. И ровно в тот же самый день родился — и умер — Шекспир! Даже неловко становится — будто придумал все это какой-нибудь консерватор из окружающих Лондон графств, некий местный божок. А теперь футбольные хулиганы и фашисты считают День святого Георгия своим праздником. Отмечать его так же стыдно, как демонстрировать собственные гениталии.

В его распоряжении несколько месяцев. Надо будет отнестись к работе со всей серьезностью. Произведение должно быть насквозь языческим, новым, смутно-таинственным; оно будет посвящено утрате матери, Матери-Земли. Утрате Мойны и Милли. Утрате дома на холме, своего "орлиного гнезда", из которого открывается вид на лесопарк. Утрате Уодхэмптон-Холла. Все это разом ускользнуло у него из рук. Грачи, негромкие удары крокетного молотка по шару, скрытые в земле кости пращуров. Ему будет чем заняться.

Доналду, безусловно, очень худо. Глаза тусклые, неприкаянно бродит по дому, будто что-то ищет. Он требует куда больше заботы, чем Джек предполагал; помимо прочего, нужно готовить ему еду и прибирать в доме. Доналд то и дело называет сына Мойна — по ошибке, естественно. Они даже смеются над этими его оговорками.

Тут, в Хейсе, Мойна стоит за каждой дверью и может выйти в любую минуту. Когда Джек особенно долго принимает ванну, он невольно ждет ее оклика: вот сейчас она спросит, не утонул ли он еще. Вечерами, уже после того как Доналд, покопошившись в ванной, уходит спать, а Джек уже за полночь садится к телевизору смотреть всякую ерунду, Мойна, уютно устроившись в своем мягком кресле (теперь заваленном пачками непрочитанных газет), обязательно громко зевнет и заявит, что и не думала дремать. Этот призрак — Мойна его детства и юности. Его мамочка. Однажды, когда он что-то готовил, ему показалось, что она проскользнула внутрь его самого. Он чуть не выбранил отца за то, что тот слишком громко сопит.

Джека прямо-таки подмывало натянуть на себя ее домашние брюки, ее вязаную кофту и потом беспрестанно одергивать рукава. Когда отец достал из кухонного шкафчика пакеты со счетами и деньгами на оплату и стал выуживать монетки для газового счетчика, Джек чуть было не протянул за ними руку.

Уже сильно похолодало, последняя листва, облетевшая на узкие чахлые газоны с жалкими островками еще зеленой травы, превратилась в грязное месиво. Джек возил отца по окрестным живописным местам: Чейниз, Кливден или Сток-Поуджез. Но прежде чем выехать на утыканный столбами

электропередач сельский простор, всякий раз приходилось подолгу стоять в загазованных пробках. В рекомендуемых путеводителями пабах было, как правило, холодно, за безвкусную еду драли три шкуры. Доналд смотрел вокруг с полным безразличием. Сельские красоты его не занимали. Другое дело аэродромы, самолеты, сборы моделистов-планеристов возле автомобильной свалки, огромного склада или среди усеянного коровьими лепешками и продуваемого всеми ветрами поля. Но даже когда Джек, наступив себе на горло, предлагал съездить в подобное местечко, отец неизменно отказывался.

Сочинение на тему древней Англии застопорилось уже на двадцать втором такте. Зачин напоминал Бриттена, которого дубиной заставили подделываться под Пярта, а потом процедили сквозь сито танца "моррис"[1]. Ни к черту не годится. Джек отправился в Уотершип-Даун — откуда рукой подать до Уодхэмптона — и постоял под резким ветром на поросших травой отвалах старинного форта Лейдл-Хилл; он чувствовал себя бесплодным горемыкой. Было заметно, что по-зимнему сухие пашни помаленьку отгрызают от холмистой местности акр за акром, а посреди освоенной земли несуразно торчит гигантская антенна. Шагая через унылый фермерский двор, Джек приметил вдалеке помятый фургон; описав большой круг, драндулет с явно недобрыми намерениями устремился к нему и затормозил у самых ног. Джек остановился. Из окна высунулась раскрасневшаяся от ветра физиономия и рыкнула что-то насчет частного владения.

Всю пьесу Джек уничтожил, кроме последнего такта, затем порвал и его.

Потянулись предрождественские дни, они складывались в недели — все как одна пепельно-серые. Небо непроницаемо свинцовое, да и какое же это небо — не разглядеть ни облачка. Испарения бесцветной земли или даже воздуха словно бы сгущаются в плотное уныние, нацеленное прямиком в сердце Джека, которое вроде бы не сильно и болит, только от горя переходит в газообразное состояние. Дождя почти нет, хотя он ежеминутно собирается покрапать — не полить. Вот уже, кажется, накрапывает, а на самом деле не выпадает ни капли. С небес сочится до того жидкий свет, что невозможно определить время дня. По ощущениям Джека, это неверное рав-

1. "Моррис" — старинный народный танец, по традиции исполняемый мужчинами, одетыми в пастушеские костюмы с лентами и колокольчиками у коленей; танцоры часто размахивают трещотками.

новесие должно смениться очистительным, искупительным пламенем, но пламя не вспыхивает, да и ночь не наступает. Возможно, не наступит никогда. Дни ухают в колодец; или в черную угольную яму. А тем временем поток машин, то густея, то чуть мельчая, непрерывно вьется по дорогам неизвестно куда и неизвестно зачем. Глядя сквозь грязное ветровое стекло или с узких тротуаров Хейса, Джек слышит звуки арфы. Никогда прежде он не слыхал, чтобы арфа исполняла подобное. Она играет серую английскую пасмурность. Играет погоду Англии. Чисто английскую пепельную действительность, свинцово-непроглядную тщетность любых усилий. Где возможно присвоение чужой собственности. Где вокруг каждого города выросло раковое кольцо из торговых центров, увешанных веселенькими флажками, и кварталов коммерческой недвижимости. Арфа играет о людях, у которых слишком много денег, и о тех, у кого богачи деньги отняли и на кого теперь всем наплевать. О несметных суммах, потраченных на то, чтобы изгадить зеленую цветущую землю и чистый воздух — а ведь были, были когда-то чистыми и земля, и воздух, причем не сказать, чтобы страшно давно.

Джек решил купить отцу цифровой приемник и в воскресенье поехал в магазин “Каррис”, что на окраине Харлингтона. Свободных мест на парковке почти не осталось. Моросил частый дождь, и сквозь раздвижные двери торопливо шагали люди, одни бежали с покупками к машинам, другие — еще порожняком в магазин. Джек смотрел на них из окна раздолбанного отцовского “форда” и думал: проклятое мы племя. Арфа тем временем все играла о беспросветной серости, и новая музыкальная фраза сжималась в его голове до нотных строчек. Вот она, наша Англия, думал Джек. Наш мир. Он уже не сопротивляется. Неба нет. Нет белых облаков. Остались только утраты, “Каррис”, автомобили, непрерывной чередой пробивающиеся неизвестно куда и зачем, и обреченные на гибель белые медведи. И всем наплевать.

А ведь когда-то ты подавал такие надежды!

Эта арфа просто чокнутая. Не древняя она, не языческая, не заунывная и не озабоченная сохранением окружающей среды. Серая, и точка. В ней вся свинцовость этой жизни. Вся ее тщетность. Струйка мочи в океане. И арфа играет эту серость и бестолковую сутолоку в “Каррис”. Бессмыслица, вот что это такое.

Днем Доналд теперь обычно дремал в кресле, не замечая, что непрочитанная газета или номер журнала “Моделирование планеров” сползли с его колен на пол. Он сильно постарел. И

подумывал о переезде в Австралию, к Джулии и Майку. Они были бы ему рады, потому что им там одиноко без единой родной души. Так, по крайней мере, полагает Джек. Но Доналд вряд ли почувствует себя там счастливее, чем в Миддлсексе. Там даже послеобеденное время называют иначе. Когда звонила Джулия, отец говорил ей:

— Все еще думаю. Знаю, лапушка, у вас там хорошо и тепло. Голова у меня пока что работает. Вроде бы.

Рождество они встречали вдвоем. Доналд праздновать не хотел, предлагал просто скромно поужинать, но Джек все-таки зажарил индейку и подал к ней переваренную брюссельскую капусту; отец чуть не подавился каштаном. По телефону их поздравили Джулия и Денни. У отца с сыном на душе было тяжко и грустно, зато пьеса Джека ко Дню святого Георгия заметно продвинулась. Собственно, она разрослась в несколько пьес. На Радио-3 прозвучит отрывок из второй части — соло арфы в ля миноре. Ля — это Любовь. Ре — Рождение. Си — Смерть. В мажоре и в миноре.

По внутреннему трепету — напоминавшему толчки в черной осадочной породе — Джек понял, что опус удался. Он назовет свое новое сочинение “Серые дни”. Смысл дойдет до каждого. Паузы между оборванными нотами словно подстегивают внимание — такого эффекта он еще не добивался никогда. Музыка для слепых. Любая музыка пишется для слепых — чтобы мы прозрели. В паузы, между серыми звуками арфы, высеченными из гранитной тишины, он на одну-две секунды ввел звуки транзистора — уродливый аудиохлам, долетевший из-за забора. Пьеса вышла замечательная. И все, буквально *все* в нее вместилось. Даже гудение ротационной сушилки для белья.

На Радио-3 пьеса решительно не понравилась. Прямо об этом не было сказано ни слова, но Джек все понял. Он отправил им партитуру целиком, отметив начало и конец отрывка из средней части; спустя две недели по электронной почте пришло холодноватое благодарственное послание. Его опус сочли “очень интересным и необычным”, но выразили сомнение в том, что “он сочетается с прочими произведениями этой программы. Возможно, подойдет для исполнения в другое, более позднее время, для удовольствия любителей по-настоящему серьезной и глубокой музыки”. Вопреки обыкновению Джек разразился ответным письмом, в котором яростно отстаивал свое сочинение, подкрепив аргументы подслушанной на встрече с Соумзом просьбой писать “сложную” музыку. Радио-3 немедленно пошло на попятную. Вот так теперь будет всегда, думал Джек. Никаких компромиссов.

Он не станет отвечать на заранее составленные вопросы и скажет то, что думает. Необходимо сказать то, что он *на самом деле* думает.

Пьеса вышла более чем на час звучания.

Он отправил ее Говарду, причем без особого волнения – понимал, что получилось хорошо. Неделю спустя пришло ответное письмо – настоящее, не электронное: три листа бумаги, исписанные красивыми фиолетовыми чернилами. “Серые дни” – произведение гениальное, заключил свой отзыв Говард. Причем без малейшей иронии.

– Мамочка, спасибо тебе, – произнес Джек. Он лежал на кровати, закинув руки за голову; письмо Говарда покачивалось у него на груди. – И тебе, Роджер, тоже спасибо. Ублюдок несчастный.

Глава одиннадцатая

Я вхожу в зал прилета таллиннского аэропорта и вижу группу мужчин, ожидающих посадки на обратный рейс. На них одинаковые желтые фуфайки с ярко-фиолетовыми надписями: “Жених”, “Шафер”, “Свидетель”, “Шофер”, “Лучший друг жениха”, а у одного – “Несчастный брошенный ублюдок”. Они напоминают только что выпущенных из тюрьмы арестантов, еще не привыкших к свету дня. Похоже, всех до единого зовут Крис. Голоса у них хриплые, но очень громкие. У одного на голове фетровый цилиндр с флажком святого Георгия.

В Таллинне я проведу всего одну ночь. Гостиница самая дешевая, какую только удалось найти, – серое бесформенное логово, пропахшее потом и бриолином. Стоит она в бывшей советской зоне, возле железной дороги, но до старого города можно дойти за считаные минуты.

Здесь холоднее, чем в Лондоне, температура примерно та же, что и шесть лет назад, хотя сейчас апрель, а не октябрь. Туристов гораздо больше, чем раньше, многие здания отремонтированы и покрашены, отчего они немного смахивают на городок из какого-нибудь диснеевского мультфильма. У меня такое чувство, что я непрошеным гостем вторгаюсь в собственные воспоминания. Кафе, где я познакомился с Кайей, где началась та длинная музыкальная фраза, не узнать: его переделали, выкрасили изнутри в ярко-красный цвет, поставили на столы ночники и назвали “Санкт-Петербург”. Фасад светло-голубой, на затейливом крюке висит газовый фонарь. Из распахнутой двери несется уханье “транса”, от которого сердце больно колотится в груди. К оконному стеклу прилеп-

лено объявление, набранное на компьютере красивым готическим шрифтом: *Никаких холостяцких вечеринок. Убедительно просим соблюдать вежливость.*

В общем, кафе "Майолика" бесследно исчезло.

Я захожу в паб, который по-прежнему называется "У О'Луни"; над дверью деревянная вывеска, на ней от руки намалевано: *Существует с 1994 года.* Как и прежде, из-за двери несется музыка и крики посетителей, составляя резкий хроматический диссонанс. Музыка все та же, что и в девяносто девятом году, — типичные для ирландского фольклора перепевы и повторы (почему-то мне кажется, что она записана на кассету), но на сей раз кричат англичане, а не финны. Похоже, дело вот-вот дойдет до кулаков; я поворачиваю прочь, но тут из двери с воплями и оглушительным хохотом вываливается с десяток моих соотечественников. Хотя на дворе, несмотря на весну, изрядно холодно, одеты они по-летнему.

Я перехожу на другую сторону — не хочу привлекать к себе внимание воинственно настроенной компании. В то же время во мне просыпается любопытство. Они ведут себя здесь так же, как дома — в Хейсе, Харлоу или откуда там они сюда приехали. Один, заметив свое отражение в витрине, задирает сзади майку и мотает своим необъятным крупом; другой плюхается ничком и делает вид, что совокупляется с булыжной мостовой. Все то же, что и на родине.

Остальные, гогоча, подначивают приятеля и вдруг замечают меня. Я делаю вид, что читаю сообщения на зажатом в ладони невидимом мобильнике. До чего же короткая у меня линия жизни. Один рыжий толстяк с огромными волосатыми ноздрями (такое впечатление, что на мир он смотрит сквозь них) отделяется от группы и, не доходя до меня нескольких ярдов, орет:

— Эй ты, урод, блин, чего уставился?

Я и впрямь крепко разозлился. Такое чувство, будто орда чужеземцев буянит на моей родной земле. Я огрызаюсь, но не потому, что я храбрец — просто меня накрыл приступ слепого гнева. Эти хамы упились в зюзю дешевым пивом и таллиннской водкой. Глупо с ними вязаться. Но не вязаться я уже не могу. Они насмехаются надо мной, принимая меня за эстонца, во всяком случае, не за англичанина, и потому считают человеком низшей расы. И одновременно восторгаются собственным уродством, грубостью и жестокостью. В этом даже чувствуется некое намеренное комикование, этакая театральная бравада. Невольно думаешь, что зла они все же не причинят.

Но тот, кто так думает, сильно ошибается. И я в том числе. Не сказать, что я совсем уж простец — все же рос не в самом

благополучном уголке Миддлсекса; мне было восемнадцать, когда на моих глазах человека в пивной извалтузили об пол так, что лицо превратилось в сплошное кровавое месиво. Но я утратил нюх, звериные инстинкты притупились.

И вместо того чтобы поскорее улизнуть, я огрызаюсь. Обратившись в крошечный черный шарик, мои слова летят со скоростью звука:

— Пора бы повзрослеть! — кричу я, привстав на цыпочки и тыча пальцем в ноздрястого. — Слабо мужиком стать? Черта с два ты повзрослеешь! Смотреть на тебя тошно! Понял? С души воротит!

Почти то же самое, в сущности, я давно собирался сказать себе.

Я надрывно ору и сам чувствую, что мне явно недостает достоверного люмпенского хамства. Слишком долго я жил в отрыве от него в местах вроде Ричмонда, Хэмпстеда и Уодхэмптона. В голосе слышатся учительские нотки, вопли оглашают улицу, но угрозы в них не больше, чем в шарике для пинг-понга.

В ответ раздается мощный рев; это не столько боевой клич пьяной ватаги, сколько возглас изумления: неужто слух их не обманывает? Неужто и впрямь кто-то осмелился выкрикнуть такое?! Пауза. Вернее даже, тишина. Тишина, что бывает перед решающей битвой. Шелест знамен. Случайное ржание одной лошади среди тысячных войск, выстроившихся друг против друга.

Сомкнув ряды, они движутся на меня. Я делаю попытку удрать, но поздно. Эдварду эта история пришлась бы по вкусу, мелькает мысль. Капец. Точка. Ком. Мы их облапошим. Я еще не успел испугаться.

Они, конечно, бухие, но еще не до потери пульса. Еще способны передвигаться. Такое впечатление, что какой-то ловкач перенес их прямо ко мне и выстроил в кружок. Я, точно слепой, вытягиваю вперед руки.

Прихожу в себя: я в белой комнате, на белом берегу — девушка в белом платье, она играет на альте. Вдруг вижу, что нахожусь в хамаме, кругом непроглядно густой пар; много лет назад мы с Милли ездили в Турцию и однажды зашли в такой хамам. Чувствую жгучую боль в носу, металлическое острие вонзается мне в подреберье. Если бы я мог шевелиться, я бы отделался от человека, втыкающего в меня нож.

Девушка — медсестра, она улыбается мне сквозь жаркий туман.

Металлическое острие — это мое собственное сломанное ребро. Нос мне вправили. Разбитая верхняя губа вздулась и

стала вдвое толще. Ухо теперь похоже не на капустный лист, а на кочан брокколи. В голове, будто набитой горячим льдом, стучат молотки. Видимо поначалу, хотя уже и с разбитой физиономией, я еще какое-то время держался на ногах, но потом упал, свернулся калачиком, а они все пинали меня ногами в бутсах. Позже прибыла полиция и надавала пьяным английским болванам эстонскими дубинками по башкам. Здешняя полиция, объясняют мне, обязана заниматься подобными стычками между иностранцами; импортные гости — импортные проблемы. Болваны, постанывая и утирая кровь, уже сидят по камерам, и я могу подать на них в суд. Так?

Я отрицательно мотаю головой. Тогда все мои планы рухнут. И Англия еще сильнее оплетет меня своими колючими плетьми.

— А ваши родственники? У вас есть жена?

На докторе очки в золотой оправе, он молод и приветлив. Я объясняю, что не хочу огорчать родню, все обойдется. И приношу извинения за моих соотечественников-англичан. Доктор снисходительно пожимает плечами.

— В наше время уже не вежливые и не джентльмены, — с улыбкой замечает он. — Мир изменяет.

— Что и говорить! — невнятно отзываюсь я: распухшая губа не желает шевелиться. — Все вышло совсем не так прекрасно, как мечталось многим. Вообще-то, в Таллинне меня бьют уже второй раз. Может, я сам напрашиваюсь?

— О, кстати, — говорит доктор, хлопая себя по голому предплечью, — как это по-английски?

— Стукать? Шлепать?

— Стукать, да. Вы не должны стукать свою нацию слишком сильно, иначе можете снова причинить боль себе.

Через пару дней я выхожу из больницы. Разнообразные обследования не выявили в моей голове никаких повреждений. Я пишу в полиции краткое заявление о происшедшем инциденте. Головная боль, тошнота — это последствия шока, они со временем пройдут, уверяют врачи. На лице тоже не останется следов, даже ухо примет прежнюю форму. И ребро заживет. Синяки от ударов болят уже меньше, меняя окраску на фиолетово-зеленую.

Я разглядываю в треснутом гостиничном зеркале свою пятнистую физиономию. Милли обязательно сказала бы, что я *сам* жаждал наказания. Получается, в Таллинне я дважды испытывал некую психологическую потребность получить по морде. Ох, Милл!..

Следуя совету докторов, остаюсь в эстонской столице еще на несколько дней, чтобы до поездки на Хааремаа мои тело и

рассудок пришли в норму. Честно говоря, на улицах я теперь сильно нервничаю; иногда ноги подо мной ни с того ни с сего подкашиваются. В основном хожу по старому городу или сижу в просторной библиотеке — дочитываю, наконец, "Анну Каренину", а в перерывах болтаюсь в музыкальном зале. Швы на носу и на лбу заклеены пластырями, на которые, естественно, косятся прохожие. Заслышав откуда-нибудь крики, я немедленно пускаюсь в обход.

Иду мимо молчаливо сидящих у дверей ресторана бледных, опасных с виду парней. Они смотрят на меня в упор, в глазах нет и тени дружелюбия. Наверно, мафиози, они теперь окопались повсюду, не только здесь, и заняты известно чем: порнухой, наркотиками, оружием. И вдруг слышу английскую речь, лондонский говор. Я поспешно удаляюсь.

Все это сильно испортило мне пребывание в Таллинне. Не надо было сюда возвращаться. Я выбит из колеи, усилием воли стараюсь подавить уныние и жалость к себе. Мне сорок три года, а я уже вконец измочален. Какой противный возраст: ты довольно пожил и уже сознаешь, что твои мечты иллюзорны, однако ты не настолько стар, чтобы выбросить их из головы. Об этом, если не ошибаюсь, писал Достоевский. Но мои мечты, в отличие от мечтаний Достоевского, не иллюзия. Совсем не иллюзия. Без них я бы просто умер.

Далеко ли отсюда до Санкт-Петербурга? Наверно, километров сто, не больше. В наше время все гораздо ближе, чем прежде.

Напротив, на том берегу залива, — Финляндия. И до Риги рукой подать.

Я наслаждаюсь любимым видом Таллинна, держась на всякий случай за ограждение площадки; на поручне черным фломастером написано по-английски: *Полапай мои красивые сиськи.* Перед глазами сразу возникает самолет компании "EasyJet"[1] в виде канализационной трубы, поливающей этот город отходами моей родины.

По дороге захожу в музыкальный магазин, покупаю пачку нотной бумаги и хороший простой карандаш. Хозяин магазина узнал меня даже через прошедшие шесть лет; я объясняю, что упал с велосипеда и сильно расшибся. За эти годы эстонец страшно постарел, косматая шевелюра и борода совсем седые. Но глаза по-прежнему смотрят молодо.

Непременно сойдусь с ним поближе.

1. "EasyJet" — английская авиакомпания, продающая билеты по низким ценам.

Ночь была тяжелой (шум поездов не давал спать); теперь, в междугороднем автобусе, мне куда лучше. Чувствую себя абсолютно опустошенным и одновременно испытываю приятный подъем, будто неделю просидел на коричневом рисе и воде.

Битком набитый автобус все так же дребезжит и громыхает. У меня с собой лишь потертый рюкзак, в котором топорщится детский набор для крикета. Сидящая рядом иссохшая старуха в накинутом на голову крапчатом шарфе протягивает мне кусок черного хлеба. За окном тот же пейзаж — пустынная зеленая равнина. Вдали медленно поворачивается огромный каркас заброшенного завода, его грязные бетонные стены располосованы колючей проволокой и покрыты граффити. В прошлый раз я ничего этого не заметил. Может быть, сидел, уткнувшись лицом в шею Кайи. Стоит мне сделать глубокий вздох, сломанное ребро сразу дает себя знать. Напоминает, что не следует сбиваться с намеченного пути.

На пароме подают черный чай; я сажусь в уголке и размышляю: кто я? что я тут делаю? За соседним столиком расположились дальнобойщики, с любопытством поглядывают на меня; у одного на фуфайке надпись во всю грудь: *Я – лучший в мире кобель, спроси кого хочешь.* Что-то неохота мне спрашивать.

Но я вспоминаю, зачем я тут, и на душе сразу светлеет.

Автобусная станция, кое-как сложенная из неровных щербатых кирпичей — пережиток советской эпохи, — ничуть не изменилась. До района, где по-прежнему живет мать Кайи, отсюда десять минут ходу. Слегка опасаясь ненароком с ней столкнуться, иду в центр, чтобы где-нибудь перекусить. На площади тишина. В одном из невысоких домов времен шведского господства разместилось агентство по торговле недвижимостью, в витрине висят фотографии выставленных на продажу дач и земельных участков под застройку, цены умеренные, но не низкие. Я думал, они здесь ниже.

На некоторых фотографиях лишь пустое, поросшее травой поле, дальние камыши, деревья на ветру и небо; снимки заметно выцвели. Некоторое время я пристально разглядываю их.

Покупаю свежую карту Хааремаа. Она испещрена “собачками” — указателями, где можно подключиться к интернету. Кроме того, в южном направлении появилась сравнительно широкая дорога с двусторонним движением, длиной в несколько миль; в остальном ничего не изменилось.

После обеда я с полчаса сижу на искусственном пляже в тени замка и смотрю, как местная молодежь играет в баскетбол. Металлические столбы все так же завывают под резкими порывами ветра.

Надев рюкзак, я иду пешком на дачу — типичный турист в темно-синей походной куртке, которую я откопал в интернет-магазине eBay.

Погода по-апрельски прохладная, мне это очень кстати. На душе ясно и спокойно. Я шагаю по широкому сельскому тракту и, завидев знакомый желтый указатель, сворачиваю в сторону. Узкая дорожка вьется точно так же, как загородные дорожки в Англии, на обочинах дружно пробивается молодая весенняя зелень, воздух пахнет морем, прелой листвой и живицей. Я чувствую прилив бодрости. Даже восторга. В голове теснятся идеи, музыкальные пассажи сменяют друг друга, так и тянет собрать их в нечто огромное, неслыханное.

До дачи я добираюсь уже в сумерки: сначала, несмотря на большой крюк, решаю пройти по тропке, по которой не раз гулял с Кайей. Извилистая тропа неспешно ведет к гнездовью журавлей у самой кромки воды — месту пустынному и прелестному. Около часа топчусь возле камышовых зарослей, ловя малейшие звуки — так чутко я их еще никогда не ловил. Вокруг холодно и серо, хорошо бы проглянуло солнышко; но через некоторое время я закрываю глаза и только слушаю.

К моему удивлению, дача ничуть не изменилась.

В доме темно; Кайя много раз говорила, что ее родители обычно уезжают домой до наступления сумерек, если только не решают остаться на ночевку. Огород выглядит более запущенным, чем прежде, зато соседний, большой заросший бурьяном участок, превратился в тщательно подстриженную лужайку с аккуратными клумбами, ручейками и фонтанчиками, возле которых расставлены вооруженные удочками гномы. На месте прежней, смахивавшей на сарай, дачи нынешний владелец — возможно, сын умерших стариков, — возвел жилище, которое было бы вполне уместно и в Хейсе; ярко вспыхивают огоньки охранной сигнализации.

Загон для кур там, где и был; судя по негромкому квохтанью, доносящемуся из курятника, в нем по-прежнему полно несушек. Я бы не прочь поискать яичко, но уже совсем стемнело. Стараясь ступать как можно тише, торопливо шагаю вдоль участка туда, где во мраке чернеет дровяник.

Клетка на месте. По ней, чуть слышно шаркая лапками, мечется неясный силуэт ее обитателя. Мне вдруг становится страшно. В слабом свете, пробивающемся с соседнего участка, вспыхивают желтые глаза зверя; взгляд злобный, точно у психопата.

Я роюсь в рюкзаке в поисках кусачек, потом ощупью нахожу проволоку, на которую запирается дверца клетки. Зверь

перестает метаться и, случайно опрокинув свою миску, припадает в углу к земле. Шесть лет назад, когда Микель приходил кормить лиса, тот всякий раз так же покорно ложился, словно привык к наказаниям и даже не пытался улизнуть. Вот хитрец, думаю я, знает, что сбежать не удастся.

Я распахиваю дверцу; лис ждал этой минуты столько лет. Он твердо знал, что такой миг обязательно придет. Что дверца распахнется, и никто не станет силой загонять его обратно. Он никогда не отчаивался.

Я осторожно отступаю на несколько ярдов, у моих ног торчит молодые листочки взошедшая картошка. Из-под навеса доносится запах пиленого дерева; мне вспоминается сауна, хлестанье душистым березовым веником, тропки, что расходятся, вьются бесцельно и пересекаются вновь. Ребро опять дает о себе знать, я осторожно выпрямляюсь. А ведь меня запросто могли убить. Вышибить мне глаза. Тех уродов пожурят и отправят восвояси; может быть, они извлекут для себя урок, а может, и нет. Когда я сказал, что не стану подавать в суд, полицейские лишь пожали плечами. В каком-то смысле я сам спровоцировал драку. В Хейсе подобное случается из вечера в вечер. А для меня лучше, чтобы этот случай опустился на илистое дно памяти, где оседает все, что со мной происходит.

Я не столько вижу, сколько чувствую очертания животного — его черную тень, не более: вот тень встает, нюхает открытую дверцу. Между участком и лесом нет забора; в четыре прыжка зверь может нырнуть в безопасную тьму. Мне кажется, я вижу блеск его зубов, влажный нос, глаз.

Может быть, стоит подстегнуть лиса к побегу? Вряд ли, ни к чему это.

Я слышу запах собственного пота, шорох одежды, в конце концов до меня доходит: чтобы лис смог удрать, мне надо уйти.

Остается лишь верить, что в какую-то минуту долгой ночи лис, набравшись храбрости, покинет клетку, в которой был заперт навсегда, и скроется в бескрайней, непредсказуемой тьме.

Пять дней я брожу по острову, сплю на длинных пустынных пляжах или в сараях. Ночи такие холодные, что я мерзну даже в альпинистском спальном мешке, а шелест набегающих на песок волн не дает уснуть. Людей почти не вижу, за провизией хожу в редкие здесь деревушки вполне современного вида; я очень привязался к деревьям, свыкся с мокрой одеждой. У меня начал болеть живот — возможно, из-за резкой перемены в питании, — и время от времени тело сотрясает нутряная гриппозная дрожь. Я отправляю открытки отцу и нескольким друзьям, в том числе Говарду, — но не Милли. Об избиении не

пишу ни слова. Ребро при вздохе болит уже меньше, швы рассосались. Форма носа чуточку изменилась, но различие почти столь же ничтожно, как между Рексом и Лансом.

Однажды утром — по-моему, на третий день — просыпаюсь в лесу совершенно больным, а поскольку человек я мнительный, немедленно начинаю волноваться: вдруг у меня проявились запоздалые симптомы сотрясения мозга? Недомогание, однако, проходит, и я поспешно выхожу из леса, из собственного молчания и страха смерти, куда-нибудь поближе к людям.

По дороге набредаю на пулеметные установки, клубки путаной колючей проволоки, загадочные бетонные бугры. Все это действует на меня угнетающе. На широких, усыпанных гравием дорогах машины очень редки. Всякий раз, заслышав шум мотора, я жду, что автомобиль замедлит ход, из салона донесутся приветственные возгласы. В любую деревню захожу с тайной надеждой встретить там Кайю. Любого малыша, что топчется возле полок со сластями, принимаю за Яана. Однажды, продравшись сквозь густой ельник, вдруг вижу перед собой лишенный растительности альвар, он тянется вплоть до поблескивающей вдали полоски моря. Возможно, это тот самый альвар в заплатках лишайника, по которому шесть лет назад мы так осторожно ступали, боясь повредить это хрупкое природное явление, и Кайя, словно предвидя, что с нами произойдет, мимоходом заметила, что любая жизнь — это тоже альвар. Вероятно, резкие ветра до гладкости выскоблили вышедшую на поверхность породу; в другом месте, тоже показавшемся мне знакомым, эти же ветра засыпали песком кучку низкорослых сосенок, столпившихся за пляжем.

Я начинаю разговаривать сам с собой глухим монотонным голосом. Могу подолгу наблюдать за птицей, бестолково суетящейся в подлеске, за жуком, ползущим по прутику, за волнами, со вздохом тыкающимися своими завитками в белый песок; в прежней жизни мало что, кроме фильмов, концертов, компьютера или лица спящей Милли, занимало мое внимание так надолго.

Однажды остаюсь на ночевку возле речушки; просыпаюсь рано, только-только начало светать, и буквально следую совету Корнелиуса Кардью: в своей книжечке “Музыка скрипа” он, помнится, предложил: “Настрой ручей, передвигая в нем камешки”. Часа два я настраиваю речку, ворочая довольно крупные валуны — такие и вправду могут преобразить мелодию водных струй; камни с недовольным чавканьем покидают свое ложе, чтобы изменить музыку воды.

В конце концов, я настраиваю поток на ля. Закоченевшие руки почти не действуют. Целый день сижу у ручья, сочиняю,

записываю результат на купленных в Таллинне нотных листах, точу карандаш швейцарским складным ножом и снова царапаю грифелем по бумаге. Ночью мне снятся строчки нотных знаков, выведенные тонкими темными водорослями на белом песке, я пытаюсь прочесть музыку, прежде чем набежавшая пена смоет ноты.

В назначенный час по Радио-3 передают “Серые дни”. В полном одиночестве я сижу на эстонском острове в высокой траве и мысленно слушаю свое произведение, а музыка воды омывает меня сверху, снизу, изнутри.

Когда я появляюсь на пороге дома, где живет мать Кайи, я уже не прежний бледный лондонец и вообще не сильно похож на городского жителя. Скорее, на огородное пугало. В волосах сено, под ногтями песок. На ногах ботинки, которые во времена моей юности назывались “бутсы для братанов” — грубые, с утяжеленными носами. На спине потрепанный армейский рюкзак: очень не хотелось шататься по Эстонии разодетым, как для фотосессии. Рюкзак раздут, его распирают с трудом поместившийся набор для крикета и спальный мешок. Вдобавок, мое лицо обросло щетиной, причем весьма пестрой расцветки. Все это время, за исключением негромкой музыки в сельских магазинах, я совершенно бесплатно слушал один и тот же напев — завывание ветра. Мои травмы хоть и не бросаются в глаза, но все же заметны. Уху, превращенному в окровавленный ошметок мяса, удалось вернуться к своей исконной форме.

Я рассчитывал бродяжничать несколько недель, но пяти дней хватило с лихвой.

На углу возле жилого массива теперь вырос большой, ярко освещенный гипермаркет; не могу припомнить, что там было раньше. Возможно, пустырь. Или деревянные сараюшки. Уж не бывший ли муж Кайи строил этот огромный магазин? Я вхожу, покупаю коробку шоколадных конфет и бутылку вина. Ассортимент здесь еще меньше, чем в “Лидл”, но выглядит супермаркет ярче и новее. У меня даже поднимается настроение. От магазина? Еще чего не хватало.

Дверь открывает мать Кайи.

— Здрасьте. Это я, Джек. Приехал повидаться.

Лицо у нее недовольно кривится. Она сильно постарела. Я, надо полагать, тоже. Приветливо улыбаясь, протягиваю ей конфеты и вино.

— Ничего, что зашел? Я в отпуске.

Не знаю, насколько она в курсе событий. Приходится играть вслепую. Не исключено даже, что сейчас у нее Яан. Или

Кайя. Я действую наобум, шагаю не глядя, полагаясь на то, что уже пройдено.

— Хорошо, — повеселев, говорит Маарджи. — Прошу, прошу.

В квартире ничего не изменилось, разве что прибавилось семейных фотографий. На кухонном столе стоит портрет Микеля в рамке — будто Маарджи его только что рассматривала. Черно-белый телевизор работает отвратительно, передают, судя по всему, скверно дублированный американский детективный сериал; дело происходит в каком-то городе вроде Чикаго. Маарджи пододвигает кресло, я усаживаюсь. Оно издает тот же скрипучий вздох, что и шесть лет назад, — уже приятно. Маарджи заваривает кофе и достает из закромов масляное печенье с фабрики, на которой она когда-то работала. Хорошо бы она выключила телевизор, но это ей в голову не приходит; меня отвлекает взволнованный диалог героев, ритм речи, сцены насилия. Я ни о чем не спрашиваю, лишь роняю пустые вежливые фразы про остров, квартиру, кофе. Мы оба осторожничаем, прощупывая друг друга. Сознаем, что здесь кое-кого не хватает. Двоих. Даже троих, если считать Микеля.

Стол застелен клеенкой; местами она покоробилась от горячих кастрюль и сковородок, но блестит чистотой — видно, что ее трут, не жалея сил. В квартире стоит дух одиночества.

— Ты в отпуске? Гуляешь?

— Да. До чего же красивый остров...

— Погода не очень...

— Погода хорошая, — возражаю я. — Просто отличная. Дожди, конечно, идут, но не слишком часто.

Маарджи смеется:

— Чудо! Что с твой... болит? — спрашивает она, касаясь своего носа и лба.

— А, ничего страшного, упал с велосипеда. Как поживает Кайя? И Яан?

— Не знаю, — говорит Маарджи, не поднимая глаз от чашки с кофе. — Может быть, ты не видишь ее.

— Что ты хочешь сказать? Что мне *нельзя* с ней повидаться?

— Да. Ты Яану...

Я понимающе киваю.

— А теперь Тоомас, — с ноткой смирения в голосе говорит она. — Тоомас ему папа. Яан красивый мальчик. Жив тут, когда Кайя учиться. Нет проблем. Для нас хороший. Теперь Микель... Да, да. Я *очень* печальный. Даже его... там, в... зверь... на дача...

— Его лис?

— Да-а. Даже она уходит. Кто-то приходит. Убивал.

— Убили?

Ее пальцы семенят по столу, потом взмывают, чтобы откинуть упавшую на глаза прядь волос, и делают хватательные движения, а верхняя губа поднимается, обнажая зубы в гримасе звериного оскала. Я киваю с встревоженным видом, хотя не очень понимаю, что она хочет сказать. Что лиса убил какой-то дикий зверь, из тех, что водятся на острове? Рысь, что ли? Изображаю понимающее сочувствие. Ее глаза туманятся слезами, но я не чувствую за собой вины. На самом деле, я даже рад. Уж лучше скорая смерть, чем постылая неволя. Всего несколько дней бродяжничества развили у меня не склонность к мистике, а жесткий практицизм. Может, Кайя живет где-то поблизости? Может, нет. Впрочем, к этому острову понятие "очень далеко" неприложимо.

За протекшие шесть лет Маарджи переступила порог старости, и я почему-то досадую, словно она сама в этом виновата.

— Так, — продолжает она. — Сейчас Тоомас, очень хороший человек, ей муж — он глядит за Яаном. Кайя счастливый — работа на радио.

Повлажневшие глаза ее сияют.

— Красивая девочка, — вздыхает она.

Я чуть заметно киваю; но приехал-то я ради Яана, не ради чего-то другого.

— Я много думай тут, — продолжает она. — Слишком много думай.

— Вернее сказать, размышляла.

— Раз-*мыш*-лял?

— Да, размышляла. Могу учить тебя английскому языку.

Она опять смеется:

— Очень хорошо!

— Одному человеку трудно, — замечаю я, довольный, что мы поладили.

Маарджи, охая, встает, чтобы сварить еще кофе.

Детектив закончился, на экране рекламные ролики: блондинка со смехом разбрасывает по газону эстонский стиральный порошок; красный автомобиль мчит по итальянской пьяцце; подновленный кусочек курятины в кляре "Мак-наггет" заигрывает с новым отношением эстонцев к своему здоровью.

Я отвожу глаза и с удовольствием смотрю на недавнюю глянцевую фотографию семьи на фоне маяка; я заметил его во время странствий по острову — на оконечности скалистой косы. На снимке все четверо, в том числе Яан в прогулочной коляске. Микель выглядит как всегда, только в очках. Рядом — фото Кайи, она снята крупным планом, скорее всего, в сту-

дии; на вид ей лет четырнадцать-пятнадцать. Карточка висела тут и прежде, я в этом уверен, но теперь смотрится иначе.

Девушка на снимке улыбается, но улыбка у нее не вполне Кайина: нет ямочек, один передний зуб чуточку налезает на соседний. Одета в строгое аккуратное платьице с белым воротничком. В остальном же это хорошо знакомая мне Кайя. И все-таки не совсем: хотя она снята с большим приближением, отличной техникой, под ярким студийным светом и фото тщательно отретушировано, Кайя выглядит заурядно, ее лицо не притягивает взгляд. Но за несколько лет человек может сильно измениться, думаю я; это же не двадцатисемилетняя Кайя, а девушка, только начинающая взрослеть.

Склонив голову, Маарджи тяжело вздыхает: в одной руке у нее настольная фотография Микеля, в другой — прижатый к носу платочек. Она беззвучно плачет, и платочек темнеет от слез.

— Микель, полмесяца, очень плохо. Очень-очень плохо. Кровь изнутри. Потом ничего. Просто плакать во сне. Потом белый и — спать навсегда. Как телик: чик, и всё.

На экране ведущий смеется, весело помахивая огромной копией евробанкноты.

Маарджи разрешает мне сопроводить ее на кладбище, к могиле Микеля. Идем всего десять минут; вот он, маленький кочковатый погост под кедрами, на самой окраине города. Маарджи ходит сюда ежедневно. Влажная трава поскрипывает под ногами; тропинки, однако, нет. Поодаль — могилы отца Маарджи и ловко орудовавшей сковородками матери. Ее двоюродные дедушки похоронены на разных военных кладбищах. На табличке четкие цифры: 1940–2003. Под нею горшки с растениями и букетик мелких засохших весенних цветочков, собранных на обочинах дороги. Прежде чем Маарджи успевает открыть рот, я догадываюсь, что букетик принес Яан.

— Очень близко. Да, Яан кладет цветок. Так лучше.

— Гораздо лучше, — соглашаюсь я, тронутый ее горем, которое напомнило мне мое собственное.

Маарджи шмыгает носом, я осторожно кладу руку ей на плечо. На ощупь оно, в общем-то, похоже на плечо моей матери.

Мы стоим вдвоем у могил и дружно хлюпаем носами.

Я чувствую, что в душе вспыхивает острая потребность увидеть Кайю, побыть с ней.

Но я приехал сюда ради Яана, а не Кайи, напоминаю я себе. Все еще приходится напоминать. Пока что я до конца не справился с этим наваждением.

На могиле Микеля, как и на маминой могиле, цветут желтые крокусы, а еще красивые, похожие на звезды цветочки; никак не могу запомнить их название.

От дома Маарджи до нынешнего жилища Кайи примерно двадцать минут езды на велосипеде; это старый, крытый соломой хутор, принадлежавший когда-то дяде Тоомаса. Последние шесть лет Тоомас без устали ремонтировал и реставрировал дом. Чтобы добраться туда, я прошу одолжить мне старый велосипед Микеля.

Но сначала, по настоянию Маарджи, надо принять душ. Как у любого настоящего бродяги, чистой смены белья у меня нет.

Я раздеваюсь в бывшей Кайиной комнате, где шесть лет назад мы предавались любви, пока Маарджи болтала по телефону с теткой. Здесь ничто не изменилось: на подоконнике та же фарфоровая белочка просит нас остановиться, пока не поздно. Но мы не остановились. И в результате на свет появился Яан, в этом у меня почти нет сомнений.

Грязь явно не желает расставаться со мной, особенно упорствуя на щиколотках. После душа я ощущаю запах от моей одежды, он куда крепче, чем я предполагал, но хотя бы не отталкивающий.

Убедившись, что я принял душ, Маарджи звонит Кайе; в потоке эстонской речи я улавливаю свое имя, оно настойчиво повторяется несколько раз, подкрепляемое кивками головы, словно на том конце провода Кайя выражает недоверие. После чего трубка переходит ко мне. Сердце подкатывает к самому горлу.

Голос у Кайи обеспокоенный, а не удивленный.

– Ты меня преследуешь?

– Нет.

– Нет?

– Кайя, пойми, я просто скучаю по Яану. В гостинице я проверил коробку с бумажными салфетками. Моя почти пуста. Мама умерла, жена меня бросила.

– Правда?

– Да.

Пауза. Кайя вздыхает. По-моему, на заднем плане слышится голос Яана.

– О Боже. Очень жаль твою маму.

– Зато жены не жаль, – почти шутливо добавляю я; надеюсь, она догадывается, что я улыбаюсь.

– Из-за меня, да?

– Нет, она ушла из-за *меня*.

Интересно, насколько разочаровал ее мой ответ.

— Ты не намерен увезти его отсюда?

— Похищение детей, вообще-то, не по моей части. Слушай, Кайя, мне надо тебе кое-что сказать. Идея безумная, но тут уж ничего не поделаешь. Сейчас обсуждать не хочу, это не для трубки.

— Для чего?

— Не по телефону.

— Тоомас, мой муж, знает про тебя. Он будет тревожиться.

— Скажи ему, пусть зря не тревожится. Не настолько все безумно. Я не хочу давить на тебя, но все-таки у меня есть какое-то... гм... Мне же *позволено* видеться с сыном, верно?

— Да, когда *тебе* удобно.

— Кайя, это нечестно. Сама убедишься, когда услышишь то, что я хочу сказать. Прошу тебя.

Велосипед висит на крюке в котельной, он похож на гигантские очки на носу великана. Какое-то время уходит на то, чтобы накачать шины, одна из-за долгого бездействия все равно потихонечку спускает. Поскольку ехать надо по грунтовой дороге, придется разок-другой остановиться, чтобы ее подкачать. Седло тоже разболталось, я едва не сползаю с него назад, на раму. Детский набор для крикета висит у меня за спиной наподобие гитары; для верности я привязал его к себе бечевкой. Случайный прохожий удивленно таращится на меня. В бесформенной шляпе и чумазой туристской куртке я наверняка сойду за образцового английского чудака.

Или за отъявленного мерзавца.

Хутор стоит в стороне от основной щебеночной дороги, к нему ведет заросшая тропа; поодаль высится большая церковь, в войну разрушенная и потом частично восстановленная. Я проезжаю мимо двух-трех домишек, притулившихся у проселка; возле каждого — небольшие грядки с овощной рассадой и ветхие машины. Старик со старухой приветственно машут мне руками. Один заброшенный дом держится только благодаря набитым крест-накрест балкам и еще не обсыпавшейся дранке; рядом темнеет распахнутый настежь сарай. Еду еще пять минут мимо распускающей листочки березовой рощицы и пары лужков и натыкаюсь взглядом на деревянный почтовый ящик в виде башни со шпилем. Чтобы опустить в ящик послание, надо открыть увенчанную шпилем крышу.

Вот и приземистый, вросший в землю хутор, из соломенной крыши выглядывают чердачные окошки; рядом покосившийся амбар; зеленый двор. Все скромно и безыскусно красиво. Деревянные скульптуры в виде гигантских штопоров придают хутору нотку богемности. Старый синий “сааб” с перекрашенной в фиолетовый цвет правой передней дверцей

смахивает на типичную живописную развалюху семидесятых годов; в таких любили странствовать английские хиппи. Окружающие дом деревья — в основном березы и ольха — дружно одеваются молодой листвой. Время от времени сквозь облака проглядывает солнце, воздух полон запахами травы, лесного перегноя и навоза. Несколько кур, наслаждаясь свободой, самозабвенно роются в земле; белые птицы (по-моему, утки) плещутся в корыте, взбираясь в него по гладко оструганной доске.

Такое впечатление, что дом замкнулся в себе, целиком погрузившись в свою тихую жизнь, но никакой неприязни от него не исходит.

Они меня ждут. Тоомас — величина неизвестная, возможно, с ним будет нелегко. Или, напротив, он окажется открытым добродушным малым с серьгой в ухе.

Зад ноет после езды на шатком седле. Я делаю глубокий вдох и расправляю плечи. Мне нужно держаться уверенно.

Ступив на расшатанное крыльцо, звоню в маленький, как у Пярта, колокольчик, висящий на неполированной двери. Все это похоже на сказку. Кто-то набрал в старинную тарелку плодов то ли шиповника, то ли розы и поставил ее на полку. Созревшие несколько месяцев назад ягоды и сейчас сленят кровавым багрянцем. К двери никто не подходит. Я громко стучу в нее костяшками пальцев. Нет ответа. Сжавшись, налегаю плечом на тяжелую дверь, она приоткрывается, я заглядываю внутрь и вижу перед собой грудь Кайи. Кое-как распрямляю спину и улыбаюсь.

— Привет! — произносит она. — Боже, ну и шляпа!

— Я звонил, но... — смущенно бормочу я.

— У нас играло радио.

— Ничего, это пустяки.

— Ну, проходи, пожалуйста.

Шаркая ногами и мысленно кляня себя, вхожу; лучше бы я не приезжал. Кайя прикладывает ладони к щекам:

— Безумие какое-то!

— Точно, — соглашаюсь я. — Прошу прощения.

— А что у тебя с носом и головой? *Опять* кто-то ударил?

— Вообще-то, я собирался сказать, что упал в Лондоне с велосипеда. На самом деле меня и правда побили. В Таллинне. Пьяные англичане.

— Ты сам напросился?

— Возможно.

— Ты тоже был пьян?

— Что ты, как стеклышко. Ни в одном глазу.

Кайя хмурит брови. Без толку все это. Мне здесь не место. Я поворачиваюсь, чтобы уйти, но тут она зовет Яана. Ответа

нет. Она велит мне ждать и, открыв низкую дверь в углу комнаты, выходит.

Я жду; чувство такое, будто я в утлой лодчонке тихонько плыву над бездной моей души.

Вся обстановка, за исключением отливающей металлическим блеском стереосистемы, сделана из темного дерева. Воздух в комнате чуть отдает торфом, землей, — возможно, от горелых поленьев в очаге. Запах напоминает мне те мелкие болотца, что чавкали у меня под ногами в дни моих лесных странствий, но и в нем есть своя приятность.

— Смотри-ка, Яан, кто приехал: наш английский друг Джек!

Я разом, не отдавая себе отчета, опускаюсь на колени и, обхватив Яана руками, крепко прижимаю к себе. Затем расстегиваю полиэтиленовый футляр и вынимаю набор для крикета.

— Где у нас поле, капитан?

Яан не сводит с набора округлившихся глаз. Я не спеша вытаскиваю биту, точно меч из ножен.

— Это тебе. Ах да, и вот это тоже.

Я извлекаю из внутреннего кармана куртки пачку мятых листков. Но Яана больше интересует бита.

— Что это, Яан? — спрашивает Кайя.

Он мельком смотрит на листки и, продолжая нашаривать в глубоком футляре мяч, равнодушно бросает:

— Музыка.

— Это партитура, — объясняю я. — Специально для тебя. Называется "Семикратное ура Яану". Семь этюдов для альта.

Кайя наклоняется к нам:

— Это ты написал?

— Конечно, кто же еще, — сидя на корточках, отвечаю я. — На этой неделе. Тут самые разные звуки — птичьи трели, журчанье воды, шум ветра в кронах деревьев.

— Замечательно! — восклицает Кайя.

— Работа у меня такая, — с улыбкой говорю я.

Раздается скрип половиц, и в комнату, вытирая тряпкой руки, входит Тоомас. Я встаю во весь рост, листки с партитурой по-прежнему зажаты в руке; тело мое под замызганной рубашкой и штанами так и норовит виновато согнуться.

— Здрасьте. Я — Джек.

— Думаю, ему это и так ясно, — замечает Кайя с неопределенной улыбкой, от которой я на минуту тушуюсь. Она впервые внимательно смотрит на мои одежки:

— Слушай, чем ты тут занимался?!

— Передвигал камни в ручьях, настраивал музыку воды, — говорю я, чувствуя себя явно лишним.

Первая неожиданность: Тоомас невысок, жилист, серег нет и в помине. Следующий сюрприз: он здоровается сдержанно, не проявляя особого радушия и не выпуская из рук тряпки. Чисто выбрит, на затылке болтается хвостик светлых волос, под светло-голубыми глазами темные круги усталости. Ах да, Кайю он знает еще со школы. Они, наверно, сверстники.

Английским Тоомас почти не владеет. Мы жмем друг другу руки; его ладонь — точно наждачная бумага. Рукопожатие крепкое. В этом малом чувствуется боевой дух, что-то вроде застарелой злости.

— Не беспокойся. Я намерен учить эстонский язык, — объявляю я. — Tuletikk. Tikutoos. Valgumihkel. Rebane[1].

Тоомас напрягает губы — возможно, в хмурой улыбке — и что-то роняет Кайе.

— Он говорит, эстонский хорошо очищает пищеварительную систему.

Видимо, Тоомас так шутит; я киваю и улыбаюсь. Но он уже развернулся и вышел, оставив нас одних.

Первым делом Кайя ведет меня на небольшую экскурсию по хутору. Альт Яна лежит в его комнатке под крышей. В глаза бросается фотография, снятая в Кенсингтон-гарденз: я бегу с красным мячом, можно подумать, что у меня запущенный рахит. Снимок приколот к пробковой плите, рядом другие фотографии Лондона: накренившийся Тауэр; Кайя рядом с конным гвардейцем — от коня и гвардейца на снимке ровно половина; Яан в зоопарке, перед слоновником. Малыш с гордостью показывает свою фотовыставку.

— Тебе понравилось в Лондоне?

Яан пожимает плечами, вопросительно глядя на мать.

— Говори, что думаешь, Яанни, — ободряет сына Кайя.

— Меня ударили, — буркает Яан.

Я сочувственно киваю:

— Ага, мне такое тоже знакомо.

— Деньги, деньги, деньги, — вдруг вмешивается Кайя. — Больше ничего. Это единственное, что там интересует людей.

— Верно. Ты совершенно права. Это очень печально.

Яан решается опробовать первое “Ура”. Сначала он с трудом разбирает мои карандашные каракули, к тому же листки заляпаны грязью и покоробились от воды из потекшей бутылки. Но за полчаса, не без моих подсказок, Яан пьесу одолевает. И вот мы сидим, боясь шевельнуться, а он четыре минуты, как и задумано, играет ее от начала до конца. Пора-

1. Спичка. Коробок. Зажигалка. Лиса (*эстон.*).

зительное чутье правильной фразировки у этого мальчишки, думаю я.

И еще: я не ожидал, что он так быстро освоит эту постоянную смену заунывности и радости, напоминающую маленького ребенка с лицом старика, ребенка, который не может и, возможно, не хочет умереть.

Мне, конечно, приходится делать вид, что я почесываю щеки под глазами — на самом деле я украдкой смахиваю пальцами соленую влагу. Потом шумно сморкаюсь.

— Сенная лихорадка, — объясняю я.

— Ты сыграл замечательно, сынок, — отвернувшись к окну, говорит Кайя необычно высоким голосом, как будто ей стиснули горло.

Мы выходим во двор. Куры попались на редкость ленивые, жалуется Кайя, а дачных кур, все двадцать с чем-то штук, передушил лис, и теперь приходится покупать яйца у дальней родни. А купить такое количество новых кур на острове нынче трудно.

— Лис передушил?

— Ну да, старый грустный лис, которого держали в клетке. Чтобы отвадить других лисиц. Но его кто-то выпустил.

Я изображаю удивление:

— Зачем?

— Не знаю. Может, ребятишки. А лис хитрющий, как и положено лису. Но, может быть, он спятил, — она крутит пальцем у виска. — Заключенные, сбежав из тюрьмы, нередко мешаются умом. — И, понизив голос, чтобы не слышал Яан, добавляет: — Кругом все было в крови и перьях. Ни одна курица не уцелела. Жуть.

Я понимающе киваю, снедаемый противоречивыми чувствами; на душе смутно и темно.

— Может быть, это натворил не тот лис...

— Может быть. Но мы подумали и решили, что это он.

Надо будет купить им два десятка кур. Но прежде надо, видимо, заняться лисом. Эта мысль немного пугает, особенно когда подумаю, что придется его выслеживать; так и вижу вспыхивающие в лесной чаще желтые глаза. Он же увертлив, зверюга.

Мы заходим в сарай и смотрим, как Тоомас строгает рубанком здоровенный брус, из видавшего виды стереомагнитофона несется уханье рока в исполнении "Эй-Си/Ди-Си"[1]. Приятный запах опилок чуть-чуть отдает марихуаной. Тоомас

1. "Эй-Си/Ди-Си" — австралийская рок-группа, созданная в 1973 г.

не оборачивается к нам, но спина его не выражает недружелюбия. Только полную сосредоточенность.

Мы выходим из сарая.

– Надо будет поработать над его музыкальным вкусом, – хмыкаю я.

Яан чуть не лопается от нетерпения. Он крепко прижимает крикетный набор к груди, будто это его спасательный плотик.

– Unkalalunka Джек, – произносит он.

– Это про меня? Ничего себе! Похоже на имя какого-нибудь зулусского божка.

– Пошли на берег играть в крикет, – предлагает Кайя. – Надевай куртку, Яан.

В конце тропы, за болотистым лугом и маленькой, заросшей камышами бухточкой, притаилось море. Тропа поворачивает вправо и ярдов сто повторяет линию берега, потом резко сворачивает влево, вьется вдоль края затопляемой морем низины и, прорезав невысокие дюны, выходит на открытый песчаный берег. Нас сразу окутывает шепот и вздохи волн, песчаный тростник колет ноги. Песок белый, плотный. Дует прохладный ветер, на воде играют блики света. За низиной к самому песку подступают раскидистые деревья, извилистый берег скрывается вдали; под свежим ветром тополя машут ветвями, усеянными блестящими зелеными листиками. Удивительное, нереально красивое зрелище – будто сошедшее с картины восемнадцатого века.

Крикет Яану по-прежнему не дается, не важно, со временем научится, думаю я. Мы организуем на острове крикетную команду. Я волнуюсь, и моя подача оставляет желать лучшего. Делаю попытку подать сверху и с удивлением чую исходящий от моей рубахи тяжелый дух. Кайя наблюдает за мной сзади, как полевой игрок на “срезке”. Потом сама подает, причем снизу и довольно удачно, а когда я отбиваю мяч в густую пену прибоя, она пронзительно, по-девчачьи визжит от восторга.

Яан, хромая и переваливаясь, бежит за мячом и выхватывает его из воды.

– Сюда, Яанни! Сюда! – во все горло кричит Кайя.

Она подпрыгивает на месте, неистово машет руками, а я тем временем тяжело топаю перед калиткой то в одну, то в другую сторону – три, четыре, пять раз... Наконец, дав им возможность меня обыграть, отчаянно плюхаюсь на песок, но, разумеется, поздно: с громким воплем Кайя бьет по мячу и сшибает с калитки длинную перекладину. Едва ли Тоомас способен дурачиться с ними так, как я.

На обратном пути я беру Яана за руку и чувствую, как сжимается его ладошка, как необходимо ему держаться за отцовскую руку. В этом его движении чувствуется надежда, не только потребность. А мне хочется кричать в голос. Когда же Кайя откроет Яану правду?

Это твой отец, Яанни. Твой папа.

Мы останавливаемся у заброшенного дома и рассматриваем его. Кайя говорит, что это был редкий образчик исконной островной архитектуры. Но представить его в прошлом блеске трудно, выглядит он прежалко. Оконные стекла затканы паутиной, соломенная крыша поросла темно-зеленым мхом. Черные полиэтиленовые полотнища развеваются и хлопают на ветру. Из полусгнивших зарослей хмеля оленьими рогами торчит руль ржавого велосипеда.

— Как грустно, что у тебя умерла мать, — говорит Кайя.

— Да, меня совсем выбило из колеи, хотя этого можно было ожидать.

— Из колеи?

— Ну, то есть сильный удар, и вдобавок внезапный.

Она неуверенно кивает головой. По-моему, я несу чушь. Слишком многое надо объяснять.

— Раньше я ездила сюда с отцом, — вдруг роняет Кайя. — Мы навещали страдавшую артритом старуху. Она рассказывала нам про войну. Всюду валялись трупы. Жуть. Ее родные погибли. Им перерезали горло. И вон в том сарае развесили тела, как туши.

Яан бросает мяч о покоробленную стену сарая. Я храню молчание, оно густеет и застывает, превращаясь в историю, а история свертывается в шар; этот шар молчания не исчезает, а продолжает существовать в сознании каждого.

Опять у меня в ботинках песок Хааремаа. Здесь я чувствую себя дома. У каждого человека есть на земле место, где он нутром, совершенно неожиданно, чувствует себя дома, даже если видит это место мельком, из окна поезда или машины. Мне нравится снова ощущать в ботинках песок Хааремаа.

— Их больше нет, — вполголоса заключает Кайя. — Куда они делись, не знаю. Мне кажется, они были к этому готовы.

— Улетели?

— Думаю.

— Куда-нибудь в хорошие края... — Я киваю, надеясь продолжить разговор. — Может, на белые облака. Понимаешь? Туда, куда улетают умершие.

Мы поднимаем глаза к небу. Синева подернута бело-серой дымкой с отдельными промоинами, но я имел в виду нечто другое.

– Возможно. По крайней мере, я на это надеюсь.

Кажется, что небо надвигается на вершины деревьев. Я не очень понимаю, о ком она сейчас говорит.

– Знаешь, тогда было чувство, что мы... мы оба... совпаденили.

– Совпали, – поправляю я.

– Может быть.

Сдается мне, что она не случайно изобрела это слово "совпаденить", вероятно, оно точнее передает ее мысль. Я ведь и сам частенько ощущаю себя лишь совпадением одного и другого моего "я". Может, это относится и к мертвым? Или к нашим воспоминаниям. Или к людям, которых мы встречаем или не встречаем на жизненном пути, либо даже не даем себе труда познакомиться с ними поближе. Я сейчас в чужой стране, на пустынном острове, здесь даже воздух другой. И все-таки у меня уже есть тут свое прошлое.

Кайя, отмечаю про себя, больше не курит. Не исключено, что она курила только в Лондоне, в этом стресс-сити номер один. Мы с ней смотрим, как Яан бегает с битой наперевес, будто это винтовка, и издает звуки, напоминающие грохот взрывов. Мне хочется сказать что-то умное про его забаву, про положение в мире, но опасаюсь, что любую мою фразу она воспримет как критику ее методов воспитания.

Стоя перед пустым сараем, провонявшим гнилым сеном, точно кошачьей мочой, я даю себе слово *никогда* не рассказывать ей про лиса, про то, что освободил его я. Во всяком случае, до глубокой старости.

Она смотрит на меня, уголок губ у нее припух, такое впечатление, что она знает, о чем я думаю. Под ее загадочным взглядом я отворачиваюсь и смотрю, как Яан машет битой по нежной молодой травке.

Маарджи пригласила нас на ужин. Прежде чем все мы усядемся в старенький синий "сааб" с фиолетовой дверцей, я рассказываю Кайе о том, что произошло между мной и Милли. Всю катастрофическую историю, вплоть до нашего разрыва и моих скитаний по Хааремаа. И о своих планах тоже.

– Тебе не в чем себя упрекнуть, – заключаю я, но по лицу Кайи вижу, что она и не собиралась себя упрекать. Все это заняло ровно двадцать минут.

Я поражен: она не выказывает ни малейшего удивления; невозмутимо попивая зеленый чай, слушает мой рассказ так, будто уже давно все знает. Затем ставит на проигрыватель диск, который прислала на местное радио одна студия звукозаписи. Сейчас, к моему удивлению, поет группа "Каслдаун", недавно возникшая и еще не раскрученная; она мне нравит-

ся. Песня называется “Стоя рядом”. Из сарая доносится вой электропилы.

— Эта песня мне знакома, — говорю я. — Изящная, по-настоящему глубокая. И замечательная гитара со стальным медиатором. Здóрово.

— Обожаю эту композицию, — признается Кайя.

— Только грустная. Очередная горько-сладкая песня о любви.

Она подхватывает с земли мяч, откатывает его назад к Яану, и он продолжает игру: бросает мяч о стенку и ловит.

— Слушай, а как же твой грандиозный план? Я должна сказать Тоомасу.

— Что-то может помешать?

— Я на третьем месяце беременности. Это не помеха.

— О, поздравляю! — с чуть излишней горячностью восклицаю я. — По всему видно, Тоомас — человек хороший.

Она выслушивает мою эмоциональную речь, а я внутренне поражаюсь, до чего мое напускное добродушие напоминает ту подчеркнутую благожелательность, с которой мать в далеком прошлом отзывалась о каком-нибудь новом прыщавом дружке младшего сыночка.

— Через несколько недель у него день рождения, ему исполнится тридцать. Отмечать будем на даче. Приезжай, познакомишься с кучей людей. Новые люди в твоей новой жизни. Будет огромный торт. Я приготовлю. Еще гитара. Пиво. Танцы. Летняя вечеринка.

— Очень мило с твоей стороны.

— Ты делаешь это ради Яана, не ради меня. Я понимаю.

Слова ее звучат как приказ. Удивительно — неужели известие про ее беременность так гнетуще на меня подействовало?

— Кстати, насчет моей работы, моей музыки, — поспешно продолжаю я. — Мне кажется, я написал для английского радио свою лучшую пьесу. Называется “Серые дни”. И другие напишу, не обязательно серые. Самых разных цветов.

Она смотрит мне прямо в глаза. Они у нее определенно сине-зеленые, с сероватым ободком и очень большие.

— Я рада, что ты так говоришь. Сейчас я тебе верую.

Я ерзаю на стуле. Пытаюсь собраться с мыслями.

— Слушай... Теперь я вроде бы набрался ума-разума. Можешь за меня не беспокоиться. Что до Милли, она, в общем, довольна жизнью и не собирается меня потрошить. Могу иногда ездить в Англию, навещать отца, друзей. Давать концерты, понимаешь? Скажем, раз или два в год, на пару недель. Надеюсь, будут кое-какие приглашения. От Таллинна все — рукой

подать. И кататься по Европе нынче — дешевле грибов, верно? Скажу без лести... по моему... по-моему, мы неплохо ладим.

— Мы обязаны ладить.

Я разглядываю свои лежащие на столе руки. Под поломанными ногтями грязь; на костяшках пальцев пятна въевшейся в кожу смолы. Вмятина от обручального кольца почти заровнялась — будто след на мокром песке. Так и прошлое исчезает — будто и не было. Внезапно чувствую острую боль в боку, словно ребро выражает свое несогласие с этой мыслью.

— Я намерен вкалывать, — продолжаю я. — Никуда не денешься, придется. Жить-то надо. Вернее, выживать. Кормиться худо-бедно. Для меня это ясно как божий день. Очень долгое время я был избавлен от этих забот. Но когда денег куры не клюют, добра не жди. Мне кажется, рано или поздно бабло убивает все благие порывы. Абсолютно *все*.

Кайя кивает головой. Наступает короткое молчание, слышен только стук мяча о деревянную стену. И негромкое, напоминающее комариный писк, завывание электропилы. Я перевожу дух.

— Это хорошо, — наконец произносит Кайя. — Ты стал на верный путь. Я так чувствую. Теперь понимаешь, *зачем* ты здесь, на земле. Не в небе. На *этой* земле. — Она рассеянно трет большим пальцем сучок в гладкой столешнице. — Тут, на Хааремаа, ты познакомишься с каким-нибудь хорошим человеком. Напишешь красивую музыку. Можешь сочинять для моей радиостанции.

— Охотно, — отзываюсь я.

На душе сразу потеплело. Такое чувство, что я брел, не зная куда, — даже пятился задом, наугад, — и, обернувшись, вдруг вижу распахнувшийся передо мной простор. Он там был всегда, просто я этого не понимал. А нужно было всего лишь обернуться.

— Если, конечно, найду жилье, от которого можно добраться куда надо на велосипеде.

— Только больше не падай.

Я киваю, улыбаюсь, и губа в том месте, где накладывали швы, отзывается болью.

— А еще мне понадобится более или менее сносный рояль. Свой-то я продал.

— Так есть дача, — говорит Кайя.

Наверно, она шутит. Мы смотрим на Яана; он все еще бросает мяч о самую большую балку. Ломкий голос смолкает. Кайя выключает стереомагнитофон и кладет пульт на стол.

— Есть дача, — повторяет она. — Где мы пели запрещенные песни. Можно ее снять. Наверно.

— Ну, спасибо, а я пока буду подыскивать, — говорю я, дивясь про себя разумности такого плана.

— Подыскивать?

— Да, хочу подыскать и купить земельный участок. Чтобы поставить там юрту.

— Юрту? Как у монголов?

— Я, представь, ничего не преувеличиваю: денег у меня теперь в обрез.

— Юрту! — она хохочет, прижимая ладони к щекам. — Ты сумасшедший!

— Полный псих, — соглашаюсь я. — Совсем спятил. Она стоит каких-то пару тысяч. Круглая. Теплая. Что еще надо?

— Можно подумать, ты ее *мне* продаешь.

— Вовсе нет. Я ее продаю себе.

— И ты можешь сделать ее... Как это говорится?

— Своим домом?

— Нет, классной! Крутой!

— *Крутой?* Ни в коем случае. — Я мотаю головой. Кайя с улыбкой смотрит на меня. — Эта моя мечта ни за что на свете не станет крутой. Просто в ней, как в фокусе, сойдутся все мечты. Вот так. А крутизна — не наш профиль, — заключаю я и тоже расплываюсь в улыбке.

Да, я тоже улыбаюсь. Ухмыляюсь во весь рот. Не улыбается один Яан. Он хмуро смотрит на нас, рассеянно перебрасывая мяч с одной руки на другую. Ах да, я же обещал показать ему во дворе еще несколько бросков по калитке, прежде чем мы отправимся к Маарджи, и малыш уже замучился ждать. Ему не терпится начать игру.

"Смотри, это твой шанс узнать,
как выглядит изнутри
то, на что ты так долго глядел снаружи..."

И. Бродский *Развивая Платона*

Покупая книгу, мы не столь часто задумываемся о том, какой путь прошла авторская рукопись, прежде чем занять свое место на витрине.

Взаимоотношения между писателем и редактором, конкуренция издательств, рекламные туры — вот лишь некоторые составляющие литературной кухни, которые, как правило, скрыты от читателя, притом что зачастую именно они определяют, получит книга всеобщее признание или останется незамеченной.

Мы предлагаем читателю своеобразный путеводитель по литературным мастерским. Открывают его фрагменты из автобиографической книги Дианы Этхилл "Вернуть зачеркнутое. Из жизни редактора". Этхилл, основатель издательства "Андре Дейч", подарившего читающему миру Джека Керуака, Эндрю Робинсона и множество других имен, известна как тонкий публицист, блестящий редактор и интересный рассказчик. Сборник "Вернуть зачеркнутое" посвящен ее встречам с писателями и секретам редакторского дела, он дает картину целой литературной эпохи, видевшей несколько поколений писателей. Книга Дианы Этхилл в чем-то сродни детективному роману: знакомя читателя с целой галереей не придуманных, известных на весь мир персонажей (таких как Видиа Найпол, Гор Видал и Брайан Мур), она погружает его в самый центр литературных интриг тех лет.

Вслед за Дианой Этхилл своими соображениями по поводу литературного процесса делятся и герои ее книги — Мордехай Рихлер и Норман Мейлер. Эссе Рихлера "Дневник гастролирующего писателя" — это ироничное описание гастрольных будней, яркое свидетельство того, что литературная жизнь не сводится к одному творчеству. Зарисовки Мейлера раскрывают перед читателем секрет создания бестселлера и показывают основные рычаги издательского бизнеса.

Надеемся, что взгляд "изнутри" на процесс создания книги позволит читателю по-новому оценить хорошую литературу, сумевшую пробиться на прилавки.

Лидия Хесед

© Лидия Хесед. Вступление, 2013
Составитель выражает благодарность Е. Кузнецовой и И. Мокину за помощь в подготовке материала.

Диана Этхилл

Вернуть зачеркнутое. Из жизни редактора

Фрагменты книги

Перевод с английского Лидии Хесед

Норман Мейлер

Самой значительной книгой в истории издательства “Аллан Уингейт” стал первый роман Нормана Мейлера “Нагие и мертвые”. Нам принес его совершенно отчаявшийся агент: шесть лондонских издательств отказались его печатать – несмотря на то, что он вызвал восхищение у всей Америки. Это был тот случай, когда таинственным образом сразу понимаешь, что книга обречена на успех – тогда подобные вещи писали только в Штатах. Вообще-то дела у нас шли неплохо, и мы уже собрали внушительный портфель, но наше издательство по-прежнему было слишком маленьким. Авторы крупных произведений не стали бы к нам обращаться – по крайней мере не в первую очередь, да если честно, и не в десятую, разве только их отказывались публиковать все остальные.

Это военный роман, повествующий о событиях на островах Тихого океана (где в свое время служил сам Мейлер) и описывающий самый настоящий ад. Мейлер хотел показать характеры солдат и их переживания как можно правдоподобнее, хотел, чтобы его герои говорили так же, как его знакомые, – например, употребляли бы слова “хер” и “херовый”, причем довольно часто. Американские издатели заявили, что, хоть книга и очень хороша, ни они, ни кто-либо другой не решится издать ее без купюр. Я думаю, было вполне допустимо напечатать “х..”, но тогда все диалоги состояли бы из отточий: “хер” и “херовый” встречались слишком уж часто. Было решено заменить их на “хрен” и “хреновый”.

Тут можно поспорить и заявить, что американский издатель, предложивший такую замену, выглядит еще глупее сво-

© Diana Athill, 2000
© Лидия Хесед. Перевод, 2013

их английских коллег, которые вовсе отказались публиковать книгу из-за наличия в ней обсценной лексики. Если исходить из того, что слово "хер" непечатное, то чем лучше другое слово, которое звучит почти так же и обозначает то же самое? Этот пример отлично показывает, насколько бессмысленно табуировать те или иные слова.

Мы принялись за дело. Последний раз я перечитывала роман много лет назад, но до сих пор отчетливо помню тот эпизод, где усталые солдаты пытаются выкатить из грязи орудие, — именно тогда я поняла, что книга и правда хороша, заставляет работать воображение. Мы, конечно, хотели вернуть исходный вариант, но не посмели, и, как оказалось впоследствии, благоразумно.

За три недели до публикации мы разослали экземпляры в прессу для рецензий, и так вышло, что редактор литературной странички "Санди таймс" оставил свой экземпляр на работе. Главный редактор, мужчина предпенсионного возраста, зачем-то зашел к нему и натолкнулся на книгу. В глаза ему сразу же бросилось слово "хрен", и снова "хрен", и дальше "хрен" за "хреном". В воскресенье на первой полосе "Санди таймс" появился короткий, но яростный протест, написанный самим главным редактором и направленный против публикации гнусной книжонки, которую (цитирую дословно) "ни один порядочный человек не оставит там, где ее могут увидеть жена и дети".

В то воскресенье я, как обычно, спала допоздна и поэтому страшно разозлилась, когда в половине девятого кто-то позвонил в дверь. На пороге стоял Андре[1], небритый, в плаще и брюках, надетых прямо на пижаму, с номером "Санди таймс" в руках.

— Читай!

— О Господи!

Я, как и он, разволновалась. Книгу ведь уже напечатали и отдали в переплет, причем мы сразу заказали огромный тираж; это был большой дорогостоящий проект... если теперь ее запретят, мы окажемся на грани провала. "Одевайся и пошли! — сказал Андре. — Нужно отправить экземпляр Десмонду Маккарти — адрес у меня есть".

Маккарти был самый влиятельный книжный обозреватель тех лет. Мы второпях настрочили ему записку, в кото-

1. Андре Дейч (1917–2000) — британский издатель. В 1952 г. при поддержке Дианы Этхилл основал издательство, в котором Этхилл проработала до выхода на пенсию в 1993 г. (*Здесь и далее, кроме специально оговоренных случаев, – прим. перев.*)

рой умоляли прочесть роман и заявить публично, что ничего непристойного в нем нет, а потом сели в машину и помчались к нему домой — бросить книгу в почтовый ящик. Мы подумали, что в воскресенье утром Маккарти будет не в восторге от посетителей, и не стали настаивать на встрече. Теперь я понимаю, что польза от этой эскапады была только в одном: мы нашли чем заняться и не мучились пустыми догадками. В итоге, кажется, Маккарти отделался ничего не значащими фразами — иначе я бы запомнила.

Начиная со следующего утра, мы стали получать новые заказы, и, не будь мы на грани катастрофы, можно было бы праздновать победу. В то же время нам вручили официальный запрет на издание "Нагих и мертвых" до тех пор, пока генеральный прокурор, сэр Хартли Шоукросс, не рассмотрит дело и не даст разрешение на публикацию. Бумагу с запретом, кажется, доставил тот самый толстенький и добродушный полицейский следователь, который допрашивал нас все утро, — а может, кто-то другой, не помню.

В течение следующих двух-трех недель нас буквально завалили заказами, так что мы были просто не в состоянии их выполнять. Все поддерживали нас, как могли, и победа стала очевидна. В конце концов, Андре убедил одного знакомого депутата Палаты общин спросить на заседании: запрещает генеральный прокурор публикацию или нет? Ответ был "нет", хотя Шоукросс и процедил сквозь зубы, что книга отвратительная. Избавившись от одной финансовой проблемы, мы, по иронии судьбы, столкнулись с другой: пришлось оплатить несколько переизданий.

Благодаря этим приключениям мы обрели нечто гораздо большее, чем бестселлер или имя Нормана Мейлера в списке авторов. Неожиданно для самих себя мы превратились в маленькое, но храброе издательство, на которое стали обращать внимание новые перспективные писатели и их агенты. Когда Андре в следующий раз отправился в Нью-Йорк, ему устроили просто королевский прием.

М*ордехай* Р*ихлер и* Б*райан* М*ур*

Несколько дней назад я перечитала "Акробатов" — первый роман Рихлера, который мы опубликовали в 1954 году. Я не открывала его сорок пять лет. "Молодой начинающий автор, — думала я, — что тут скажешь?" Книга была действительно плохо написана; однако при всей своей неловкости она многое говорила о характере своего создателя... Мы как раз

искали новых авторов, и нам очень не хватало молодых талантов. Я, пожалуй, могу поздравить себя и Андре с тем, что мы заметили серьезность и честность Рихлера (об остроумии тогда еще речи не шло) и что своим будущим успехом он отчасти обязан нам.

В те годы Мордехай и сам был человеком-загадкой. Он понравился мне с первого дня знакомства, но я часто спрашивала себя почему — он же почти всегда молчал. Никогда еще не встречала человека столь неразговорчивого. Как можно сказать о ком-нибудь, что он щедрый, добрый, честный, да еще и не стесняется быть смешным, если он и слова не сказал? И все же до сих пор, не знаю почему, я была уверена: Мордехай именно такой. Вскоре я поняла: мне как раз то и нравилось, что он не любил болтать попусту. Казалось, что это человек, начисто лишенный всякой фальши; он и сейчас такой, хотя далеко не столь застенчив.

Именно о Мордехае Рихлере и о Брайане Муре, с которым он меня познакомил, я думала, когда писала о взаимоотношениях автора и издателя. Когда мы встретились, мне было тридцать семь, но война словно бы взяла в скобки несколько лет: теперь люди продолжали с прерванного места ту, довоенную, жизнь и, даже несмотря на шрамы, ощущали себя моложе своего возраста.

В моей жизни, как и в нашем списке авторов, появились два новых человека, что было очень приятно, хотя в те годы и могло показаться странным. Я встречала многих талантливых писателей, но впервые писатели стали моими друзьями. Кроме того, хотя в то время я об этом не задумывалась, это были первые двое мужчин, к которым я испытывала глубокую дружескую симпатию без всякого намека на влюбленность. Нас объединяло творчество, которое для них, а следовательно — и для меня, было важнее всего; мы относились друг к другу очень тепло, но к романтическим отношениям не стремились.

Я считала, что Мордехай мне ближе, но лучше знала Брайана — по крайней мере, так мне казалось: отчасти потому, что с Мордехаем я острее ощущала разницу в возрасте, отчасти из-за его молчаливости, отчасти из-за его женщин. Его первая жена, прелестное существо, была совершенно несносна, и в то же время на нее невозможно было обижаться. Из-за этого я все время чувствовала себя неловко и старалась пореже с ней встречаться. Вторая его жена, Флоренс, была ослепительная красавица. Кроме внешней привлекательности (заметной до сих пор), я нашла в ней множество других достоинств, за которые ее любили, как ни одну из моих знако-

мых. Однако, женившись на этой очаровательной женщине, Мордехай полностью посвятил себя семье (и вам стоит лишь прочитать "Версию Барни" — последний и, на мой взгляд, лучший его роман, — чтобы понять, что он познал все прелести coup de foudre[1]). Они вернулись в Канаду, и благодаря разделявшему нас расстоянию мы легче смирились с тем, что Мордехай больше с нами не сотрудничает.

К тому же еще до того, как мы расстались, мне посчастливилось наблюдать его триумф. Хотя второй и третий его романы были лучше первого, в них все еще сквозила юношеская серьезность, а вот в "Ученичестве Дадди Кравица" ее удалось разбавить остроумием — и роман произвел фурор. Если бы Мордехай добился признания уже после отъезда, я бы расстроилась. А так, напротив, гордилась. Последняя его книга, вышедшая у нас, — "Неподражаемый Атук", несмотря на несколько затянутый конец, все же настолько забавна, что я до сих пор смеюсь в голос, когда ее читаю. Вот почему у меня остались о Рихлере только самые теплые воспоминания. Но главное, почему я не печалилась: я отлично знала, зачем он уезжал, и сочла бы его дураком, если бы он поступил иначе. Мордехай зарабатывал на жизнь собственным пером. Ему нужно было обеспечивать растущую семью, и в другом месте ему были готовы платить больше, чем у нас. Если обычного издателя профессиональный инстинкт все время побуждает не упускать своего, то у издателей вроде нас есть одно достоинство: мы уверены, что хорошие книги надо печатать и неважно где. Конечно, хочется выпустить их самому, но, если их опубликует другой, это не конец света.

Именно Мордехай познакомил меня с Брайаном Муром. Сказал, что это его друг и что он написал удивительно хорошую книгу, которую нам надо постараться заполучить. Конечно, мне не следует умалять заслуги Андре, открывшего "Джудит Хирн". По его словам, он получил роман от нью-йоркского агента Брайана в последний день своей поездки в Америку, прочитал его в самолете и сразу понял, что должен его опубликовать. Правда, я думаю, Андре сам попросил книгу, о которой ему рассказывал Мордехай, но, как бы то ни было, он увидел, что роман хорошо написан. Я давно хотела прочесть эту книгу, и, когда она наконец дошла до меня, читать оказалось вдвойне приятно, ведь Брайан был другом Мордехая. Они встречались сначала в Париже, затем на родине Мордехая, в Канаде, где Брайан, уроженец Ирландии,

1. Coup de foudre — любовная страсть (*франц.*).

успел в свое время пожить, а вскоре после нашего знакомства он с семьей обосновался в Нью-Йорке.

Прежде чем написать роман "Джудит Хирн" (позднее переименованный в "Одинокую страсть Джудит Хирн" и вышедший под этим названием в США большим тиражом), Брайан выпустил под псевдонимом несколько детективов, чтобы заработать на хлеб. По его словам, это научило его работать с сюжетом: ведь по законам детективного жанра на каждой странице должно было что-то происходить. И все же, как бы ни был полезен этот опыт, он вовсе не объясняет появления "Джудит". В своей первой серьезной книге Брайан продемонстрировал безупречное владение целым арсеналом художественных приемов, потрясающее умение смотреть на мир глазами героев и явил свое особое мироощущение: трагическое, но без упоения трагедией. Для него это была просто реальность, с которой приходится иметь дело каждому.

<...>

В 1962 году я описала взаимоотношения между автором и издателем следующим образом:

...Все очень просто. Сначала издатель читает книгу и лишь потом, если книга хорошая, решает встретиться с автором, совершенно не думая о том, что это окажется за человек. Он изначально настроен доброжелательно: книга ему понравилась. Автор тоже настроен доброжелательно: его оценили. При этом на тесную дружбу никто не рассчитывает. Приятное начало ни к чему не обязывает и в то же время не препятствует взаимной симпатии.

Все это правда, но лишь до некоторой степени. Наверное, это покажется странным, а кому-то, возможно, трогательным, но все шестнадцать лет работы я именно так себя и вела. Поначалу все легко, а дальше, как правило, возникают трудности. Сейчас я бы не сказала, что дружбы — настоящей дружбы между автором и издателем — совсем не бывает, но это большая редкость.

В. С. Н*айпол*

Хорошим издателям полагается "открывать" новых авторов; наверно, так обычно и происходит. Ко мне авторы шли сами. С Видиа Найполом мы познакомились через Эндрю Солки (они вместе работали на Би-би-си), а с Эндрю меня познакомил Мордехай Рихлер, когда мы с ним были в Сохо и зашли в какой-то клуб. Как только Эндрю услышал, что я ре-

дактирую Мордехая, он спросил, нельзя ли направить к нам его друга, который только что написал очень хорошую книгу. Через несколько дней мы встретились с Видиа в небольшой кофейне рядом с нашим издательством, и он передал мне рукопись "Улицы Мигель".

Я пришла в восторг, одно меня смущало: это были рассказы (хотя и объединенные в цикл), а издательство "Андре Дейч" строго придерживалось правила: рассказы продаются только у известных авторов. Поэтому прежде чем говорить об этой книге с Андре, я показала ее Фрэнсису Уиндхэму, который по совместительству работал у нас литературным консультантом. Фрэнсису она сразу пришлась по душе. Его голос и оказался решающим. Сам Андре не одобрял моего энтузиазма: еще бы, какой-то неизвестный автор из Вест-Индии, пишет о забытом богом месте и о людях, которые говорят на непонятном диалекте. Думаю, он был даже рад, что это рассказы, а не роман — еще один повод отказать. Однако мы с Фрэнсисом объединили силы, и Андре не устоял. В конце концов, он велел нам узнать, работает ли автор над каким-нибудь романом, и если да, то сначала мы издадим этот роман, а уж потом, в случае успеха, и рассказы. К счастью, в то время Видиа как раз работал над "Таинственным массажистом".

На самом деле, можно было начать и с "Улицы Мигель" — впоследствии критики удостоили сборник большей похвалы, чем два первых романа Найпола, тем более что в середине пятидесятых годов на "чернокожих" (к ним в Британии относили и Видиа) рецензии писали охотнее, чем на "белых", а рецензии тогда определяли читательские предпочтения, не то что теперь. Издатели и критики понимали, что в колониях, только что получивших независимость, зазвучали молодые, сильные голоса, и они старались эти голоса поддерживать: отчасти из интереса, отчасти из убеждения, быть может, ложного, что растущий книжный рынок требует новых авторов. Эта тенденция вскоре сошла на нет, но благодаря ей было открыто несколько ярких писателей.

Уйти от нас Видиа в ту пору не решался; конечно, нам недоставало деловой хватки, но ему это не мешало. Первые три книги — "Таинственный массажист", "Голосует Эльвира" и "Улица Мигель" — не принесли нам ни гроша. Тем не менее мы не сомневались, что Видиа ждет известность: о нем писали и сам он писал рецензии, спрос на которые резко вырос после успеха его романов. Он был замечательным обозревателем, его читали охотнее, чем многих других критиков. Именно благодаря этим рецензиям, а не ранним его книгам

мы и поняли, что перед нами серьезный писатель, а не еще один “пишущий провинциал”.

Мы стали часто встречаться, мне нравились его рассуждения о людях и о литературе, порой весьма забавные. Как-то раз, вскоре после знакомства, Видиа заявил, что в годы своей учебы в Оксфорде, который ненавидел всей душой, он совершил отвратительный поступок, о котором никогда никому не расскажет. <...> Мне так и не удалось вытянуть из него эту тайну, и я оставалась в неведении, пока мне не рассказали, что в Оксфорде у Видиа случился нервный срыв.

Я огорчилась, узнав, что ему было тяжело жить в том месте, которое я так любила. <...> Мне ни разу не пришло в голову, что он мог чувствовать себя чужим; ведь Оксфорд был так не похож на все, к чему он привык, да еще приходилось сносить оскорбления на расовой почве. Напротив, мне казалось, что такого серьезного человека не могут задеть подобные вещи.

<...>

В те времена я еще не знала, почему он уехал из Тринидада, но, даже если бы и знала, все равно не поняла бы, как можно отказаться от собственной родины. В дальнейшем книги Видиа (не в последнюю очередь “Дорога в мир”, которую он написал тридцать семь лет спустя) научили меня очень многому; но тогда мне было трудно представить, как может человек существовать сам по себе, не имея дома ни в родной стране, ни где-либо еще. Я также не вполне сознавала, насколько тяжело и утомительно жить в подобных условиях (по молодости кажется, что так и надо). Смыслом, подлинной сутью жизни для Видиа было творчество: у него был великий дар — но ничего, кроме дара. Он утверждал, что и десять лет спустя, уже обеспечив себе определенную независимость, всякий раз мучился в поисках материала для новой книги, а потом — для следующей и так далее. Им руководил не страх за собственное благосостояние, а страх потерять себя. Поэтому очевидно, что в начале своего творческого пути он ходил по краю. При этом внешне, что странно, он производил впечатление совершенно уверенного в себе человека[1]. <...>

В шестидесятые годы я дважды ездила на только что получившие независимость острова Тринидад и Тобаго, оба раза — с

1. Впоследствии я прочитала переписку Видиа с отцом, которую он вел, находясь в Оксфорде. Его книга “Между сыном и отцом. Семейная переписка” очень хорошо показывает, насколько ему было там одиноко и насколько настоящий Видиа не похож на тот образ, который он сам себе создал. (*Прим. автора.*)

огромным удовольствием. Я до сих пор вспоминаю тропические леса и моря, радостное волнение — настолько здесь все *другое*, доброту местных жителей, потрясающе красивый карнавал (в отличие от Видиа я люблю стил-бэнды[1] — этот звук, который раздается в четыре утра на окраинах Порт-оф-Спейна, возвещая о начале нового дня). <...> Обе свои поездки на Тринидад и Тобаго я запомнила во всех подробностях, особенно следующие три случая.

Случай первый. Видиа написал "Утрату Эльдорадо", книгу, о которой сейчас мало говорят, хотя, на мой взгляд, это его лучшее документальное произведение. Все, с кем я только ни встречалась, в том числе премьер-министр Тринидада и Тобаго Эрик Уильямс и поэт Дерек Уолкотт, отзывались о книге весьма пренебрежительно, причем понятно было, что они ее не читали. Наконец, на приеме у лидера оппозиционной партии я нашла того, кто думал иначе: это был один пожилой англичанин, недавно ушедший в отставку с поста начальника береговой охраны. Мы долго обсуждали прочитанное, с удовольствием делились впечатлениями. На прощанье я сказала: "Вы один во всей стране читали эту книгу!" — "Вполне возможно", — ответил он.

Случай второй. На острове Тобаго я остановилась в маленькой уютной гостинице, в которой почти каждый вечер собирались местные старожилы. Один из тех, что помоложе, — таможенник лет тридцати пяти, направленный в Скарборо, главный город острова Тобаго, из Порт-оф-Спейна, — пригласил меня прогуляться по городу. К нам присоединился еще один таможенник и медсестра из больницы. Сначала мы пошли в форт Скарборо — это местная достопримечательность — любоваться видом. Потом, когда разговор иссяк, кто-то предложил зайти выпить в художественную галерею. В темноте она была похожа на сарай, к тому же закрытый, и если бы не разбуженный сторож, у которого были ключи, если бы не бутылка кока-колы и полбутылки рома... В итоге мы очутились в грязной комнате, освещенной лампочкой в сорок ватт. В ней не было ничего, кроме пыльного журнала "Ридерз дайджест". Мы цедили ром в полном молчании — настолько угнетающей была тишина. Через несколько минут мы ушли оттуда и отправились к таможеннику в его скромно обставленную, но чистую квартиру. Почему-то мне сейчас кажется, что там было холодно, хотя вряд ли это правда. Мы

1. Стил-бэнд (от *англ.* steel band — стальные инструменты) — типичный для Вест-Индии оркестр, состоящий из ударных инструментов — барабанов разной высоты, сделанных из металлических бочек из-под керосина.

послушали пластинки “Йеллоу берд”, выпили еще рома. Потом меня отвезли в гостиницу.

Из-за впустую прошедшего вечера, когда совершенно нечего делать и не о чем говорить, я чувствовала себя больной. Я слишком мало знала людей, с которыми общалась, и не могла сказать, что они на самом деле собой представляют. Я заметила только, что таможеннику до чертиков надоело работать в этом захолустье; от скуки он решил проявить гостеприимство и в итоге так разволновался, что ему пришлось позвать на помощь друзей. Однако все трое вскоре поняли бессмысленность своей затеи и оттого мгновенно помрачнели. И не удивительно. Вспоминая эту художественную галерею, я понимаю, почему Видиа, когда впервые вернулся в Вест-Индию, так испугался.

Случай третий. Не только такие люди, как Видиа, которому негде было проявить свой талант, стремились оттуда вырваться. Как-то, примеряя купальник в одном из магазинов Порт-оф-Спейна, я услышала разговор в соседней кабинке. Какая-то американка и ее супруг буквально забросали вопросами миловидную продавщицу, которая их обслуживала. Они расспрашивали ее о семье, причем с таким вниманием и теплотой, что мне показалось, будто им доставляет удовольствие собственная доброта к темнокожей девушке. Когда они уже наконец определились с покупками и муж выписал чек, продавщица вдруг перестала мило щебетать и прерывающимся от напряжения голосом сказала: “Можно мне у вас тоже кое-что спросить?” Американка ответила: “Да, пожалуйста”, — и тут бедняжка стала умолять: пожалуйста, ради Бога, не могли бы они выписать ей приглашение для визового отдела? Честное слово, она не доставит им хлопот, если бы они только могли ей помочь! Она все говорила и говорила, американец, совершенно смутившись, пытался ее прервать, и, хотя голос его еще звучал ласково, было уже понятно, что это показная любезность. В конце концов девушка заплакала, и по голосам обоих супругов было слышно, что они жалеют о собственном поступке и торопятся уйти. Я же пришла в такой ужас, оттого что стала невольной, пусть и невидимой, свидетельницей унижения этой бедной девушки, что поскорее сняла купальник, кое-как натянула платье и сбежала, так и не узнав, чем все закончилось.

Видиа, сколько он себя помнил, не любил Тринидад и боялся его. Еще в школе он написал на последней странице учебника по латыни, что уедет через пять лет (а уехал через шесть). Он вспоминает об этом в “Среднем пути” — своей первой книге мемуаров, опубликованной в 1962 году. В ней Видиа рассказывает о своем первом возвращении в Вест-Ин-

дию, а также делает то, чего никогда не делал прежде: анализирует причины своего страха перед родиной и ненависти к ней.

Индия представлялась ему исключительно в мрачных тонах, без единого проблеска света; это был настолько запоминающийся и сильный образ, будто он был порождением не ума, а всей нервной системы. Тринидад, как говорил Видиа, всегда оставался просто точкой на карте. Он не существовал как государство, это был источник прибыли, сначала для Испании, потом для Франции, потом для Великобритании. Здесь можно было легко заработать: на плантациях использовали сперва рабов, а потом наемных рабочих, чей труд стоил немногим дороже. Рабовладельцу знания ни к чему, поэтому "...на Тринидаде образование не продавалось ни за какие деньги. Напротив, деньги освобождали от необходимости учиться. Учеба была уделом бедняков. Окончив школу, дети из белых семей едва могли считать на пальцах, но в этом был знак их превосходства над прочими... Здешних белых нельзя назвать высшим обществом — у них нет ни особой манеры говорить, ни рафинированного вкуса, ни интереса к знаниям; есть только деньги и возможность тратить их на удовольствия, чему и завидуют все остальные".

Наконец, это грубое неотесанное колониальное общество открылось внешнему миру, поскольку острова перестали приносить прибыль, и Великобритания предоставила им независимость. Видиа обнаружил, что их буквально наводнила американская культура в своих самых вульгарных формах: коммерческое радио (телевидения тогда еще не было) и фильмы, рассчитанные на массового зрителя, совершенно неправдоподобные и полные насилия. <...> В своем пристрастии к американским новшествам Тринидад и Тобаго были едины, но на самом деле общество раскололось.

Страна была разделена между потомками африканских рабов и потомками наемных рабочих — индусов. <...> Индусы вели себя более уверенно, у них была Индия, которой они гордились. Но Видиа понимал, что это лишь иллюзия: они понятия не имели, какова эта Индия на самом деле. <...>

Суть расового конфликта Видиа определяет следующим образом: "Подобно тому, как обезьяны, стремясь стать людьми, соревнуются, какая из них белее, так негры и индусы только и делают, что упражняются в ненависти перед лицом белых. Презирают другого за то, что тот не белый; но самое смешное — конфликт обострился тогда, когда белые уже не смотрели на них сверху вниз".

<...>

Работа Видиа над каждой новой книгой (а всего мы опубликовали восемнадцать) проходила в три этапа. Сначала был долгий период затишья, когда он почти не вылезал из дому, а я изнывала от любопытства и хотела видеть его как можно чаще. Затем книга попадала к нам в издательство, спокойствие ненадолго сменялось эйфорией, и мы чаще встречались, к общему удовольствию. Мне полагалось по достоинству оценить книгу, написать к ней аннотацию, подобрать обложку, которая понравилась бы всем, прочитать рукопись на предмет опечаток (Видиа так тщательно шлифовал свою прозу, что можно было и вовсе обойтись без редактуры). После публикации на Видиа нападало уныние, и, когда мы с ним говорили по телефону, от его голоса у меня сжималось сердце. Поначалу это было не страшно, но с каждым разом тоска овладевала им все больше и больше. Голос его звучал трагически, он ходил с осунувшимся лицом, постоянно твердил, что чертовски устал и что писать ему вредно (последнее повторял каждый раз). А чего он добился? Обозреватели — тупые мартышки, издатели — лентяи, от них никакого толку (впрочем, прямо он об этом не говорил, ограничиваясь многозначительными намеками). В чем же смысл? Почему он продолжает писать?

Нет ничего особенного в том, что, если писатель, уверенный в собственном таланте и имеющий признание у критиков, хочет создать бестселлер. Однако каждый издатель знает: для того чтобы получился бестселлер, вовсе не обязательно хорошо писать. Писать плохо, конечно, тоже не обязательно: некоторые бестселлеры действительно написаны ужасно, другие же — вполне прилично. Изящество стиля и оригинальность мысли здесь совершенно ни при чем. Главное, чтобы книга заинтересовала широкий круг читателей, а не только сторонников искусства для искусства. Среди последних книги Видиа продавались неплохо, но он нашел свой путь и к широкой публике — ведь в определенный момент читатели всегда чувствуют, что *просто обязаны* прочитать того или иного автора. Впрочем, всегда было очевидно, что много Видиа не заработает. <...>

Обычно Видиа был недоволен публикацией, каждый раз его охватывало отчаяние, а иногда и злоба. Однажды он обрушился на меня, как ураган, заявив, что только что был в магазине “Фойлс” и не нашел там ни одного экземпляра своей последней книги, опубликованной две недели назад. <...> Мы пошли в магазин — и увидели две ровные стопки по шесть книг в каждой с надписью “Новинка”. <...>

В 1975 году мы работали над “Партизанами” — его тринадцатой книгой и восьмым романом. <...> В ней описывался

остров, похожий на Тринидад, пребывающий в полном упадке. В основу главной сюжетной линии были положены подлинные события: убийство англичанки Гэйл Бенсон, проживавшей под именем Хале Кимга. Убийцей был житель Тринидада, известный как Майкл Х. и основавший на острове своего рода коммуну. Гейл на Тринидад привез любовник, афроамериканец по имени Хаким Джамаль. <...> Со всеми троими я была знакома: с Джамалем и Гейл довольно близко, а с Майклом только поверхностно.

Характеры же, которыми Видиа наделил своих героев, отражали его собственный взгляд на постколониальную историю Тринидада. Это были вовсе не портреты моих знакомых — Видиа их не знал. Однако сама описанная ситуация настолько напоминала реальные события, что порой мне так и хотелось возразить: "Это же неправда!" <...>

Пришло время поговорить об одной из двух моих редакторских ошибок (о другой я хотела бы вовсе умолчать). Как сотрудник издательства я прекрасно понимала: Видиа — один из самых ценных для нас авторов. И даже когда он писал не просто плохие, а из рук вон плохие книги, мы все равно их публиковали, надеясь, что скоро он вновь будет в форме. Поэтому мне оставалось только восклицать "Великолепно!" и делать это как можно убедительнее.

Вместо этого я бормотала: "Господи, что же я ему скажу?" Я ведь никогда ему не лгала, думала я, совершенно упуская из виду, что прежде в этом не было необходимости. "Если я сейчас ему солгу, как же он потом мне поверит, когда я буду его хвалить?" Теперь ответ очевиден: если бы я солгала уверенно, он бы никогда не догадался. Тогда эта идея мне в голову не пришла. После нескольких часов внутренних терзаний я убедила себя сказать правду — "во имя нашей дружбы".

Пользы это никому не принесло. Начинающий автор может исправить некоторые ошибки, если ему на них укажут, но, когда такой опытный мастер, как Видиа, создает совершенно неубедительные характеры, у него творческий кризис, и здесь уже ничем не поможешь. Так бывало с Диккенсом, когда он создавал женские образы, переживала кризис и Джордж Элиот, когда писала "Дэниэл Деронда". Сама я насквозь видела тех, кто указывает друзьям на ошибки: эти люди руководствуются весьма сомнительными соображениями. Но понять причины собственного поведения мне было не легче, чем увидеть каракатицу в облаке чернил.

Итак, я сказала Видиа, что думала. Для начала я перечислила все, что меня действительно восхищало в его книге, а потом добавила, что должна ему сказать (именно так — *долж-*

на!): двое из трех главных героев меня разочаровали. Все равно что заявить Джозефу Конраду: "Лорд Джим" — потрясающая книга, только сам Джим не удался.

Видиа смутился, потом поднялся и сказал: очень жаль, что они мне не понравились, потому что он вложил в них всю душу, здесь совершенно нечего менять и говорить не о чем. Я еще лепетала ему вслед, что книга все же прекрасная, а потом почувствовала облегчение — Видиа не рассердился, а только расстроился — и ощутила себя (всего на миг) слабой и глупой. И подумала: ну вот, свершилось.

На следующий день агент Видиа позвонил Андре и сказал, что вынужден забрать у нас "Партизан": мы перестали верить в талант Видиа и теперь он нас покидает.

Андре сопротивлялся изо всех сил — больше всего он не любил терять авторов, — но борьба была недолгой. И хотя в разговоре звучало мое имя, Андре проявил великодушие и меня не осудил. Я же была в ярости. Изливала злобу самой себе, коллегам, друзьям: "После стольких лет дружбы и совсем маленькой — *ну просто крошечной* — порции критики закатывать истерики как примадонна!" Я постоянно придумывала и прокручивала в голове гневные диалоги с Видиа, но больше всего мечтала случайно встретиться с ним на каком-нибудь торжественном приеме, демонстративно развернуться и уйти.

Первые две недели я еще кипятилась... а потом вдруг поняла, что уже никогда не услышу от Видиа, что он абсолютно сломлен, и тут меня озарило. *Больше не надо любить Видиа*! То есть я могу и дальше любить его сочинения, могу ему сочувствовать, но мне больше не придется притворяться и, как подобает хорошему редактору, слушать со скучающей миной его причитания. "Знаешь что, — сказала я Андре, — теперь мне кажется, так даже лучше" (к моему удивлению, он рассмеялся). Тем не менее я не признала, что моя редакторская "ошибка" была просто проявлением агрессии. И не признаю до сих пор.

"Партизаны" были проданы издательству "Зекер энд Варбург" на следующий день после ухода Видиа.

Месяц спустя я зашла к Андре в кабинет, чтобы в очередной раз обсудить дела, но, прежде чем я открыла рот, зазвонил телефон. Как всегда. Обычно в таких случаях я, ворча, шла обратно, усаживалась в кресло и брала что-нибудь почитать, но на этот раз я вскочила и схватила вторую трубку. "А, Видиа! — сказал Андре. — Я могу тебе чем-нибудь помочь?"

Видиа звонил с Тринидада, и было слышно, как напряжен его голос. Он просил Андре связаться с агентом и сказать, чтобы тот *немедленно* забрал рукопись "Партизан" из "Зекер энд Варбург" и отдал нам.

<...>

Видиа никогда не говорил, по какой причине он порвал отношения с "Зекер энд Варбург", но его агент рассказал Андре, что в своем каталоге новые издатели окрестили Видиа "романистом из Вест-Индии".

Те книги, которые мы издавали после этого, действительно были хороши (хотя последняя и не столь значительна): "Индия: раненая цивилизация", "Возвращение Эвы Перон", "Среди правоверных", "Излучина реки" и "В поисках центра". Я вела себя так, как в "допартизанский" период нашего сотрудничества, с тем исключением, что мы больше не общались вне работы. Так же вел себя и Видиа.

<...>

Когда же в 1984 году Видиа действительно от нас ушел, причем без всяких объяснений и предупреждений, я прекрасно поняла почему. Он пришел к выводу, что золотая пора издательства "Андре Дейч" прошла. И это была правда. Из-за экономического кризиса и сокращения тиражей такие издательства, как наше, стали нежизнеспособными. Андре потерял былой пыл и азарт. Свое решение продать фирму, почти совпавшее по времени с уходом Видиа, он объяснял тем, что книгоиздательством теперь заниматься "не весело", к тому же здоровье его резко ухудшилось. Под руководством Тома Розенталя фирма просуществовала еще десять лет, постепенно клонясь к закату. Как раз в те времена, когда Видиа окрестили романистом из Вест-Индии, Том возглавлял "Зекер энд Варбург", и его появление у нас в издательстве не могло заманить Видиа обратно. <...>

Уход Видиа меня не разозлил, не удивил и не обидел, разве что я волновалась за Андре.

Найпол поступил, как считал нужным; мы, судя по всему, застали его лучшие времена. И когда много лет спустя Мордехай Рихлер (с него история началась, им и закончится) рассказал мне, что встретил Видиа и его новую супругу и что они "чудесно" смотрятся вместе, я искренне за них порадовалась.

Норман Мейлер

Шпионское искусство

Мысли по поводу литературы

Перевод с английского Лидии Хесед

Бестселлеры

Неуемная жажда коммерческого успеха немного во мне поутихла, и теперь я готов поделиться некоторыми соображениями на эту тему.

Если вы принимаетесь за книгу с единственным желанием – породить бестселлер, вас ждет то же разочарование, какое испытывает человек, женившийся по расчету и обнаруживший полное отсутствие любви. Когда какой-нибудь "скромный автор бестселлеров" сумеет наконец пробиться на прилавки, он тут же возомнит, будто создал шедевр – так человек, не обретя любви (и денег), будет считать брак по расчету блестящей партией.

В идеале (а чем старше мы становимся, тем сильнее стремимся к идеалу) нужно писать лишь о том, что действительно волнует. Другим это может быть интересно или нет, но, если вы ищете собственный путь к успеху, не нужно становиться солидным писателем. И напротив, если вы хотите изучить все тонкости жанра, лучше от настоящей литературы держаться подальше. Хорошая книга способна отравить то удовлетворение собой, какое испытывает автор, только что закончивший очередной бестселлер. Не думаю, что Джеки Сьюзан[1] засыпала с томиком Рильке под подушкой.

В наши дни монументальные сюжеты характерны, в основном, для бестселлеров. В них по сорок-пятьдесят персонажей, а события растянуты на несколько десятилетий, а то и столетий. В них мы находим мировые войны и потрясения, в корне изменившие жизнь нескольких семей. И все это для того, чтобы повествование не стояло на месте. Еще одна осо-

© 2003 by Norman Mailer
© Лидия Хесед. Перевод, 2013

1. Джеки Сьюзан (1918–1974) – американская романистка, в 1960-е годы многие ее книги были бестселлерами, в частности, роман "Долина кукол" (1966).

бенность бестселлеров — в них, как правило, нет ничего нового. Хорошие писатели выбирают сюжеты попроще. С такими сюжетами ты, по крайней мере, можешь быть уверен, что в твоих книгах есть художественная правда. И это разумно. Как-никак, делаешь благое дело, а не занимаешься порчей культуры. Разумеется, с крупным сюжетом работать сложнее. Из современных писателей только Гарсиа Маркес может осилить полсотни персонажей и пару-тройку десятилетий. "Сто лет одиночества" — потрясающая книга. Но как ему это удалось — не знаю. В моем египетском романе[1] у меня ушло десять страниц на одно только описание излучины Нила.

Не стоит думать, что я пишу обо всем этом ради коммерческого успеха книги. Такой прием, как правило, не работает. Один из критериев настоящего бестселлера — честность: это должна быть лучшая книга, которую автор способен породить на данный момент. Автор должен верить в свой труд. Во многом именно эта вера и делает книгу бестселлером. Стивен Кинг в начале своего творческого пути писал удивительно неумело и скучно, однако читателей подкупала его искренность. Она сквозила в каждой неуклюжей строчке. Успех плохой литературы сродни успеху фастфуда.

Надо сказать, за эти годы стиль Кинга улучшился. Как, вероятно, и вкус его читателей, хотя в этом я не столь уверен.

Главный закон бестселлера — щедро сдабривать историю новыми подробностями. Но только осторожнее! Сюжет — это наркотик. Автор может полностью погрузиться в дебри повествования, уводя за собой читателя, однако рано или поздно сюжет предъявит ему счет и начнет выдвигать ужасные требования. Чтобы прояснить ситуацию, писателю, запутавшемуся в деталях, иногда приходится буквально влезать персонажам в голову.

Здесь-то и возникают трудности. Любая вера в книгу может быть значительно подорвана, а то и вовсе растоптана, если автор решится проникнуть во внутренний мир героя, лишив читателя главного удовольствия — постоянно узнавать о герое что-то новое. Внутренние монологи, как правило, скучны и рассказывают о том, что и так известно. Ничего особенного в них нет.

Впрочем, особой опасности они тоже не представляют. От героев мега-бестселлеров и без того ждут внутренних моно-

1. Имеется в виду роман Н. Мейлера "Вечера в древности" (1983), действие которого происходит в Египте в эпоху фараона Рамзеса II.

логов. Любители подобных книг предпочитают читать и читать спокойно, внезапные открытия им не по душе. И хотя именно из таких открытий и состоит наша жизнь, на страницах бестселлеров правды не ищут.

После редактуры бестселлеры становятся еще больше похожими друг на друга. Например, редкий бестселлер не страдает от обилия прилагательных. Как правило, если автору не удается подобрать выразительный прием, он просто вставляет в текст прилагательные, да побольше. Чтобы читатель уж точно все понял. Кроме того, издательства в первую очередь делают ставку на развлекательную литературу. Тут уж читатель волей-неволей заскучает: слишком настойчиво его развлекают.

Мое литературное поколение выросло под влиянием Максвелла Перкинса[1] — каждый начинающий редактор стремился быть похожим на него. Между писателями и новоиспеченными редакторами существовала глубокая привязанность, это был своего рода духовный союз. Встречается подобная преданность и по сей день, однако предубеждение против нее растет. Современный издательский бизнес диктует свои требования: в частности, публиковать лишь коммерчески прибыльные книги. Эта аксиома проникает в сознание начинающего редактора — и доходит до мозга костей. Представляю, как нелегко ему (или ей) удержаться от того, чтобы не начать продвигать ту или иную книгу, желая сделать ее хоть немного "популярней". Безусловно, это не улучшает отношений с автором.

На сегодняшний день приходится выбирать между высокой прибылью и серьезной литературой. Издательства бьют тревогу по поводу будущего хороших книг, притом что сами это будущее определяют. Возможный путь к спасению — молодые редакторы. Серьезная книга никому неизвестного автора сегодня имеет шанс выйти в свет, только если какой-нибудь молодой редактор сделает из нее сенсацию. Издатель, скорее всего, ему поверит. Это своего рода издательская благотворительность, которая будет существовать до тех пор, пока издатели хоть немного верят в своих редакторов, а те — не теряют мужества.

Продавец книжного магазина спросит: "Почему бы вам не обратиться к малым формам?" Ему не нужно пояснять свой вопрос. Все и так понятно. Малые формы — это тонкие кни-

1. Максвелл Перкинс (1884—1947) — знаменитый критик и литературный редактор, работавший с Э. Хэмингуэем, Ф. С. Фицджеральдом, Т. Вулфом.

ги, которые занимают меньше места на полке. Соответственно, доход с каждой полки растет. Но писать рассказы... К сожалению, я еще в юные годы попал под влияние Томаса Манна, который говорил, что лишь основательность может быть занимательной[1]. Сошлитесь на Манна — и почувствуйте себя интеллектуалом.

Рецензии, популярность и успех

К плохим рецензиям я отношусь так же, как кандидат в президенты — к отсутствию избирательской поддержки. После отрицательного отзыва на "Вечера в древности", напечатанного в "Нью-Йорк таймс бук ревью", несколько друзей мне позвонили с вопросом: "Ты в порядке?" Рецензию я прочитал за неделю до того и уже не расстраивался. Я ответил, что испытываю те же чувства, что предвыборный кандидат, против которого выступил губернатор Скенектади. Ведь отсутствие поддержки в Скенектади не значит, что я перестану баллотироваться в губернаторы. Вот и рецензия (черт бы ее побрал!) наносит ущерб не мне лично, а моему бумажнику. В наши дни плохой отзыв в "Санди таймс" бьет прежде всего по кошельку. Мое авторское самолюбие практически не задето. Хотя в ранние годы я воспринимал отрицательный отзыв как личное оскорбление. Человек, посмевший его написать, был для меня воплощением зла. Впрочем, я так ни разу и не поколотил рецензента, о чем сейчас говорю с некоторым сожалением. Помню, как я сидел рядом с Филиппом Ро[2], после того как он написал разгромную рецензию на "Американскую мечту". У Ро, царствие ему небесное, были свои достоинства, но мужество к ним не относилось. Поэтому на одной из вечеринок я сел рядом с ним на диван и полчаса подряд, пока мы говорили о чем-то постороннем, улыбался и напирал на него всем телом. Я был безупречно вежлив, и все бы ничего, если бы я угрожающе не склонялся над ним, вжимая в диван. Он был в панике, ждал, что я вот-вот его ударю. Наверное, со стороны это выглядело смешно. Ро был крупного телосложения, и вдвоем на этом диване, мы, наверное, напоминали пончики, слипшиеся на дне пакета.

1. Из предисловия к роману Т. Манна "Волшебная гора". Перевод В. Станевич.
2. Филипп Ро (1908–1973) — американский литературный критик и эссеист (наст. имя — Иван Гринберг).

Майкл Шумахер. А не страшно ли писателю показаться глупым, когда он позволяет себе рисковать?

Норман Мейлер. Всегда хочется быть выше этого страха, но порой я по-прежнему думаю: "Отзывы будут хуже некуда. То, что я пишу, никого не порадует, а кое-кого очень даже опечалит". С другой стороны, риск захватывает и дарит ощущение свободы.

Иногда с самого начала понятно, что замысел обречен на провал. В случае с книгой о Древнем Египте было бы куда интереснее, если бы ее написал какой-нибудь неизвестный автор. Читатели сгорали бы от любопытства: что это за новый оригинальный писатель? Когда я работал над "Вечерами в древности", я заранее знал, что первые страниц пятьдесят читатель будет листать книгу, недоумевая: "О чем это пишет Мейлер"? Это выведет его из равновесия, ведь в наши дни каждый хочет прослыть проницательным человеком. Приятно думать, что полностью контролируешь ситуацию. А если кто-то поступает вопреки ожиданиям, это здорово раздражает.

М. Ш. Что вас спасает в таких ситуациях?

Н. М. Уверенность в себе как профессионала. Не самонадеянность, а именно уверенность. Если я не умнее своего рецензента, проблем не избежать. В конце концов, я лучше всех знаю свою книгу. Поэтому, читая дурной отзыв, я просто о нем забываю. И это помогает, кроме тех случаев, когда помочь уже невозможно. Потому что если нет ни одной положительной рецензии, это катастрофа.

Как правило, не важно, хороша ваша книга или плоха. В любом случае хороших и плохих отзывов будет примерно поровну. Самая отвратительная книга наверняка получит три положительных рецензии из десяти, в то время как гениальная получит шесть. Случается, что по всей стране книга получает исключительно хорошие или исключительно плохие отзывы; это происходит в том случае, если она импонирует или противоречит каким-то общенациональным ценностям — обычно такое не остается без внимания прессы. Грубо говоря, это может быть роман, цинично отзывающийся о трагедии 11 сентября.

Громкий литературный успех — дело случая. Роман "Нагие и мертвые" был моей крупнейшей литературной удачей. В 1946 году люди уже не так интересовались книгами о войне. Однако "Нагие и мертвые" вышли в 1948-м, и к тому времени читающая публика уже созрела для очередного военного рома-

на. Выйди книга раньше, не уверен, что она пользовалась бы таким же успехом.

С другой стороны, когда я заканчивал "Вечера в древности" (на которые у меня ушло одиннадцать лет), я жалел, что работал недостаточно продуктивно и не завершил книгу на год раньше. Это дало бы мне определенное преимущество. За год до выхода книги Египет был в моде. В музее "Метрополитен" в Нью-Йорке прошла большая выставка, которая потом отправилась путешествовать по стране. Но когда "Вечера в древности" увидели свет, было уже поздно. Интерес практически пропал. То же самое произошло с "Призраком Проститутки"[1]. Роман был опубликован в 1992-м, "холодная война" уже закончилась. Тема утратила актуальность. Между тем семью годами раньше, когда я брался за книгу, ЦРУ еще вызывало интерес. Вывод: не пишите с расчетом на то, что читателей заинтересует тема книги — и, соответственно, возрастут объемы продаж. К тому моменту, когда книга будет готова к печати, все может измениться. Расчет здесь бесполезен, полагаешься только на случай.

Ах, популярность! Писатель приносит книгу, издатель решает ее прорекламировать, — появляется слабая надежда, что она станет бестселлером, — и вот автор соглашается поехать в рекламный тур, чтобы привлечь внимание читателей.

Я думаю, что любой писатель, к которому рано пришел успех — Капоте, Видал, Стайрон[2] да и я сам, — сталкивался с тем, насколько нелегко проявлять живой интерес к людям, когда сам оказываешься объектом всеобщего интереса. Подобное тщеславие особенно остро ощущается во время рекламного тура. Вы становитесь центром внимания. Обратная сторона медали — вас начинают использовать всеми возможными способами. Ведь карьера журналиста напрямую зависит от того, сможет ли он взять вас в оборот.

При этом учтите, что три журналиста из четырех вашу книгу не читали. На то, чтобы задать вам вопрос, они потратят два процента своей энергии, вам же для ответа понадобятся остальные девяносто восемь. Например: "Расскажите о вашей книге". Ответьте несколько раз на этот вопрос — и почувствуйте себя так, будто толкаете в гору лимузин, у которого заглох мотор.

1. Роман Нормана Мейлера, посвященный работе ЦРУ.
2. Уильям Стайрон — американский писатель, автор романов "Долгий марш", "Признания Ната Тернера", "Выбор Софи".

Для читателя, стесненного в средствах, покупка хорошо изданной книги — сакральный ритуал, поэтому он должен испытывать к вам как к автору определенное уважение, граничащее со священным трепетом. Если репутация у вас скандальная, — и неважно, что ваше имя у всех на слуху, — ваши книги будут продаваться гораздо хуже, чем вы ожидаете. Успешные писатели, как правило, стараются не провоцировать читающую публику — например, Сол Беллоу или Джон Апдайк. Лишь немногие могут нарушить этот закон. Например, Капоте. Или Видал. Я — не могу.

Каждый раз, когда обо мне пишут в газетах, я чувствую, что мне как писателю это вредит. Тут ничего не поделаешь. Одна из причин, почему обо мне всегда пишут, такова: журналисты вообще пишут об одних и тех же людях. Это игра, в которой не больше нескольких сотен участников. Если представить их в виде колоды Таро, мне досталась бы карта Шута. Раньше я пытался провести жесткую границу между тем, что обо мне пишут, и тем, каков я на самом деле. Однако с возрастом все чаще чувствуешь себя эдаким чудаком в прохудившихся ботинках, затерянным где-то в Майами. Уже бесполезно бороться с тем, что стал легендой. Теперь же это бальзам на душу.

Если вам когда-нибудь, в силу коммерческого успеха вашей книги, придется работать с киностудией, не пытайтесь завоевать расположение начальника (начальницы) Номер Один. Добейтесь одобрения у начальника Номер Два. Потому что если Номеру Один понравится ваша книга, а Номеру Два — нет, дело не сдвинется с мертвой точки. Номер Один привык во всем соглашаться с Номером Два.

Здесь есть своя логика. Если Номер Один настоял на том, чтобы снять фильм по вашей книге, и этот фильм провалился, Номер Два ощущает свое превосходство. В случае, если компания понесла большие убытки, Номер Два имеет все шансы в скором времени стать Номером Один. Напротив, если фильм оказался прибыльным, Номер Два никогда не простит Номеру Один подобной проницательности.

Предположим, Номер Один согласился с Номером Два и не стал снимать фильм по вашей книге. Фильм сняла другая компания и потерпела неудачу. Тогда Номер Два гордо заявит: “У меня отличный начальник, который прислушивается к моим советам и уважает меня. Ведь он знает, что я всегда прав”. Конечно, если фильм успешен, Номер Два окажется в незавидном положении.

Вывод: ищите начальника Номер Два и молитесь, чтобы ему понравилась ваша книга.

С другой стороны, если вы уже написали все, что могли, забудьте об этих правилах. Я потратил пятьдесят лет на то, чтобы их усвоить. А в сущности, оно того не стоит. Я до сих пор не знаю, как найти начальника Номер Два.

Приведу еще пример из своей практики. "Американская мечта" была опубликована в 1964 году в журнале "Эсквайр". В одном из эпизодов герой, чернокожий, двадцать раз произносил слово "дерьмо". Сейчас мне бы вполне хватило и двенадцати, но я знал, что, употреби я это слово двенадцать раз, редакторы убрали бы пять. Поэтому я написал слово "дерьмо" двадцать раз. Редакторы подняли крик, и я остановился на двенадцати. Они были счастливы, я тоже.

Ш*люха*

Помню, много лет назад мы с Гором Видалом говорили о судьбе романа. Мы вспоминали наше мрачное прошлое: пиратов, головорезов, вымогателей, наемных убийц, сутенеров, насильников и прочих негодяев, с которыми нас сводила судьба во время путешествий по литературным мирам, и в результате констатировали – Гор с желчной радостью, а я с тревогой, – что за последние годы наше ремесло пришло в упадок. Мы исходили, так сказать, из интересов профсоюза. Дело было не в том, что современные романы стали хуже по сравнению с послевоенными, а наши знакомые перестали ими интересоваться. Ухудшились условия работы. Редко когда можно было услышать хороший отзыв о романе. Хвалили, в основном, журнальные эссе или пьесы, причем само обсуждение занимало не более пяти минут, а затем писатели весь ужин говорили об актерах, чиновниках, друзьях, обществе или, не дай бог, о внешней политике. На романах больше нельзя было заработать. Прежде это, за редким исключением, тоже было невозможно, однако всегда оставался призрачный шанс, что книга станет бестселлером. Теперь, с появлением изданий в мягкой обложке, большой удачей (даже для автора серьезного романа, собравшего хорошие отзывы) была продажа тридцати-сорока тысяч экземпляров. Большинство читателей предпочтет подождать год, пока книга не выйдет в более дешевом издании.

Итак, мы смирились с этим, а также с посредственностью книжных обозревателей, безразличием издателей, разобщенностью самих писателей, клеветой, готовностью большинства из нас слушать про чужие неудачи, ужасами писательской профессии – часами одиночества, ревнивыми соперниками, претензиями друг к другу, уязвленным авторским самолюби-

ем, предательским непостоянством вдохновения, изменчивостью литературной моды. Поскольку мы оба, поработав несколько лет в других жанрах, снова вернулись к романам, в наших словах звучала веселая ирония. Мы были настроены вовсе не так пессимистично, как могло показаться.

Наконец я рассмеялся: “Гор, признайся, роман для писателя — все равно что хорошая шлюха. Кажется, ты выбросил ее из головы, знакомишься с другими женщинами и чувствуешь, что можешь наслаждаться жизнью, что наконец-то избавился от нее и больше не будешь страдать. А потом сворачиваешь за угол — а там она, ждет, улыбается, — и ты снова оказываешься в ее ловушке. Мы с тобой по-прежнему в ее руках”.

Видал криво усмехнулся — так он выражал восхищение, когда собеседнику приходил в голову удачный образ. “Действительно, — сказал он, — роман — это хорошая шлюха”.

Каждый романист, стоит ему переспать с такой шлюхой (*муза* приходит только к поэтам или к тем, кто пишет рассказы), начинает потом хвастаться, как солдат, вернувшийся из борделя: “Ну я ее сделал!” В то время как шлюха, лежа на пустой постели, усмехается: “Сначала он был такой милый, а под конец совсем — п-фф! — сдулся”.

Писатель показывает в романе собственный характер. Его лень, жеманство, легкомыслие, самодовольство, трусость, непомерные амбиции и так далее в силу самой логики повествования найдут отражение в книге. Некоторые авторы умеют скрывать свои слабости; некоторые гениальным образом превращают их в своеобразие стиля. Как бы то ни было, ни один писатель не может полностью спрятать свой характер. Для начинающего романиста это, наверное, худшее открытие.

Еще пару слов о шлюхе. Один мой приятель, прочитав этот текст, сказал: “По-моему, хорошее название для книги: ‘Я ее сделал’”. В ответ я уверил его, что едва ли когда-нибудь решусь на такой заголовок.

Мордехай Рихлер
Дневник гастролирующего писателя

Перевод с английского Лидии Хесед

Водевиль не умер. Просто на смену традиционному кордебалету, юмористам, жонглерам и дрессированным собачкам пришли нудные писатели: не успевая опомниться от многочасовых перелетов, они читают отрывки из своих романов в каком-нибудь книжном магазине, где наберется едва ли с десяток потенциальных покупателей. Как сообщает "Книжное обозрение Лос-Анджелес таймс" от 29 октября 1997 года, в одном только Лос-Анджелесе на этой неделе проходит около восьмидесяти выступлений. В числе прочих заявлены Питер Дж. Харрис, автор "Госпела для вампира", Молли Катцен с ее "Вегетарианским раем", Терри Берланд с книгой "В мире телерекламы", Джаред Даймонд с бестселлером "Почему нам так нравится секс", а также весьма сомнительный "Литературный семинар для девочек" в галерее на бульваре Венеция. Впрочем, есть в афишах и общепризнанные гении: Джон Берджер, Джеймс Эллрой, Джудит Росснер, Арундати Рой и Уилл Селф[1].

16 сентября 1997 года, Монреаль

По всем приметам мой рекламный тур по Канаде обречен на провал. Вечером, накануне отъезда, по дороге в любимый бар на Кресент-стрит меня настиг какой-то господин из Ванкувера.

– Вы Мордехай Рихлер?

– Да.

– Разрешите пожать вам руку. Я прочел все ваши книги, вы отличный писатель.

© by Mordecai Richler
© Лидия Хесед. Перевод, 2013

1. Джон Берджер (р. 1926) – английский писатель, критик, режиссер. В "ИЛ" публиковались его эссе (2012, № 6) в переводе А. Асланян. Джудит Росснер (1935–2005) – американская писательница, автор любовных и психологических романов. Арундати Рой (р. 1961) – индийская писательница, публицист, политический деятель. Лауреат Букеровской премии 1997 г. за роман "Бог мелочей". Уилл Селф (р. 1961) – английский писатель-сатирик, журналист.

– Спасибо.

– Скажите, а на жизнь вы чем зарабатываете?

В тот же день пришло письмо из Гамильтона, провинция Онтарио, предлагают выступить в колледже: “Ваша книга ‘Ученичество Дадди Кравица’ уже много лет входит в обязательную программу по литературе. Студенты так удивились, узнав, что вы еще живы”.

17 сентября, Торонто

Читаю лекцию в фонде Уильяма Доннера. За ланчем перед лекцией у меня берет интервью некая Янь Вон из “Глоб энд мейл”.

– Какой у вас рост?

– Метр семьдесят три, – потрясенно отвечаю я.

– А у вашей жены?

– А зачем это вам?

– Читателям нужен ваш словесный портрет.

Продолжая литературные изыскания, она спросила, получают ли наши дети традиционное еврейское воспитание. При этом сообщила, что ее муж – еврей, и с самодовольной улыбкой заметила:

– Мы проводим седер[1] каждую пятницу.

– Очевидно, это какой-то еврейско-китайский обычай. У нас седер только раз в год, на Пейсах.

Наконец, я ей надоел, и она заявила:

– Вы не оправдываете свою репутацию. И вам не следовало столько пить – хотели, наверное, произвести на меня впечатление.

Между тем в гостинице меня поджидал шестистраничный факс. Привет от издательства “Кнопф Канада”. В факсе – список интервью и презентаций, которые я должен провести во время поездки. Вообще-то я осторожно отношусь к утренним телешоу, с тех пор как одна не в меру жизнерадостная девица впихнула мое выступление между кулинарным мастер-классом и интервью с экстрасенсом. Размахивая моим романом, она вопрошала: “Это реальная история или вы ее просто выдумали?”

Конечно, выход книги не всегда был сопряжен с такой пыткой. Прежде, будучи молодым лондонским писателем, я приносил издателю рукопись и тут же слышал, что успех моей

1. Седер – религиозное богослужение и семейная трапеза, которая проводится в ночь наступления Пейсаха – иудейской Пасхи, символизирующей годовщину Исхода евреев из Египта.

предыдущей книги был явно незаслуженным. А девять месяцев спустя, когда книга выходила, заботливые друзья сами зачитывали мне по телефону разгромные рецензии, а то мало ли, вдруг я что пропустил. Были, были времена, когда писателям не оставалось ничего другого, как мотаться по всей стране с доверху набитыми чемоданами, пытаясь продать собственные книги. Много воды утекло с тех пор. В последний раз в Нью-Йорке я, как и все остальные писатели, катался на лимузине из магазина в магазин, раздавая автографы. Известно, что магазин может вернуть нераспроданные экземпляры в издательство, однако к подписанным книгам это не относится. Поэтому обычно сопровождающий агент договаривается с писателем: "Я буду забалтывать продавцов, а ты пока подпиши побольше этих чертовых книг".

Брюс Джей Фридман однажды рассказал мне, как проходила презентация его нового романа, на который ровно за день до мероприятия вышла блестящая рецензия в "Бостон глоб". Посетителей — ноль. "Как вы думаете, — спросил Фридман продавца, — что было бы, если бы в "Бостон глоб" книгу разругали?"

Похожая история случилась и со мной. Лет десять назад меня пригласили на ежегодный книжный салон в Монреале, где я вместе с переводчиком должен был представлять новое издание "Ученичества Дадди Кравица" на французском языке. Наш стол был заставлен книгами, и вот многотысячной толпе объявили, что на двенадцатом стенде раздают автографы. Проходит десять минут — никого нет. Наконец, у нашего стола останавливается какой-то мужчина, протягивает мне сигарету и спрашивает: "Огоньку не найдется?"

18 сентября, Торонто

Расписание встреч от "Кнопф Канада":

"12.30 — интервью с Лиз Рензетти для общенациональной газеты 'Глоб энд мейл' в ресторане 'Авалон' (отдельный зал, курить разрешается и т. д.)".

Отдельный зал? И так далее?! Интересно, чего они от меня-то хотят?

"15.00–16.00 — интервью для местной газеты 'Ай уикли' с Робин Гиллэм (жен.)".

Что ж, теперь я стареющий мэтр (муж.), умудренный опытом писатель (общенационального значения) и больше не делаю наивных ошибок. Например, не участвую в радио- и телепередачах. Как-то раз в Чикаго меня, вместе с двумя другими писателями, пригласили выступить в ночном ток-шоу. Сели мы за стол и вдруг видим, как звукорежиссер в аппаратной

разворачивает перед нами плакат с надписью “Помни, Дейв, сегодня полнолуние”. Когда до меня дошла очередь, я начал, как полагается, рассказывать о муках творчества, о боязни чистого листа и так далее. И тут кто-то из телеслушателей задает мне вопрос: “Все это здорово, Морд, но мне интересно, почему у нас в Норд-сайде целую неделю не вывозят мусор?”

Вот уже несколько дней я разъезжаю по стране и, признаться, порядком устал от повторяющихся вопросов:

– Почему вы пишете от первого лица?

– А почему бы нет?

– Вы пользуетесь компьютером, мистер Рихлер?

– Нет, каждое утро надеваю шелковый халат от Армани, бархатные тапочки с фамильным вензелем от Диора и беру в руки гусиное перо.

25 сентября

Летим с женой в Лондон на презентацию “Версии Барни”[1]. Хорошие новости: “Дейли телеграф” и “Санди таймс” опубликовали блестящие рецензии на книгу. Плохие новости: Мелвин Брэгг отменил мое выступление на Би-би-си в “Начале недели”, а Джон Уолш из “Индепендент” отказался со мной обедать в “Плюще”, потому что я пообещал интервью Марку Штейну из “Дейли телеграф” в “Монреале”.

Лондон по-прежнему оплакивает принцессу Диану, чья смерть стала большой удачей для газетчиков, взвинтивших цены на двадцать процентов, а также для продавцов цветочных магазинов. Один мой приятель через несколько дней после трагедии зашел купить букет жене и услышал: “Извините, сэр, на этой неделе всё в полтора раза дороже”.

1 октября, Манчестер

Мои издатели, Чатто и Уиндус, устроили презентацию в книжном магазине “Уотерстоун”, но, поскольку она совпала с Рош Ха-Шаной[2], почти никто не пришел. В соседнем зале “Уотерстоуна” выступала воинствующая феминистка Андреа Дворкин. В порыве неисцелимого романтизма она написала: “Соитие – это один из способов, точнее даже вернейший

1. “Версия Барни” – роман, написанный Рихлером в1997 г. За “Версию Барни” Рихлер был удостоен престижной литературной премии Стивена Лико-ка. На русском языке роман в переводе В. Бошняка публиковался в “ИЛ” (2007, № 8, 9, 10), отдельным изданием вышел в 2008 г. в издательстве “Флюид”.

2. Рош Ха-Шана – праздник наступления Нового года по иудейскому календарю, празднуется в течение двух дней в новолуние иудейского месяца тишри (приходится на сентябрь или октябрь).

способ, заставить женщину почувствовать свою физическую неполноценность. Сознание собственной подчиненности постепенно проникает в нее, подавляет личность, заставляя уступить мужчине". Тем не менее она не всех мужчин считает насильниками, что очень мило с ее стороны.

Журналисты "Санди индепендент" устроили акцию в поддержку закона о легализации марихуаны. На их призыв откликнулись более ста известных деятелей искусства, науки, политики и бизнеса, в том числе писатели Гарольд Пинтер, Мартин Эмис, Оберон Во и Фэй Уэлдон, режиссеры Майк Ли и Питер Гринуэй, врачи и психиатры с самой безупречной репутацией, а также маркиз Батский и маркиза Уорчестерская. Сдается мне, что один из сторонников законопроекта рискует остаться без работы. Я имею в виду преподобного Скотта, окфордского магистра, который четвертый год служит в исправительной колонии для наркопроизводителей.

Сам я испытываю по этому поводу смешанные чувства. С одной стороны, я не против легализации, но, с другой стороны, этот шаг, благоприятный для северных штатов Америки, сильно подорвет экономику Флориды, а полицейским Монреаля и вовсе придется жить на одну зарплату. Не исключено также, что свободная торговля приведет к расшатыванию трудовой дисциплины среди уличных воров, в том числе и за пределами Америки.

В начале октября в Лондоне по-прежнему тепло и в кафе полно народа, но кое-что все же изменилось. Проходя по Кингз-роуд, я замечаю, что на улице стало больше лысых женщин. Что это: новая мода, прямо скажем, довольно нелепая, или способ борьбы со вшами, — не знаю. Так или иначе, меня такая мода не впечатляет.

5 октября, Монреаль

Разгребаю почту за неделю. Профессор из Онтарио пишет статью о второстепенных писателях и просит заполнить анкету из двадцати шести вопросов. Музей оптики в Теннеси хочет заполучить в коллекцию мои старые очки. Приглашение прочитать лекцию, начинающееся словами "Мы некоммерческая организация...", я даже не смотрю.

Сотрудник "Кнопф Канада" зовет выступить в музыкальном хит-параде на радио CBC.

"Это интервью посвящено интересам и предпочтениям Мордехая Рихлера. В студию поступили следующие вопросы.

1. Ваша любимая мелодия.

2. Ваша любимая книга.

3. Где бы вы хотели провести последние дни своей жизни (например, дома, или в горах, или на необитаемом острове и т. д.)".

6 октября, Оттава

Чтение и раздача автографов в Национальной публичной библиотеке. Один читатель просит меня подписать книгу некой Джудит и непременно добавить пару строк от себя. "Придумайте что-нибудь остроумное", — просит он. Я отвечаю, что совсем не знаю Джудит, поэтому никаких личных посланий.

— Я не уверен, что она вообще дочитает до конца, — говорит мужчина, вырывая у меня из рук книгу. — У нее последняя стадия рака.

18 октября, Виктория, остров Ванкувер

Во время выступления в галерее "Опен снейс" посреди чтения из колонок раздался рок с местной радиостанции. Первый раз в жизни выступал с музыкальным сопровождением. На автограф-сессии симпатичная девушка заявила: "Моя мама без ума от ваших книг". Еще одна читательница сказала: "Мой муж учился с вами в одном классе в школе Бэрон Бинг[1]. Он не смог сегодня прийти — сердечный приступ. Читал за завтраком 'Глоб энд мейл' и вдруг упал замертво". Я ответил, что хорошо его помню, хотя имя мне ничего не говорило.

19 октября, Ванкувер

В последний раз, когда я здесь был, власти жаловались на засилье китайцев из Гонконга, вызвавшее рост цен на недвижимость. Теперь те же самые люди возмущаются, что китайцы уезжают, потому что это может привести к вводу налогов на заграничные доходы. Недвижимость, напротив, дешевеет. Как сказал мой агент, "родители оставляют детям дом, дают им 40 ооо долларов и возвращаются в Гонконг. А дети постепенно раздают эти деньги своим вымогателям-одноклассникам".

Давал интервью еврейской газете "Вестерн джуиш". Журналистка спросила, правда ли, что я антисемит.

Тут же вспомнил историю, которую рассказал мне один голливудский кинорежиссер. Много лет назад талантливый

1. Бэрон Бинг — средняя школа в Монреале, названная в честь Дж. Г. Бинга, генерал-губернатора Канады с 1921 по 1926 гг. Бэрон Бинг — одна из немногих школ, в которую в 1920–1950 гг. принимали евреев.

писатель Дэниэл Фукс писал сценарий вместе со своим кумиром Уильямом Фолкнером. Фолкнеру, человеку тонкой душевной организации, в Голливуде приходилось нелегко. Большую часть времени он пил. Спустя две не самые простые недели обидчивый Фукс заявил:

— Мистер Фолкнер, мы с вами не сработаемся...

Фолкнер согласился.

— Потому что вы антисемит, — продолжал Фукс.

— Да, но гоев я тоже не люблю, — ответил Фолкнер.

21 октября

Флоренс полетела домой, а я отправился в Калгари. Погода ясная, горы, как всегда, ослепительны. Помню, в последний свой приезд я спросил у прохожего:

— Где тут у вас главная улица?

— У нас такой нет, — ответил он.

22 октября

Перед вылетом из Калгари в Виннипег захожу в аэропорту в книжный магазин и не вижу на полках своей книги. Спрашиваю у продавца:

— У вас есть "Версия Барни"?

— Нет, их так быстро разобрали, ни одной не осталось. Хотите, я попрошу привезти из другого магазина?

— Нет, не надо, я автор книги. А почему бы вам не заказать еще партию?

— Неплохая мысль.

Во время презентации в Виннипеге в магазине "Макнелли Робинсон" ко мне подошла молодая женщина:

— Мой отец жил с вами в одном доме на улице Жанны Манс.

— Отлично его помню, — ответил я, хотя никогда не жил на улице Жанны Манс.

23 октября, Монреаль

Наконец-то я дома. Правда, в конце января мне предстоит очередное турне, на этот раз по США. В прошлый раз я летел до Сиэтла всю ночь с шестью пересадками. Увидев, как я, пошатываясь, выхожу из самолета, мой сопровождающий с подозрением на меня посмотрел и спросил:

— Вы что, пили всю дорогу?

— Нет, но я бы с удовольствием куда-нибудь заехал перед первым интервью.

— Не получится. У вас сейчас выступление перед Ассоциацией медиков Канады.

– Ассоциация педиков? Что ж, не привыкать.

– Я сказал “медиков”.

– Простите.

В далекие пятидесятые я случайно встретил в одном баре неподалеку от Би-би-си Льюиса Макниса[1]. Он рассказал мне, как однажды поехал в Монреаль читать лекцию. В аэропорту его встретили две милые девушки, и Макнис сказал:

– Я бы сейчас чего-нибудь выпил.

– Не волнуйтесь, мистер Макнис, перед лекцией в холле будет накрыт чай.

– Я имел в виду другие напитки.

Тогда они отвезли его в Ритц-Карлтон, а сами остались ждать в машине, сказав:

– Здесь вы можете купить все, что захотите.

Ничего не поделаешь, это жизнь.

1. Льюис Макнис (1907–1963) – англо-ирландский поэт и критик.

Нацумэ Сосэки

Десять снов

Рассказ

Перевод с японского Е. Сахаровой, Е. Тутатчиковой

© Е. Сахарова, Е. Тутатчикова. Перевод, 2013

Переводчики выражают глубокую признательность А. Н. Мещерякову, Н. Н. Трубниковой за щедрую помощь, консультации и неизменную поддержку.

Первая ночь

Я видел сон.

Скрестив руки, я сидел у изголовья, когда лежавшая на спине женщина тихо сказала, что скоро умрет. Ее прекрасное лицо белело среди рассыпавшихся по подушке длинных волос. Белоснежные щеки светились теплом, губы ярко алели. Глядя на нее, никак нельзя было подумать, что она скоро умрет.

Но женщина тихо и ясно сказала, что скоро умрет. И я подумал: "Наверное, она действительно умрет!"

— Разве? Ты скоро умрешь? — спросил я, вглядываясь в ее лицо.

— Умру! — сказала она, широко раскрыв глаза.

Огромные влажные глаза, окаймленные длинными ресницами, с черневшими зрачками. И в глубине зрачков отчетливо отражался я.

Вглядываясь в эти глубокие, почти бездонные глаза, я подумал, неужели она умрет! И прильнув губами к подушке, снова спросил:

— Ты ведь не умираешь, правда? Все хорошо, да?

Женщина, широко раскрыв усталые карие глаза, ответила:

— Нет, я умру, ничего не поделаешь.

Со сжавшимся сердцем я спросил, видит ли она мое лицо. Она улыбнулась и, заглянув мне в глаза, сказала:

— Разве ты не видишь свое отражение?

Я молча выпрямился и, скрестив руки, подумал, что она непременно умрет.

Через некоторое время она снова заговорила.

— Когда я умру, пожалуйста, похорони меня. Вырой яму большой раковиной-жемчужницей. Положи на могиле обломок звезды, упавшей с неба. И, пожалуйста, жди меня, потому что я еще приду к тебе.

— Когда же ты придешь? — спросил я.

— Солнце взойдет, а потом сядет. И снова взойдет, и снова сядет. Пока пылающее солнце будет всходить с востока на запад, с востока на запад и заходить с запада на восток, ты будешь ждать меня?

Я молча кивнул. Тихий голос зазвучал тверже, и женщина сказала:

— Пожалуйста, жди меня сто лет. Жди меня сто лет, сидя у моей могилы. Я обязательно приду к тебе!

Я ответил только, что буду ждать. И вот моя фигура, отчетливо отражавшаяся в глубине ее черных зрачков, потускнела и исчезла. Словно неподвижная вода пришла в движение и отражение на ее поверхности рассыпалось и уплыло. И

тут же веки сомкнулись. Скатившись с длинных ресниц, на щеке застыла слеза. Она умерла!

Я спустился в сад и стал рыть яму раковиной-жемчужницей. Раковина была огромная — с гладкими и острыми краями. И всякий раз, когда я зачерпывал землю, на ее внутренних створках ослепительно сиял лунный свет. Пахло влажной землей. Через некоторое время я выкопал яму. Опустил туда женщину и засыпал ее рыхлой землей. Когда я засыпáл ее, на створках раковины играл лунный свет.

Потом я сходил за упавшим обломком звезды и осторожно положил его на насыпь. Обломок звезды был круглым — наверное, пока он долго падал с небес, углы стесались и сгладились. Пока я поднимал обломок и устанавливал его, грудь и руки у меня немного согрелись.

Я сел на мох. И, думая о том, что теперь вот так буду ждать в течение ста лет, скрестив руки, смотрел на круглое надгробие. И вот, как она и говорила, на востоке взошло солнце. Огромное пылающее солнце. И вскоре снова, как она и говорила, солнце закатилось на западе. Оно село мгновенно, все еще пылающее. “Раз!” — сосчитал я.

Через некоторое время багряное солнце снова медленно встало. А затем закатилось в безмолвной тишине. “Два!” — снова сосчитал я.

Считая так, я сбился со счета и уже не знал, сколько раз видел пылающее солнце. Я считал и считал, а неправдоподобно багряное солнце проплывало над моей головой несчетное число раз. Но сто лет все не кончались. И в конце концов, глядя на заросшее мхом круглое надгробие, я задумался, не обманула ли она меня.

Вдруг из-под надгробия пробился зеленый стебель и потянулся ко мне. Он рос на глазах и замер прямо у моей груди. И тут же продолговатый бутон на конце чуть подрагивающего стебля слегка наклонился, набух и распустился. Пронзительный аромат белой лилии! Вдруг откуда-то сверху упала капля росы, и цветок закачался под собственной тяжестью. Я потянулся и поцеловал белые лепестки, с которых скатилась прохладная роса. Когда я оторвался от лилии, то невольно увидел далекое небо, в котором мерцала одинокая рассветная звезда.

И только тогда я понял: “Сто лет уже прошли!”

Вторая ночь

Я видел сон.

Выйдя от настоятеля и пройдя по галерее, я вернулся в свою комнату. Тускло горел бумажный фонарь. Когда, опустившись одним коленом на подушку для сиденья, я подкручивал фитиль фонаря, его огарок, словно цветок, медленно упал на краснолаковую подставку. На мгновение комната озарилась.

Картина кисти Бусона[1] на раздвижной перегородке: разбросанные там и сям, то ярче, то бледнее прорисованные темные ивы; по дамбе, нахлобучив соломенную шляпу, бредет продрогший рыбак. В нише — свиток, изображающий пересекающего море бодхисаттву Мондзю[2]. Откуда-то из темноты доносился запах все еще тлеющих курительных палочек. Монастырь был огромным и из-за царившей в нем тишины казался совершенно безлюдным. Но стоило мне взглянуть наверх, и круглая тень от круглого бумажного фонаря на темном потолке, казалось, ожила.

Все еще стоя на колене, левой рукой я приподнял подушку, а правой пошарил под ней — он был на месте! Поправив подушку, я с облегчением опустился на нее.

— Ты же самурай. А самурай непременно должен достичь просветления, — сказал настоятель. — Раз тебе никак не удается достичь просветления, значит, ты не самурай! Ты отребье. Ха-ха, злишься! — рассмеялся настоятель. — Так принеси мне доказательства своего просветления! — сказав так, он грубо повернулся ко мне спиной. Наглец!

Прежде чем напольные часы в соседнем зале пробьют, я непременно достигну просветления! После этого нынче же ночью я вернусь в комнату настоятеля и обменяю просветление на его голову. Если я не смогу достичь просветления, придется сохранить ему жизнь. Во что бы то ни стало я должен достичь просветления! Ведь я самурай! Если достичь просветления мне не удастся, покончу с собой. Оскорбленный самурай не вправе жить. Умру достойно!

Подумав так, я невольно снова скользнул рукой под подушку и вытащил кинжал в ножнах, покрытых красным лаком. Крепко сжав рукоять, я достал кинжал из краснолаковых ножен. Холодное лезвие блеснуло в темной комнате. Кинжал был великолепен — он легко выскользнул из ножен, казалось, послышался свист рассеченного им воздуха. Всю

1. Ёса Бусон (1716–1783) — японский поэт и художник. (*Здесь и далее – прим. переводчиков.*)
2. Мондзю — бодхисаттва Манджушри (*санскр.*), считающийся воплощением мудрости; одна из его важнейших функций — переправлять людей на другой берег существования, то есть помогать достичь нирваны.

свою ярость я сосредоточил на острие клинка. Я смотрел на острое лезвие, увы, словно сжавшееся до размеров игольного ушка и неотвратимо заострявшееся на острие кинжала в девять сун и пять бу[1], и мне вдруг нестерпимо захотелось нанести удар этим острым клинком! К правой кисти прилила кровь, рукоять стала липкой. Губы тряслись.

Вложив кинжал в ножны, я заткнул его за пояс справа и сел в позу лотоса. Пустота, о которой говорил Дзёсю[2]. Что же такое пустота?! Гнусный монах! — заскрежетал я зубами.

Я так крепко стиснул зубы, что через ноздри вырвалось обжигающее дыхание, в висках заломило, глаза готовы были вылезти из орбит.

Я видел свиток. Я видел фонарь. Я видел циновку. Я отчетливо видел голову настоятеля, блестящую, как медный чайник. Я даже слышал издевательские слова, извергающиеся из его огромного акульего рта. Дерзкий монах! Во что бы то ни стало я должен снести эту бритую голову! Я достигну просветления! Пустота, пустота, повторял я про себя. Но сколько я ни твердил: пустота, до меня все-таки доносился запах курительных палочек. Проклятые благовония!

Сжав кулаки, я вдруг ударил себя по голове так, что чуть не вскрикнул. Затем — что было мочи — стиснул зубы. Из подмышек заструился пот. Спина словно одеревенела. Согнутые колени вдруг заломило. Пусть совсем сломаются! — подумал я. Но было больно! Нестерпимо! А понимание “пустоты” все не приходило. Как только мне начинало казаться, что вот-вот я достигну его, тут же наваливалась боль. Я пришел в ярость. Я был зол. Я был совершенно раздавлен. Слезы катились градом. Захотелось одним ударом размозжить себе кости, уничтожить плоть, бросившись с вершины огромной скалы.

Но я все же терпел и сидел не шелохнувшись. Молча терпел почти невыносимую боль. Боль разрывала каждую мышцу и лихорадочно рвалась наружу через поры, но поры все до единой были закупорены. Положение и впрямь совершенно безвыходное, нестерпимое.

Тут в голове у меня помутилось. И светильник, и картина Бусона, и циновки, и полка в нише поплыли перед глазами. Где уж там постичь пустоту! Я едва-едва мог усидеть. И тут вдруг часы в соседней комнате пробили — динь!

Я вздрогнул. Правая рука сразу же потянулась к мечу. Часы во второй раз пробили — динь!

1. 9 сун 5 бу — около 30 см.
2. Дзёсю или Дзюсин (778–897) — китайский наставник чаньской школы Линьцзи (Риндзай — *яп.*) Чжаочжоу Гуншэнь (Дзёсю — *яп.*). Герой пытается решить знаменитый коан “Нет!” (“У” — *кит.*, “Му” — *яп.*), который обычно задают всем ученикам этой школы в Китае и Японии.

Третья ночь

Я видел сон.

Я несу на спине мальчика лет пяти. Я знаю, это мой ребенок. Но вот что странно, когда-то он ослеп и стал маленьким буддийским монахом. На мой вопрос: когда ты ослеп? — он ответил: будто не знаешь, давно уже!

Голос, без сомнения, был детским, но говорил он совсем как взрослый, на равных.

Вокруг зеленели рисовые поля. Узкая тропа. Во тьме изредка проступали силуэты цапель.

— Мы среди рисовых полей, да? — послышалось из-за спины.

— Откуда ты знаешь?! — обернувшись, спросил я в изумлении.

— Так ведь цапли кричат, — ответил он.

И тут же в самом деле дважды прокричали цапли.

Хоть это и был мой сын, мне стало страшно. С такой ношей не знаешь, что может случиться дальше. Не бросить ли его где-нибудь, подумал я, и, вглядевшись вдаль, увидел во тьме громаду леса. Едва я подумал, не оставить ли его там, как из-за спины донеслось:

— Хи-хи!

— Что тут смешного?

Ребенок не ответил. Только спросил:

— Пап, тяжело тебе?

-- Нет, — ответил я.

— Скоро будет тяжело! — сказал он.

Я молча шел к лесу. Тропинка петляла, рисовые поля все никак не кончались. Через некоторое время тропа раздвоилась. Я остановился передохнуть у развилки.

— Тут должен стоять камень, — сказал маленький монах.

И впрямь — прямоугольный камень в половину человеческого роста. На камне было написано: “Налево — Хиккубо, направо — Хоттахара”. Несмотря на тьму, красные иероглифы видны были отчетливо. Они ядовито алели, как живот краснобрюхого тритона.

— Поворачивай налево, — велел маленький монах.

Я взглянул налево — и черная тень давешнего леса накрыла нас с головой. Я стоял в нерешительности.

— Не робей, — снова сказал он.

И я поневоле зашагал к лесу. Я подумал: “Все-то он знает, хотя и слепой!” Когда прямая дорога привела к лесу, из-за спины послышалось:

— Ох, и плохо же быть слепым и беспомощным.

— Но ведь я же несу тебя, правда?

— Мне, право, неловко, что тебе приходится меня нести. Скверно, когда все вокруг издеваются над тобой! Даже родители!

Мне захотелось поскорее избавиться от него. И я поспешил в лес, думая бросить его там.

— Еще чуть-чуть, и ты все поймешь. Был в точности такой же вечер, — словно самому себе сказал он.

— О чем ты?! — срывающимся от злости голосом спросил я.

— О чем? Будто не знаешь! — с издевкой ответил ребенок.

И тут мне почудилось, что я и впрямь знаю, о чем он говорит. Но никак не вспомню, о чем именно. Я вспомнил только, что был такой же вечер. Еще чуть-чуть — и я вспомню все. Это будет ужасно! Нужно успокоиться и поскорее бросить его, пока я не вспомнил, думал я, все ускоряя шаги.

Только теперь я заметил, что идет дождь. Тьма вокруг быстро сгущалась. Я почти отчаялся и чувствовал только, как маленький монашек прижимается к спине. В этом маленьком монахе, как в зеркале, высвечивающем все до мельчайших подробностей, отражалось все мое прошлое, настоящее и будущее. Но он был моим сыном. И был слепым. Это было невыносимо!

— Пришли, пришли. Вот эта криптомерия.

Голос маленького монашка был отчетливо слышен, несмотря на шум дождя. Я невольно остановился. Мы незаметно оказались в самой чаще леса. Темневшее всего в двух метрах впереди дерево и в самом деле оказалось криптомерией.

— Пап, вот под этой криптомерией все и случилось, помнишь?

— Да-да, — поспешно ответил я.

— Пятый год Бунка[1], год Дракона.

“Кажется, действительно в пятый год Бунка, год Дракона”, — подумал я.

— Ты убил меня ровно сто лет назад.

Не успел он договорить, как я тут же вспомнил, что сто лет назад в пятом году Бунка, таким же темным вечером под этой криптомерией убил слепца. И как только я понял, что был убийцей, ребенок за моей спиной стал тяжелым, как каменное изваяние Дзидзо[2].

1. Пятый год Бунка — 1808 г.
2. Дзидзо — бодхисаттва Кшитигарбхи (*санскр.*). В Японии почитается как хранитель путников и детей (поэтому его изображение часто украшают чепчики и детские нагрудники). Каменные изваяния Дзидзо ставятся в буддийских храмах, на обочинах дорог, на детских могилах.

Четвертая ночь

В центре просторной прохладной прихожей стоит скамейка для отдыха, вокруг расставлены маленькие складные стульчики. Отполированная долгими годами сидения поверхность скамьи сияет черным глянцем. В углу перед маленьким обеденным столиком сидит старик и в одиночестве потягивает саке. Закуской ему служит разваренное в соевом соусе мясо с овощами.

От саке старик раскраснелся. На его лучащемся молодостью лице ни единой морщинки. Только густая седая борода выдает возраст. Я еще ребенок. Стоило мне подумать, сколько же лет этому старику, как хозяйка, вышедшая набрать в деревянное ведерко воды из бамбукового водостока, вытирая руки о фартук, спросила:

— Дедушка, а сколько тебе лет?

Старик, проглотив закуску, невозмутимо отвечал:

— Да я уж и не помню.

Хозяйка, заложив руки за тонкий пояс, остановилась рядом со стариком и начала разглядывать его лицо. Старик залпом осушил огромную, размером с чайную чашку, пиалу саке и резко выдохнул сквозь седые усы. Хозяйка спросила:

— Где же твой дом, дедушка?

— В утробе, что за пупком! — вырвалось у него.

Хозяйка, по-прежнему не вынимая заложенных за тонкий поясок рук, снова спросила:

— А куда ты идешь?

Старик, вновь осушив залпом огромную, как чайная чашка, пиалу горячего саке, и резко выдохнув, сказал:

— Да вон туда.

Когда хозяйка переспросила: “Прямо, что ль?” — его глубокий выдох прошел сквозь перегородку-сёдзи[1] и, минуя заросли ив, устремился прямо к берегу реки.

Старик вышел на улицу. Я вышел вслед за ним. На поясе у него болталась маленькая тыква-горлянка. На плече висел прямоугольный ящик. Он был одет в бледно-желтые короткие штаны и безрукавку. Только носки-таби[2] были ярко-желтого цвета. Похоже, они были кожаными.

Старик оказался прямо в зарослях ив. Под ивами играли несколько ребятишек. Смеясь, старик достал из-за пояса

1. Сёдзи — раздвижные перегородки, которые представляют собой деревянные рамы, обтянутые бумагой.
2. Таби — носки с отделенным большим пальцем.

бледно-желтое полотенце. Скрутил, точно длинную полоску бумаги[1], и положил наземь. Затем очертил вокруг него большой круг. Наконец, вынул из висевшего на плече ящика медную дудку, какой зазывают покупателей уличные торговцы конфет-тянучек.

— Сейчас это полотенце превратится в змею. Смотрите-ка, смотрите-ка, — приговаривал он.

Дети, затаив дыхание, смотрели на полотенце. И я вместе с ними.

— Смотрите, смотрите. Здорово? — приговаривал старик и, дуя в дудку, стал вращаться по кругу. Я не сводил глаз с полотенца. Но оно лежало не шелохнувшись. Старик дудел в дудку “пи-и пи-и”. И все продолжал кружиться. Он осторожно семенил на цыпочках в своих соломенных сандалиях, обходил круг, крадучись, словно боялся вспугнуть полотенце. Было и страшно, и интересно!

Внезапно старик опустил дудку. Открыв висевший на плече ящик, осторожно прихватил полотенце за кончик и резким движением забросил его в ящик.

— Вот так, а теперь оно превратится в змею. Сейчас покажу, сейчас покажу, — приговаривая, старик пошел дальше. Миновав заросли ив, он устремился прямо вниз по узкой тропе. Я хотел увидеть змею и поспешил за ним по узкой тропинке. Старик шел, время от времени приговаривая:

— Сейчас-сейчас. Превратится в змею.

Наконец, напевая: “Сейчас станет, станет змеей, непременно станет, дудочка заиграет”, — он вышел к берегу. На берегу не было ни моста, ни лодки, и я подумал, что, наверное, здесь он остановится и покажет змею, свернувшуюся в ящике. Но старик с плеском вошел в реку. Сначала он шел по колено в воде, но с каждым шагом вода поднималась, скрывая его по пояс, по грудь. А он все напевал: “Все глубже, все темнее. Прямо сейчас!” — и шел вперед. Вот уже и борода, и лицо, и голова, и косынка на голове скрылись из виду.

Я думал, что старик, выйдя на другой берег, покажет змею, и все ждал, стоя один-одинешенек в шумящих зарослях тростника. Но старик так и не появился.

1. На длинных полосках бумаги записывали имена жертвовавших на буддийский храм, затем такие полоски скручивались и вкладывались в статую Будды.

Пятая ночь

Я видел сон.

Было это в стародавние времена, едва ли не в эпоху богов. Я был воином, удача отвернулась от нас, и мы потерпели поражение. Я попал в плен, и меня отволокли к вражескому военачальнику.

Люди в те времена были высокие. И все носили длинные бороды. К затянутым кожаным поясам были подвешены прямые, как палки, мечи. Луки, похоже, были сделаны из необработанных толстых веток глициний. Не покрытые лаком, не ошкуренные. Совсем безыскусная работа.

Вражеский военачальник, крепко сжимая правой рукой середину лука и уткнув его концом в траву, сидел на перевернутом кувшине из-под саке. Я посмотрел ему в лицо — на переносице сходились густые брови. В те времена бритв, конечно же, не было.

Я был пленником, и мне не полагалось сиденья. Так что, скрестив ноги, я сидел на траве. Ноги были обуты в большие соломенные башмаки. В те времена соломенные башмаки были высокими, доходили аж до колена. Поверху солома для красоты была оставлена незаплетенной, она бахромой свисала вниз и шуршала при ходьбе.

Поднеся огонь, военачальник заглянул мне в лицо и спросил: "Жизнь или смерть?" По обычаю тех времен всякому пленнику задавали такой вопрос. Ответить "жизнь" означало сдаться, ответить "смерть" — отказ покориться. Я коротко ответил: "Смерть". Военачальник, отбросив воткнутый в траву лук, медленно потянул висевший на поясе прямой, как палка, меч. Колышимое ветром пламя полыхнуло по лезвию меча. Раскрыв ладонь, как кленовый листок, я вытянул правую руку перед военачальником. Этот жест означал — подождите! Военачальник с лязгом вложил огромный меч в ножны.

В те времена я любил. Я сказал, что перед смертью хочу хоть на миг встретиться с любимой женщиной. Военачальник ответил, что подождет до рассвета, до первых петухов. Нужно вызвать ее сюда до рассвета. Если до первых петухов она не придет, я буду убит, так и не свидевшись с ней.

Сидя на кувшине, военачальник смотрел на огонь. Я, все так же скрестив ноги в больших соломенных башмаках, сидел на траве и ждал ее. Тьма сгущалась.

Время от времени огонь вспыхивал. И тогда пламя робко выхватывало лицо военачальника. Его глаза сверкали из-под черных бровей. Кто-то подошел и стал подбрасывать в огонь

ветки. Вскоре огонь разгорелся с новой силой. Пламя отважно трещало, будто силясь разогнать тьму.

В это время женщина выводила белого коня, что был привязан к дубу на заднем дворе.

Трижды проведя по гриве, она легко вскочила на коня. Ни седла, ни стремян — конь был не оседлан. Длинные белые ноги ударили по крутым бокам. Конь помчался во всю прыть. Где-то разожгли костер, и небо вдали посветлело. Конь летел во тьме на этот свет. Из раздутых ноздрей огненными столпами вырывалось дыхание. Но женщина снова и снова подстегивала коня стройными ногами. Конь полетел в мою сторону так быстро, что в воздухе зазвенел цокот копыт. Длинные волосы женщины лентами реяли во тьме. И все же она никак не могла доскакать до огня.

Вдруг во мраке на обочине дороги послышалось петушиное "кукареку!" Женщина выпрямилась и обеими руками изо всех сил натянула поводья. Передними копытами конь впечатался в край крутой скалы.

"Кукареку!" — снова прокричал петух.

Вскрикнув "А!", женщина разом ослабила поводья. Конь рухнул на колени. И вместе с всадницей кувырком полетел вниз. Под скалой простиралась глубокая пропасть.

Следы копыт до сих пор видны на вершине скалы. Это демон Аманодзяку[1] прокричала по-петушиному. До тех пор пока на скале будут видны отпечатки этих копыт, Аманодзяку будет моим врагом.

Ш*естая ночь*

Прошел слух, что у ворот храма Гококудзи Ункэй[2] вырезает из дерева стражей Нио[3], и я решил прогуляться в ту сторону. Оказалось, что там уже собралось множество людей. Толпа гудела.

Метрах в десяти перед воротами стояла большая сосна: ствол ее рос наклонно и, скрыв в своих ветвях черепичную крышу ворот, устремлялся высоко в голубое небо. Зелень со-

1. Аманодзяку — в народных верованиях злой демон, часто выступающий в женском обличье, любит срывать намерения и планы людей, славится как искусный имитатор.
2. Ункэй (?—1223) — скульптор эпохи Камакура (1185—1333).
3. Нио — божества-хранители буддийского храма, часто два стража Нио стоят справа и слева от храмовых ворот, защищая вход в храм. Изображаются в виде огромных силачей, обнаженных по пояс, грозных и яростных, наводящих ужас на врагов буддизма.

сны и киноварь ворот прекрасно оттеняли друг друга. И появилась сосна в удачном месте. Она росла наклонно и, разрастясь вширь на уровне крыши, не заслоняла левого края ворот. От этого вида веяло стариной, казалось, я перенесся в эпоху Камакура.

Но люди вокруг, как и я, были людьми эпохи Мэйдзи[1]. Больше всего среди них было рикш. Они явно коротали время, поджидая клиентов.

— Во громадный-то! — сказал один.

— Да уж, потруднее, чем людей-то вырезать! — подхватил другой.

Верно, подумал я.

— И впрямь Нио! Надо же, и сегодня вырезают Нио! А я-то думал, Нио все сплошь старинные, — сказал один мужчина.

— Ох, и силен же! Ведь говорят, что Нио могуч! Что с давних пор не было силачей, равных Нио. Что он посильнее самого принца Яматодакэ[2], — вступил в разговор еще один мужчина. Полы его одежды были подоткнуты, голова непокрыта. Словом, человек совершенно неотесанный.

Ункэй, не обращая ни малейшего внимания на пересуды зевак, работал резцом и молотком. И ни разу не обернулся. Взобравшись повыше, он принялся вырезать лицо Нио.

На голове у него была небольшая церемониальная шапка, одет он был в какое-то старинное кимоно, длинные рукава были подвязаны за спиной. Его фигура в старинных одеждах совершенно не вязалась с внешним видом гудевших вокруг людей. Я подумал: "Как же так, почему же Ункэй до сих пор жив!" Раздумывая о том, до чего же это странно, я, конечно, не сводил глаз со скульптора.

Но Ункэй, погруженный в работу, не замечал в ней ничего странного и удивительного. Молодой человек, который, запрокинув голову, наблюдал за ним, обернулся ко мне и с восхищением сказал:

— Да, вот что значит Ункэй! Мы для него не существуем. Лишь он один и стражи Нио перед лицом неба. Чудесно! — Эти слова заинтересовали меня, и я взглянул на молодого человека. А он продолжал: — Посмотрите, как он работает резцом и молотком. Его дивному мастерству подвластно все!

Теперь Ункэй вырезал густые брови трехсантиметровой толщины: он молниеносно приставлял резец долота то про-

1. Эпоха Мэйдзи — 1868–1911.
2. Яматодакэ — разговорный и не вполне грамотный вариант имени Ямато-такэру, легендарного принца древности, прославившегося многочисленными военными походами.

дольно, то наклонно и обрушивался сверху молотком. Точными движениями он состругивал твердое дерево, и густая стружка вылетала под стук молотка. В мгновение ока появилось крыло носа с гневно раздутой ноздрей. Прикосновения резца были точными, скульптор не ведал сомнений.

— Как же легко он работает резцом! Брови и нос выходят ровно такими, как и должны! — восхищенно сказал я.

И тут же молодой человек ответил:

— Разве эти брови и нос сделаны при помощи резца! Нет, они заключены в самом дереве, а резец и молоток лишь извлекают их наружу. Это все равно что вырыть камень из земли. Уж поверьте мне!

И тут я впервые подумал, что так создается скульптура. А если это верно, то по силам любому. И мне вдруг самому захотелось вырезать Нио. Покинув толпу, я немедля вернулся домой.

Достав из ящика с инструментами резец и железный молоток, я вышел в сад. Там было уложено много брусков, годившихся для резьбы. На днях бурей вырвало дуб, и работник распилил его, чтобы потом пустить на дрова.

Я выбрал самый большой чурбан и живо принялся вырезать. Но, увы, Нио в нем не оказалось. Неудача постигла меня и со следующим чурбаном — снова не удалось извлечь Нио. И в третьем Нио тоже не оказалось! Я стал хватать чурбан за чурбаном и вырезать Нио, но ни в одном из них он сокрыт не был. В конце концов, я осознал, что Нио и не может быть в древесине эпохи Мэйдзи. И тогда я почти понял, почему Ункэй до сих пор жив.

Седьмая ночь

Почему-то я плыл на огромном корабле. Днем и ночью, выбрасывая черный дым, корабль безостановочно шел вперед, рассекая волны и издавая ужасный грохот. Но куда плывет корабль, я не знал. Раскаленное, как щипцы для углей, солнце вставало из морской пучины. Солнце поднималось над самой верхушкой высокой мачты. Едва я успевал подумать, что теперь оно будет стоять высоко, как, в мгновение ока обогнав огромный корабль, оно оказывалось впереди. А затем, шипя, как раскаленные щипцы для углей, снова погружалось в глубины морских волн. И каждый раз голубые волны вдали вскипали темным багрянцем. С чудовищным грохотом корабль устремлялся по этим багряным следам. Но никак не мог их настичь.

Однажды я остановил одного из членов команды и спросил:

— Наш корабль идет на запад?

Тот некоторое время озадаченно смотрел на меня и наконец ответил:

— С чего вы взяли?

— Но ведь мы плывем следом за закатным солнцем.

Он громко расхохотался и, повернувшись спиной, пошел прочь.

— Идущее на запад солнце придет на восток, верно?! Идущее на восток солнце с запада родом, верно?! Мы на гребнях волн. Странствуем по морю. Отдаемся на волю волн, — нараспев проговорил он.

Я отправился на нос корабля. Там матросы травили толстый канат.

Я почувствовал себя совершенно беспомощным. Я не знал, когда сойду на берег. Не знал даже, куда мы плывем. Реальным был только корабль, рассекавший волны и выбрасывавший черный дым. Вокруг простирались волны. Куда ни глянь, повсюду голубая гладь. Иногда волны становились темно-синими. И только вокруг плывущего корабля неизменно вскипала белая пена. Мне было так одиноко. Чем плыть на этом корабле, не лучше ли поскорее броситься в море и умереть? — думал я.

На корабле было много пассажиров. Большинство — чужеземцы. С самыми разными лицами. Однажды, когда небо нахмурилось и началась качка, одна женщина, прильнув к поручням, заплакала навзрыд. Белел носовой платок, которым она утирала слезы. На ней было европейское платье, кажется, из ситца. Глянув на нее, я понял, что тяжело не мне одному.

Однажды вечером, когда я, поднявшись на палубу, в одиночестве смотрел на звезды, ко мне подошел чужеземец и спросил, разбираюсь ли я в астрологии. Мне было так тяжело, что хотелось умереть. До астрологии ли мне было! Я промолчал. Тогда чужеземец принялся рассказывать о скоплении Семи Сестер в созвездии Тельца. Потом сказал, что и звезды, и моря созданы Богом. А под конец спросил, верю ли я в Бога. Я молчал, глядя в небо.

Однажды я зашел в салон: нарядно одетая молодая женщина, сидя ко мне спиной, играла на фортепьяно. Подле нее стоял и, широко раскрывая рот, пел какую-то арию высокий красивый мужчина. Для этих двоих никого больше не существовало. Наверное, они забыли даже, что плывут на корабле.

Мне становилось все тяжелее. И, наконец, я решился умереть. Однажды вечером, когда вокруг никого не было, я набрался смелости и бросился в море. Однако в миг, когда я оттолкнулся от палубы и спрыгнул с корабля, мне вдруг расхотелось умирать. В глубине души я мечтал остановиться. Но

было уже поздно. Желал я того или нет, но я неотвратимо падал в море. Видимо, корабль был и в самом деле громадным: ноги все никак не касались воды. Но ухватиться было не за что, и вода постепенно приближалась. Делалась ближе и ближе, как я ни поджимал ноги. Черная вода.

В это время корабль, изрыгнув, как обычно, черный столп дыма, прошел мимо. Я вдруг понял, что все-таки лучше плыть на корабле, даже если он движется неведомо куда. Но прозрение это уже ничего не могло изменить. Охваченный беспредельным раскаянием и ужасом, я тихо падал в черные воды.

Восьмая ночь

Когда я переступил порог парикмахерской, несколько мужчин в белых халатах хором крикнули: “Добро пожаловать!”

Остановившись посереди салона, я огляделся: прямоугольная комната, с двух сторон распахнуты окна, под двумя другими висят зеркала. Я насчитал шесть штук.

Я подошел и сел перед одним из них. Кожаное сиденье подо мной уютно скрипнуло. Стул был очень удобный. Мое лицо отчетливо отражалось в зеркале. За отражением виднелось окно и решетка кассы наискосок. За кассой никого не было. Мне были прекрасно видны прохожие за окном.

Вот мимо прошел Сётаро с дамой. И когда только Сётаро успел раздобыть такую модную шляпу-панаму?! И когда только успел обзавестись женщиной?! Странно! У них обоих был такой важный вид. Они миновали окно, прежде чем я успел разглядеть лицо женщины.

Вот идет продавец творога-тофу, зазывая покупателей рожком. И оттого что он шел, трубя в рожок, казалось, что щеки у него раздулись от укусов пчел. Он так и прошел с надутыми щеками, а меня охватило беспокойство. Я не мог отделаться от мысли, что его все время жалят пчелы.

Появилась гейша. Она была еще не накрашена. Узел прически “симада” распустился, и вид у нее был какой-то неряшливый. Лицо заспанное, цвет лица болезненный. Поклонившись, она с кем-то заговорила, но ее собеседника в зеркале не было видно.

Тут ко мне подошел крупный мужчина в белом халате, с ножницами и расческой в руках и, встав у меня за спиной, принялся разглядывать мою голову. Тронув тонкие усы, я спросил: “Ну, как? Что можно сделать?” Мужчина в белом, ничего не ответив, легонько постучал по моей голове расческой янтарного цвета.

— Что ж, волосы, наверное, надо подстричь, как вы считаете? — спросил я мужчину в белом. Мужчина, снова ничего не ответив, ловко защелкал ножницами.

Я не сводил глаз с зеркала, боясь пропустить хоть одно движение, но, как только защелкали ножницы и полетели мои черные волосы, мне стало страшно, и я зажмурился.

— Господин, вы изволили видеть продавца золотых рыбок на улице? — тут же спросил мужчина в белом.

Я сказал, что не видел. Мужчина в белом, не сказав больше ни слова, безостановочно работал ножницами. Вдруг он громко воскликнул: “Осторожно!” От неожиданности я открыл глаза и увидел под рукавом мужчины в белом колесо велосипеда и оглобли рикши. Мужчина в белом обеими руками резко наклонил мою голову вперед и чуть набок. Велосипед и рикша исчезли. Защелкали ножницы.

Наконец, мужчина в белом зашел сбоку и принялся ровнять волосы за ушами. Они перестали лететь мне в лицо — я успокоился и открыл глаза. И тут же с улицы донесся крик: “Просяные лепешки! Ле-пе-о-шки, ле-пе-о-шки!” Послышался ритмичный стук деревянного молотка, которым толкут лепешки в ступе. Я видел продавца лепешек лишь в детстве, и мне захотелось взглянуть на него хоть одним глазком. Но в зеркале и намека не было на его отражение. Было слышно только, как он отбивает тесто.

Скосив глаза, я силился разглядеть торговца в уголке зеркала и вдруг увидел, что за решеткой кассы откуда-то взялась женщина. Смуглолицая, с густыми бровями, дородная. Волосы собраны в прическу “итигаэси”, кимоно со сменным воротничком черного атласа. Она считала купюры, опустившись на одно колено. Купюры, кажется, были десятииеновые. Опустив длинные ресницы и поджав тонкие губы, женщина прилежно считала вслух. Считала она очень быстро, но купюры отчего-то все никак не кончались. На ее колене и лежало-то от силы купюр сто. Сколько ни пересчитывай сто купюр, их больше не станет.

Я рассеянно смотрел то на женщину, то на десятииеновые купюры, когда в какой-то момент мужчина в белом прямо над ухом громко сказал: “Давайте помоем голову”. Это была отличная возможность разглядеть женщину получше, и, поднимаясь со стула, я обернулся к кассе. Но за решеткой кассы не было ни женщины, ни купюр — ничего.

Расплатившись и выйдя на улицу, я увидел, что слева от входа расставлено четыре или пять овальных кадок, где плавали во множестве красные, пятнистые, большие и маленькие золотые рыбки. А за ними стоял продавец. Подперев щеку ру-

кой, продавец неотрывно смотрел на плававших рыбок. Он не обращал ни малейшего внимания на шумную многолюдную толпу. Некоторое время я ждал, наблюдая за продавцом золотых рыбок. Но за все это время он ни разу не шелохнулся.

Девятая ночь

В мире было неспокойно. Казалось, вот-вот разразится война. Неоседланные лошади из сгоревших конюшен буйствовали за стенами усадьбы. Днем и ночью, поднимая пыль, солдаты-пехотинцы пытались поймать их. А в доме все это время царила тишина.

Там жила молодая мать с двухлетним сыном. Отец куда-то ушел. Ушел безлунной ночью. Сидя на постели, он обулся в соломенные сандалии, повязал голову черным платком и вышел с черного хода. Тонкий луч светильника, который держала провожавшая его мать, прорезал тьму и осветил старый кипарисовик перед оградой дома.

Отец так и не вернулся. Мать каждый день спрашивала двухлетнего ребенка:

— Где твой отец?

Мальчик не отвечал. Спустя некоторое время он научился отвечать: "Там". И когда мать спрашивала его: "А когда он вернется?" — он, смеясь, вновь говорил: "Там". Тогда мать тоже смеялась. А потом учила его отвечать правильно — по многу раз повторять: "Скоро вернется". Но мальчик смог запомнить только "скоро". И иногда на вопрос "Где твой отец?", — он отвечал: "Скоро".

С наступлением ночи, когда все вокруг смолкало, мать, затянув пояс-оби и заткнув за него короткий меч в ножнах из акульей кожи, привязывала малыша тонким поясом к спине и тайком выходила через калитку. Мать всегда была обута в бамбуковые сандалии. Иногда мальчик засыпал за спиной у матери, убаюканный стуком ее сандалий.

Она шла на запад вдоль глинобитных оград, тянувшихся вокруг домов. Спустившись с пологого склона, они оказывались перед огромным деревом гингко. Если взять от него вправо, то в глубине, всего метрах в ста, — каменные воротатории[1]. С одной стороны от ворот — рисовые поля, с другой — заросли мелкого бамбука. Но у самых ворот начинается

1. Тории — ворота П-образной формы (символ петушиного насеста) у входа на территорию синтоистского святилища.

чаща темных криптомерий. Всего через тридцать-сорок метров пути по выложенной камнями тропе — лестница, ведущая к старому святилищу. Над выцветшим серым ящиком для подношений болтается веревка с большим колокольчиком. Днем, сбоку от колокольчика, можно увидеть табличку с надписью "Святилище Хатимана"[1]. Иероглиф "хати" записан необычно: в виде двух голубей, сидящих напротив друг друга. Есть множество и других табличек. В основном, это мишени, куда стреляли местные воины во время храмового празднества, и на каждой написано имя поразившего цель. Изредка это таблички о принесении в дар святилищу меча.

Всякий раз, когда мать проходила через ворота-тории, на ветвях криптомерии ухала сова. Слышалось шлепанье грубых сандалий. Перед святилищем мать останавливалась — дергала за веревку с колокольцем, склонялась в поклоне и хлопала в ладоши[2]. В этот момент сова почти всегда неожиданно смолкала. А мать всем сердцем возносила молитвы о благополучном возвращении мужа. Мать всей душой верила — раз ее муж самурай, то, если неизменно возносить молитвы божеству войны Хатиману, они непременно будут услышаны.

Мальчик часто просыпался от звука колокольчика и, обнаружив, что вокруг кромешная тьма, начинал плакать за спиной у матери. Тогда бормоча молитву, мать принималась укачивать его. Иногда ребенок успокаивался. Иногда принимался плакать пуще прежнего. Но как бы то ни было, заставить мать прервать молитву было непросто.

Вот, помолившись за благополучие мужа и развязав тонкий пояс, она осторожно подтянула ребенка со спины к животу, намереваясь спустить его наземь. Обхватив его обеими руками, она стала подниматься по ступенькам к святилищу.

— Ты ведь хороший мальчик, правда. Подожди здесь немного! — сказала она, прильнув щекой к щеке малыша. Затем, распустив пояс, обвязала им ребенка, а другой конец привязала к поручням святилища. И, спустившись по ступеням вниз, стала совершать стократное поклонение "охякудо", шагая туда-обратно по тропинке, выложенной камнями[3].

1. Хатиман — бог войны, считавшийся также хранителем буддизма.
2. Обычные действия при обращении с молитвой к синтоистскому божеству.
3. Охякудо — ритуал моления; совершался рано утром или ночью, так как считалось, что, для того чтобы молитва была услышана, никто не должен видеть молящегося. Ритуал заключался в стократном (без перерыва) обходе территории святилища или храма и/или в вознесении молений в продолжение ста дней подряд.

Ребенок, привязанный к поручням святилища, в кромешной тьме ползал под навесом, удаляясь на длину пояса. Такие ночи были поистине подарком для матери. Но когда привязанный ребенок принимался громко плакать, она не находила себе места от беспокойства. Задыхаясь, спешила как можно скорее закончить стократное поклонение. Иногда ей ничего не оставалось, как, прервав поклоны, подняться наверх и успокоить сына. А затем начинать все сызнова.

Отец, о котором так тревожилась мать, не смыкавшая глаз ночи напролет, давно уже был убит одним ронином.

Я слышал эту печальную историю во сне от своей мамы.

Десятая ночь

Прошло семь дней с тех пор, как Сётаро похитила женщина. Кэн-сан пришел рассказать мне, что вечером седьмого дня Сётаро неожиданно вернулся и тут же слег в постель с высокой температурой.

В нашем квартале Сётаро был одним из самых красивых молодых людей. К тому же он был исключительно порядочен и честен. У него была только одна слабость. С наступлением вечера он надевал шляпу-панаму и, устроившись у входа в фруктовую лавку, принимался разглядывать лица проходивших мимо женщин. И не уставал восхищаться ими. Ничем другим он не был замечателен.

Когда женщин среди прохожих не было, он не смотрел на дорогу, а разглядывал фрукты. В лавке каких только фруктов не было! Персики, яблоки, мушмула, бананы были уложены по корзинам и расставлены в два ряда да так красиво, что можно было сразу купить любой фрукт в качестве гостинца. Сётаро, глядя на эти корзины с плодами, говорил: “Какие красивые!” Он уверял, что если станет торговцем, то непременно торговцем фруктами. Но, по своему обыкновению, надев шляпу, слонялся без дела.

Случалось, глядя на китайские лимоны, он с видом знатока говорил, что их цвет великолепен. Но ни разу и монетки не потратил на фрукты! Даже задаром не стал бы их пробовать. Только цвет их нахваливал.

Однажды вечером перед лавкой неожиданно остановилась женщина. Одета она была со вкусом и держалась с достоинством. Рисунок ее кимоно очень приглянулся Сётаро. Но еще больше его восхитила ее красота. Когда Сётаро, сняв свою драгоценную шляпу, вежливо поклонился, женщина, указав на самую большую корзину с фруктами, сказала: “Вот

эту, пожалуйста". Сётаро тут же подал ей корзину. Женщина, едва попробовав приподнять корзину, тут же сказала: "Ах, какая тяжелая!"

Сётаро ничем не был занят, а кроме того, всегда был рад оказать помощь, поэтому и предложил: "Позвольте, я донесу корзину до вашего дома", — и покинул лавку вместе с женщиной. С тех пор он больше не возвращался.

Даже для Сётаро это было чересчур легкомысленно. Родственники и друзья взволновались и подняли шум: не стряслось ли с ним чего-нибудь? Но вот вечером седьмого дня он неожиданно вернулся. Обступившие его друзья и родственники наперебой стали спрашивать: "Сё-сан, да где же ты был?" Сётаро отвечал, что ездил на поезде в горы.

Видно, он и впрямь ездил очень далеко. По словам Сётаро, сойдя с поезда, они с женщиной оказались среди равнины. Это была бескрайняя равнина, и вокруг, куда ни глянь, зеленела трава. Вместе с женщиной они шли по траве и вдруг оказались у края пропасти. И тут она сказала Сётаро: "Пожалуйста, прыгните вниз". Сётаро заглянул в пропасть — дна не было видно, только отвесный склон. Сётаро, снова сняв свою шляпу-панаму и усердно прося прощения, стал отказываться. Тогда женщина сказала: "Раз вы отказываетесь прыгнуть, пусть вас оближет свинья. На это вы согласны?" Сётаро терпеть не мог свиней и рассказчика баллад Кумоэмона[1]! Но раз он не был готов рисковать жизнью, то решил, что это лучше, чем прыгать в пропасть. И тут же, визжа, появилась свинья. Сётаро пришлось ударить ее по морде своей тонкой тростью из пальмового дерева. Взвизгнув, свинья кубарем покатилась в пропасть. Едва Сётаро успел вздохнуть с облегчением и перевести дух, как еще одна свинья ткнулась в него огромным рылом. И снова он взмахнул тростью. Свинья с визгом покатилась на дно пропасти вверх тормашками. Следом тут же появилась еще одна. В тот же миг Сётаро обернулся и увидел: по всей равнине, куда ни кинь взор, бессчетное множество свиней, сбившись в стадо и визжа, двигалось на него, стоявшего на самом краю пропасти. Сердце у Сётаро дрогнуло. Но пришлось отбиваться, методично ударяя тростью по приближавшимся, одна за другой, свиным мордам. Удивительно, но свиньи падали на дно расселины, стоило ему лишь коснуться тростью их пятачка. Заглянув в бездонную пропасть, он увидел вереницы падающих свиней, перевер-

1. Тотюкэн Кумоэмон (1873–1916) — рассказчик баллад под музыкальный аккомпанемент (яп. нанивабуси).

нувшихся вверх тормашками. Сётаро ужаснулся при мысли, что сбросил в пропасть такое множество свиней. Но свиньи всё прибывали. Поднимая копытами черную тучу пыли, вытаптывая траву, беспрерывно визжа, они стремительно надвигались на него. В отчаянии, собрав все силы, Сётаро бил свиней по мордам семь дней и шесть ночей. Но в конце концов силы покинули его, руки стали, как желе, свинья лизнула его, и он упал в пропасть.

Доведя свой рассказ о Сётаро до этого места, Кэн-сан сказал: “Все потому, что нехорошо глазеть на женщин!” Я с ним охотно согласился. Кэн-сан, однако, добавил, что хотел бы заполучить шляпу-панаму Сётаро.

Сётаро обречен. Шляпа у Кэн-сана в кармане.

1908

Джонатан Франзен
Дальний остров

Эссе

Перевод с английского Л. Мотылева
Вступление Б. Дубина

Эссе Джонатана Франзена посвящено памяти его младшего друга, американского писателя Дэвида Фостера Уоллеса (1962—2008), на траурной церемонии в честь которого Франзен выступал с Доном Делилло, Зэди Смит и другими заметными фигурами литературной сцены. Значимость написанного Уоллесом, который покончил с собой 46-летним и был назван тогда "лучшим в своем поколении", оценили уже при его жизни. И не только в англоязычном мире: главный, снискавший писателю славу, роман — более чем тысячестраничная "Бесконечная шутка", включенная журналом "Тайм" в число 100 лучших книг на английском языке после джойсовского "Улисса", — вышел в итальянском переводе в 2000 году и был переиздан в 2006-м. Путеводитель по этому "самому длинному и самому умному американскому роману" появился в 2003-м (2-е издание — 2012), 500-страничное исследование уоллесовского opus magnum — в 2007-м. Написанная на нескольких языках литература об Уоллесе и его книгах сегодня уже намного превышает по объему то немалое, что создано самим писателем, и постоянно множится. Только в прошлом году в нью-йоркском издательстве "Вайкинг" вышла его биография, а в университете Айовы — увесистый том трудов о его наследии. По уоллесовской прозе снимаются фильмы ("Краткие интервью с подонками"), пишутся оперы ("Три-Стан"). Хотелось бы надеяться, что знакомство российского читателя с новеллами, романами, эссе Уоллеса — тоже не за горами.

На юге Тихого океана, в пятистах милях от берегов центральной части Чили, есть вулканический остров с очень крутыми скалистыми берегами, семь миль в длину и четыре в ширину, — остров, где живут миллионы морских птиц и тысячи морских котиков, но совсем нет людей, если не считать горстки рыбаков, приплывающих в теплый сезон ловить омаров. Чтобы добраться до острова, который официально называется Александр-Селькирк, надо вначале перелететь из Сантьяго на восьмиместном самолете, со-

© 2011 by Jonathan Franzen
© Л. Мотылев. Перевод, 2013
© Б. Дубин. Вступление, 2013

Книга Д. Франзена "Дальний остров" полностью выйдет в издательстве "Corpus".

вершающем рейсы дважды в неделю, на другой остров, расположенный на сто миль восточнее. Затем — доплыть на небольшом открытом судне от взлетно-посадочной полосы до единственной деревни архипелага Хуан-Фернандес, там дождаться одного из катеров, от случая к случаю отправляющихся в двенадцатичасовое плавание по открытому морю, а потом, зачастую, ждать дальше, порой не один день, пока не установится погода, подходящая для высадки на скалистый берег. В шестидесятые годы чилийские чиновники, ведающие туризмом, переименовали остров в честь Александра Селькирка, шотландского матроса, чья одинокая жизнь на этом архипелаге, вероятно, послужила основой для романа Даниеля Дефо "Робинзон Крузо"; однако местные жители и сейчас называют остров по-старому: Мас-Афуэра, то есть Дальний.

В конце прошлой осени мне просто необходимо было забраться куда-нибудь подальше от всех. Я четыре месяца без отдыха занимался популяризацией своего романа, шел по очень жесткому графику и все больше чувствовал себя ромбиком, движущимся по полосе состояния медиаплеера. Целые пласты моей личной истории мертвели, потому что я слишком много о них говорил. И каждое утро — те же подстегивающие дозы никотина и кофеина, каждый вечер — тот же штурм очереди скопившихся за день электронных писем, каждый поздний вечер — те же отупляющие порции алкогольного удовольствия. И однажды, прочтя про Мас-Афуэру, я вообразил, как сбегу туда и останусь один, подобно Селькирку, во внутренней части острова, где никто не живет даже в теплое время года.

Я подумал еще, что хорошо бы, пока я там буду, перечитать книгу, которую обычно называют первым английским романом. "Робинзон Крузо" — великий ранний памятник радикального индивидуализма, история практического и психического выживания обычного человека в глубокой изоляции. Индивидуалистическая инициатива романиста — поиски смысла в реалистическом повествовании — на три века определила преобладающую литературную форму в нашей культуре. Голос Крузо слышится в голосах Джейн Эйр, "подпольного человека" у Достоевского, человека-невидимки у Уэллса, Рокантена у Сартра. Все эти произведения волновали меня при чтении, и в самом слове "novel" (роман), сулящем novelty (новизну), жива память об этих и других литературных впечатлениях молодости, поглощавших меня настолько, что я часами сидел на месте и не испытывал даже намека на скуку. Иан Уотт в своей классической книге "Становление романа" связал бурный количественный рост романной продукции в XVIII веке с растущим спросом на домашние развлечения со стороны женщин, избавленных от традиционных хозяйственных забот и получивших слишком много свободного времени. Английский роман,

согласно Уотту, в прямом смысле возрос из праха скуки. А скука была именно тем, от чего я страдал. Чем чаще прибегаешь к искусственным средствам борьбы с ней, тем менее эффективным каждое из этих средств становится, поэтому мне приходилось повышать и повышать дозировки, пока, незаметно для себя, я не начал проверять электронную почту каждые десять минут, пока мои порции жевательного табака не стали очень большими, пока мои две рюмки на ночь не превратились в четыре, пока я не достиг в компьютерном "солитере" такого мастерства, что целью моей было уже не выиграть партию, а выиграть две или более партий подряд — этакий "метасолитер", где интерес состоит не в игре как таковой, а в скольжении по волнам беспроигрышных серий. Самой длинной на тот момент была у меня серия из восьми выигрышей.

Я договорился, что меня доставит на Мас-Афуэру маленькое судно, зафрахтованное группой предприимчивых ботаников. Потом предался небольшой консьюмеристской оргии в REI[1], где романтика робинзонад обитает в отделе ультралегкого снаряжения — в особенности, пожалуй, в таких символах цивилизации среди первозданной природы, как бокал для мартини из нержавеющей стали с отделяющейся ножкой. Помимо нового рюкзака, палатки и ножа, я обзавелся такими новомодными спецпродуктами, как пластиковая тарелка с силиконовым ободом, которую можно, подняв этот обод, превратить в миску, как таблетки аскорбиновой кислоты, нейтрализующей вкус йода, которым надо будет стерилизовать воду, как полотенце из микроволокна, в сложенном виде влезающее в невероятно маленький футлярчик, как пакеты с сублимированным органическим вегетарианским чили, как неломающаяся вилка. Кроме того, я запасся в большом количестве орехами, тунцом и белковыми батончиками: мне сказали, что, если погода ухудшится, я могу застрять на Мас-Афуэре надолго.

Накануне вылета в Сантьяго я навестил свою приятельницу Карен, вдову писателя Дэвида Фостера Уоллеса. Когда я уже собирался уходить, она неожиданно спросила, не мог ли бы я взять с собой и развеять на Мас-Афуэре часть праха, оставшегося после кремации, Дэвида. Я согласился, и тогда она нашла старинный деревянный спичечный коробок — крохотную "книжечку" с выдвижным ящичком — и всыпала туда горстку праха, сказав, что мысль о частичках Дэвида, которые обрели покой на отдаленном необитаемом острове, будет для нее утешительна. Лишь немного погодя, отъехав от ее дома, я понял, что она дала мне прах не только ради себя и Дэвида, но и ради моего блага. Она знала от

1. REI (Recreational Equipment Inc.) — потребительский кооператив в США, специализирующийся на торговле спортивным и туристическим снаряжением. (*Здесь и далее – прим. перев.*)

меня самого, что мое нынешнее бегство от себя началось два года назад, вскоре после смерти Дэвида. Тогда я решил положить конец размышлениям об ужасном самоубийстве человека, которого я так сильно любил, уйти от них в злость и в работу. Но теперь, когда работа была завершена, труднее стало игнорировать то, что по одной, очень даже правдоподобной, версии его самоубийства, Дэвида погубила скука и погубило отчаяние из-за его писательских перспектив. Почему у скуки, мучившей последнее время и меня, был привкус отчаяния? Не потому ли, что я нарушил обещание, данное самому себе? Обещание, что, написав книгу и исполнив все сопутствующие обязательства, я позволю себе испытать из-за смерти Дэвида нечто большее, нежели скоротечное горе и непреходящую злость.

И вот последним утром января в густом тумане я прибыл на место на острове Мас-Афуэра, которое называется Ла-Кучара (Ложка). Высота — три тысячи футов над уровнем моря. С собой у меня имелись блокнот, бинокль, "Робинзон Крузо" в мягкой обложке, миниатюрная "книжечка" с останками Дэвида, рюкзак с туристским снаряжением, неточная до нелепости карта острова — и ни алкоголя, ни табака, ни компьютера. Если не считать того, что до места мне помогли добраться молодой человек из природоохранной службы и мул, на которого мы навьючили мой рюкзак, да еще того, что по настоянию заботливых знакомых я взял с собой рацию, выпущенный десять лет назад GPS-навигатор, спутниковый телефон и несколько запасных батареек, я был совершенно оторван от мира и одинок.

Я впервые познакомился с "Робинзоном Крузо", когда книгу прочел мне вслух отец. Это был единственный роман, помимо "Отверженных", что-то для него значивший. Удовольствие, с которым он читал мне "Робинзона", ясно показывало: отец отождествляет себя с Крузо так же глубоко, как с Жаном Вальжаном (последнего он, будучи самоучкой, незнакомым с французским произношением, называл Джином Вэлджином). Подобно Крузо, мой отец чувствовал себя отъединенным от других людей, был тверд в своей житейской умеренности, верил в превосходство западной цивилизации над "дикарством" прочих культур, полагал, что природный мир надлежит подчинять себе и эксплуатировать, и был мастером на все руки. Выживание собранного, ответственного человека на пустынном острове в окружении каннибалов было для отца идеальным сюжетом романа. Он родился в неказистом городке, построенном первопроходцами, в числе которых были его отец и дяди, и с юных лет работал на строительстве дорог, живя в лагерях среди северных болот. В подвале нашего дома в Сент-Луисе у него была опрятная мастерская, где он точил инструмент, чинил одежду (он был хорош и в портняжном деле) и изготавливал из дере-

ва, металла и кожи крепкие вещи, позволявшие решать хозяйственные проблемы. Несколько раз в году он вывозил меня с друзьями на природу с ночевкой, сам, пока мы резвились в лесу, разбивал лагерь, из грубых старых одеял устраивал себе постель подле наших спальных мешков с синтетическим наполнителем. В какой-то мере, думаю, идея вывозить меня на природу служила для него предлогом, чтобы самому выбираться в лес.

Мой брат Том, умелец не хуже нашего отца, после того как уехал учиться в колледж, всерьез увлекся пешим туризмом. Я слушал рассказы Тома – которому во всем пытался подражать – о десятидневных одиночных походах по Колорадо и Вайомингу и мечтал тоже стать пешим туристом. Первая возможность представилась в шестнадцать лет, когда я уговорил родителей позволить мне участвовать в летнем школьном факультативе под названием "Поход по западным краям". В автобусе, полном подростков и вожатых, мы с моим другом Уайдманом отбыли к Скалистым горам, где нам предстояли две недели "исследований". При мне был старомодный красный рюкзак Тома фирмы "Джерри", а в нем – блокнот (точно такой же, какой брал с собой Том) для записей о лишайниках, которые я более или менее наугад выбрал темой своих исследований.

На второй день похода по национальной зоне отдыха Сотус-Уилдернесс в Айдахо всем нам предложили провести двадцать четыре часа в одиночестве. Мой вожатый отвел меня в негустую рощицу желтых сосен, оставил там одного, и очень скоро, хотя день был ясный и не предвещал ничего опасного, я уже лежал, съежившись, в палатке. Чтобы ощутить пустоту жизни и ужас существования, мне, таким образом, хватило нескольких часов без человеческого общества. На следующий день я узнал, что Уайдману, который, кстати, на восемь месяцев старше меня, сделалось так одиноко, что он вернулся к месту, откуда был виден базовый лагерь. Я сумел выдержать – и, более того, почувствовал, что смог бы пробыть один и дольше суток, – благодаря тому, что принялся писать:

ЧЕТВЕРГ, 3 ИЮЛЯ

Сегодня вечером я начинаю вести записи. Если кто-нибудь их прочтет, он, надеюсь, простит, что я налегаю на местоимение "я". *Я* ничего не могу с этим поделать. Ведь пишу же *я*.

Когда я вернулся сегодня после ужина к своему костру, я в какой-то миг почувствовал, что моя алюминиевая кружка – это мой друг: он испытующе смотрит на меня, сидя на камне...

Сегодня днем одна муха (по крайней мере, мне кажется, что это была одна и та же) страшно долго жужжала вокруг моей головы. Прошло какое-то время, и я перестал думать о ней как о назойливом, гадком насекомом, я подсознательно пришел к мысли, что это противник, к которому я на самом деле отношусь с любовью, что мы просто играем так друг с другом.

И еще сегодня днем (это было главное, чем я занимался) я сидел

на выступе скалы и пытался выразить в стихах — в сонете, — как мне в разное время по-разному виделась цель моей жизни (три точки зрения). Сейчас я, конечно, вижу, что напрасно старался, ведь я даже в прозе не могу этого сделать. Однако, занимаясь этим, я уверился, что жизнь — зряшная трата времени, примерно так. Я до того опечалился и разнервничался, что все мысли были полны отчаяния. Но потом посмотрел на липайники, записал о них кое-что, успокоился и подумал, что грустил я не от бесцельности жизни, а от незнания, кто я и зачем существую, и еще оттого, что я не показал родителям свою любовь к ним. Последнее было близко к истине, но следующая моя мысль была немного мимо. Я подумал: вся беда в том, что мало времени, что жизнь слишком коротка. Это, конечно, так, но моя печаль была не из-за этого. Вдруг меня осенило: я тоскую по родным.

Поставив себе диагноз "тоска по дому", я смог бороться с болезнью при помощи писем домой. До конца похода я и в дневнике каждый день что-то писал, и само собой вышло, что я стал отдаляться от Уайдмана и все больше внимания обращать на девушек; никогда раньше я не добивался таких успехов в общении. Чего мне прежде не хватало — это некоего, хотя бы даже и не вполне отчетливого, представления о своей личности, а тут, в одиночестве, заполняя страницу фразами от первого лица, я такое представление обрел.

Немало лет потом я подумывал о новых походах, но не настолько целеустремленно, чтобы куда-нибудь отправиться. Личность, которую писание помогало мне в себе открывать, все-таки не была идентичной личности Тома. К его старому рюкзаку фирмы "Джерри" я, однако, прикипел душой, хотя для повседневного использования он был не слишком удобен, и я подпитывал свои мечты о дикой природе, покупая дешевые второстепенные принадлежности туристского быта — такие, как, например, гигантский флакон мятного жидкого мыла "Доктор Броннер", которое Том не раз мне расхваливал. Собираясь перед началом последнего года обучения ехать на автобусе в колледж, я положил "Доктора Броннера" в рюкзак, но по дороге флакон лопнул, и моя одежда и книги намокли. Когда я попытался отмыть рюкзак под душем в общежитии, ткань расползлась у меня в руках.

Остров Мас-Афуэра, когда я приближался к нему на катере, выглядел не слишком гостеприимно. Моя единственная карта острова была распечаткой с сайта Google Earth на листе стандартного размера, и я сразу же увидел, что перед поездкой излишне оптимистично истолковал обозначенные на ней контуры. То, что на карте казалось крутым холмом, было отвесным утесом, то, что казалось пологим склоном, было крутым холмом. С десяток хижин, где находили приют ловцы омаров, сгрудились на дне громадного ущелья меж двух зеленых "плеч" острова, вздымавшихся на высоту в три с половиной тысячи футов

и, точно шапкой, накрытых мрачно клубящейся тучей. Океан, всю дорогу казавшийся относительно спокойным, гнал к берегу волны, они высоко вскидывались в проходе между скалами пониже хижин. Чтобы попасть на остров, мы с ботаниками спрыгнули в рыбацкую моторную лодку и подошли на ней к берегу на расстояние в сотню ярдов. Там лодочники заглушили мотор, мы взялись за канат, прикрепленный к бую, и стали подтягиваться к берегу. Когда мы совсем приблизились к скалам, лодку беспорядочно закачало, и, пока лодочники подсоединяли трос, который должен был нас вытащить, вода начала перехлестывать через кормовой борт. На берегу было неимоверное количество мух — недаром остров прозвали Мушиным. Сквозь открытые двери некоторых хижин аудиоплееры, соревнуясь в громкости, посылали навстречу гнетущей огромности ущелья и холодному океанскому прибою потоки северо- и южноамериканской музыки. И, словно мало было во всем этом негостеприимства, за хижинами высилась роща больших мертвых деревьев, выбеленных до цвета кости.

Внутрь острова меня сопровождали молодой рейнджер Данило и мул с невозмутимой мордой. Вид крутого склона, по которому надо было подниматься, не позволял мне даже делать вид, будто я недоволен, что мне не придется нести свой рюкзак. За спиной у Данило висела винтовка, из которой он надеялся подстрелить кого-нибудь из некоренной популяции коз, пережившей недавнюю попытку одной нидерландской экологической организации уничтожить ее. Под серыми утренними тучами, вскоре превратившимися в туман, мы двигались по бесконечному серпантину и пересекли ложбину, густо поросшую маки́ — привнесенным сюда людьми видом, который используют при починке ловушек для омаров. На тропе в обескураживающем количестве лежали кучи оставленного мулами помета; из живых тварей мы видели только птиц: маленького серобокого водяного печника и нескольких хуан-фернандесовских канюков. Это два из пяти сухопутных видов птиц, встречающихся на Мас-Афуэре. Кроме того, этот остров — единственное известное место гнездования двух интересных видов буревестника и одной из редчайших певчих птиц планеты — островной райадито, которую я надеялся увидеть. Честно говоря, к тому времени, как я вылетел в Чили, наблюдение за редкими птицами осталось единственным занятием, о котором я точно мог сказать, что оно не вызовет у меня скуку. Популяция райадито, бóльшая часть которой живет на маленьком высокогорном участке острова, называемом Лос-Иносентес, насчитывает сейчас, как полагают, всего пятьсот особей. Очень немногие хоть раз видели эту птицу.

Раньше, чем я ожидал, мы с Данило добрались до Ла-Кучары, и в тумане показались очертания маленького *рефухио* – приюта для рейнджеров.

На три тысячи футов мы поднялись всего за два часа с небольшим. Я знал, что в Ла-Кучаре есть *рефухио*, но воображал себе примитивную хижину и не предвидел, какая передо мной встанет проблема. Островерхая крыша приюта была прикреплена к земле тросами-растяжками, внутри имелись пропановая плитка, двухъярусная койка с поролоновыми матрасами, малопривлекательный, но годный к использованию спальный мешок и шкафчик, набитый макаронными изделиями и консервами; стало ясно, что я мог не брать сюда ничего, кроме йодистых таблеток, и выжил бы. Наличие *рефухио* делало мой и без того довольно-таки искусственный проект одиночного самодостаточного существования еще более искусственным, и я решил вести себя так, будто никакого *рефухио* нет.

Данило снял с мула мой рюкзак и по окутанной туманом тропке провел меня к ручейку, который образовал в одном месте маленький водоем. Я поинтересовался, можно ли дойти отсюда до Лос-Иносентес. Данило показал рукой вверх по склону: "Да, это три часа, по *кордонес*". Я подумал было спросить, можно ли отправиться туда вместе прямо сейчас — я хотел разбить лагерь поближе к райадито, — но моему проводнику явно не терпелось вернуться на берег. Он отбыл с мулом и со своей винтовкой, а я приступил к робинзоновским делам.

Прежде всего следовало набрать и очистить сколько-то воды для питья. Взяв фильтрационный насос и брезентовый мешок для воды, я двинулся, казалось мне, по тропке, ведущей к водоему, до которого от *рефухио* было, я знал, шагов семьдесят, не больше, — и мигом заблудился в тумане. Когда наконец, перепробовав несколько тропок, я выбрался к водоему, выяснилось, что шланг насоса лопнул. Насос я купил двадцать лет назад с мыслью, что он мне пригодится, если я когда-нибудь надумаю один отправиться в глухие места, и пластик за это время стал хрупким. Я наполнил мешок довольно мутной водой, а затем, вопреки своему же решению, вошел в *рефухио*, вылил воду в большую кастрюлю и кинул туда же несколько йодистых таблеток. На эти простые действия почему-то ушел целый час.

Раз уж я оказался в *рефухио*, я снял одежду, мокрую от росы и тумана, переоделся и попытался с помощью излишков привезенной туалетной бумаги высушить изнутри ботинки. Я обнаружил, что GPS-устройство — единственное, к которому я не захватил запасных батареек, — весь день было включено и тратило энергию. Тревогу, которую это у меня вызвало, я заглушил тем, что принялся стирать с пола *рефухио* жидкую грязь очередными комками туалетной бумаги. Наконец, выйдя наружу, я отважился в поисках места для лагеря за пределами окружавшего *рефухио* пояса из мулиного помета обследовать продолговатую каменистую площадку над обрывом. У меня над головой совершил пикирующий бросок канюк; с ва-

луна нахально подал голос водяной печник. После долгих хождений, взвесив всевозможные за и против, я выбрал ложбинку, дававшую некоторую защиту от ветра и имевшую еще одно преимущество: оттуда не было видно *рефухио*. Там я перекусил сыром и копченой колбасой.

С тех пор как я остался один, прошло четыре часа. Я поставил палатку, притянув каркас к валунам и придавив колышки самыми тяжелыми камнями, какие мог притащить; затем сварил кофе на своей маленькой бутановой плитке. Вернувшись в *рефухио*, я возобновил труды над промокшей обувью, прерываясь каждые пять минут, чтобы открыть окна и выдворить мух, которые раз за разом находили способы проникнуть внутрь. Отлучить себя от удобств, предлагаемых *рефухио*, оказалось не легче, чем от тех современных средств против скуки, от которых я, собственно, сюда и сбежал. Я принес еще один мешок воды и, используя большую кастрюлю и пропановую плитку, нагрел себе воды для мытья; после этого *намного приятнее* было вернуться в помещение и там вытереться полотенцем из микроволокна и одеться, чем проделывать это в грязи и туманной сырости. Раз уж я дал такую слабину, я пошел еще дальше: перетащил один из матрасов на каменистую площадку и положил его в палатку. “Но это все, — сказал я себе вслух. — Других поблажек не будет”.

Если не считать жужжания мух и раздававшихся порой трелей печника, тишина вокруг моего лагеря стояла полная. Иногда туман немного рассеивался, становились видны скалистые склоны и влажные, заросшие папоротником долины, но потом видимость опять ухудшалась. Я достал блокнот и записал все, что сделал за прошедшие семь часов: принес воды, поел, поставил палатку, помылся. Подумал было, не написать ли, налегая на местоимение “я”, что-нибудь исповедальное, но почувствовал, что стесняюсь. Явно за последние тридцать пять лет я так привык выражать себя опосредованно, через вымысел, через повествование, что мог теперь использовать дневник только для решения внутренних проблем и самоанализа. Даже тогда, в Айдахо, подростком, я писал не из глубин отчаяния, а уже потом, благополучно его преодолев, — теперь же и подавно что-то значили для меня только истории, рассказанные ретроспективно, где отобрано важное, где жизненный материал прояснен.

Мой план на завтра состоял в том, чтобы попытаться увидеть райадито. Сама мысль, что на острове есть эта птица, делала его интересным для меня. Выискивая птиц новых для себя видов, я ищу утраченную во многом первозданность, остатки мира, ныне в немалой степени разгромленного человеком, но по-прежнему великолепно безразличного к нам; удовольствие от наблюдения за редкой птицей, каким-то образом ухитряющейся даже сейчас питаться и размножаться, ве-

лико и стойко. Я решил, что завтра встану на рассвете и весь день, если понадобится, потрачу на то, чтобы добраться до Лос-Иносентес и вернуться назад. Ободренный перспективой этого весьма нелегкого испытания, я приготовил себе миску чили, а затем, хотя еще не стемнело, застегнулся у себя в палатке. На очень удобном матрасе, в спальном мешке, который сохранился у меня со школьных лет, с туристским фонариком на лбу, я принялся за чтение "Робинзона Крузо". И впервые за весь день почувствовал себя счастливым.

Одним из самых больших первых поклонников "Робинзона Крузо" был Жан-Жак Руссо, в "Эмиле" предложивший положить этот текст в основу воспитания детей. Следуя утонченной французской традиции изъятия нежелательных мест, Руссо имел в виду не всю книгу, а ее длинную центральную часть, где Робинзон рассказывает о четверти века, прожитой им на необитаемом острове. Мало кто из читателей будет спорить с тем, что это самая захватывающая часть романа, в сравнении с которой приключения Робинзона до и после (рабство у турецкого пирата, нападение огромных волков и успешная защита от них) выглядят тусклыми и рутинными. Притягательная сила истории о выживании отчасти объясняется конкретностью рассказываемого: от товарищей Робинзона по плаванию после кораблекрушения "и следов не осталось, кроме трех шляп, одной фуражки да двух непарных башмаков"[1]; подробно перечислено все полезное, что он переправил на остров с разбитого корабля; во всех деталях описывается, как он подкрадывался к обитавшим на острове диким козам, как с нуля осваивал способы изготовления мебели, лодок, гончарных изделий, выпечку хлеба. Но главное, что оживляет эти приключения без приключений, делает их необычайно увлекательными, — это их доступность воображению обычного читателя. Я понятия не имею, что бы делал, попади я в рабство к турку или окажись среди голодных волков; скорее всего, я был бы слишком напуган, чтобы вести себя так же, как Робинзон. Но каждый, кто читает, как он на практике решал проблему пропитания, защищался от холода и непогоды, боролся с болезнью, с одиночеством, приглашается внутрь повествования, получает возможность вообразить, что бы *я* делал в подобных тяжелейших обстоятельствах, сравнить *свою собственную* жизнестойкость, находчивость, трудолюбие с его (именно этим, уверен, книга привлекала моего отца). До тех пор пока на уединенный остров не вторгается окружающий мир в лице воинственных людоедов, Робинзон и его читатель пребывают вдвоем, и читателю очень уютно. В повествовании, более насыщенном действием, описания повседневных занятий и переживаний Ро-

1. Перевод З. Журавской и М. Шишмаревой.

бинзона были бы тем, что литературовед Франко Моретти с оттенком пренебрежения называет "наполнителем". Великим изобретением Дефо, пишет Моретти, было резкое расширение этого "наполнителя"; такого рода рассказ о повседневности стал затем обычной принадлежностью реалистической художественной прозы — от Остин и Флобера до Апдайка и Карвера.

Обрамляют "наполнитель" Дефо и в какой-то мере проникают в его толщу элементы других, предшествующих крупных прозаических форм: античного эллинистического романа, включавшего в себя истории о кораблекрушениях и порабощении; католической и протестантской духовной автобиографии; средневекового и ренессансного рыцарского романа; испанского плутовского романа. Роман Дефо следует, кроме того, традиции повествований, основанных без должного почтения или якобы основанных на событиях из жизни реальных, известных публике лиц; в случае "Крузо" прототипом был Александр Селькирк. Утверждали даже, что Дефо задумал свой роман как некую утопию, как элемент пропаганды, восхваляющей религиозные свободы и экономические возможности колоний Англии в Новом Свете. Разнородный состав "Робинзона Крузо" высвечивает сомнительность — пожалуй, даже абсурдность — упрощенных рассуждений о "становлении романа" и провозглашения книги Дефо первой особью вида. "Дон Кихот", что ни говори, увидел свет на сто с лишним лет раньше, и это несомненно роман. И почему бы не называть романами (novels) и рыцарские романы (romances), которые в XVII веке по-прежнему широко издавались и читались? Большинство европейских языков не делает между ними различий. Да, ранние английские романисты зачастую особо подчеркивали, что тот или иной их труд — не просто рыцарский или приключенческий роман, а нечто большее; но о том же, если на то пошло, заявляли и многие авторы romances. Так или иначе, к началу XIX века, когда Вальтер Скотт и другие включили лучшие образцы жанра в авторитетные собрания, англичане уже не только ясно себе представляли, что понимается под словом "роман", но и во множестве экспортировали романы в переводах в другие страны. Определенно возник жанр, которого раньше не было. Ну так что же такое роман и почему он появился именно тогда?

Самым убедительным остается политико-экономический подход к вопросу, предложенный Ианом Уоттом пятьдесят лет назад. Местом рождения романа в его современной форме стала экономически господствующая и самая изощренная нация Европы, и Уотт дает прямолинейный, но мощный анализ этого совпадения. Уотт сплетает воедино прославление предприимчивой личности, широкое распространение грамотной буржуазии, которой очень хочется читать о себе, увеличение социальной мобильности (подталкивающее писателей к эксплуатации сопряженных с

ней тревог), разделение труда (создающее общество, где много интересных *различий*), распад старого социального порядка с появлением множества изолированных одиночек и, разумеется, резкий прирост свободного времени для чтения у среднего класса, чья жизнь именно тогда становилась комфортабельной. Параллельно с этим английское общество стремительно делалось все более светским. Основы новой экономики заложила протестантская теология, сформировав новое понятие о социальном порядке как о совокупности независимых, полагающихся на себя индивидуумов, связанных с Богом напрямую; но на рубеже XVII и XVIII веков на фоне процветания британской экономики становилось все менее очевидно, что индивидуум вообще нуждается в Боге. Да, многие страницы "Робинзона Крузо" — это подтвердит вам любой нетерпеливый юный читатель — посвящены духовному путешествию героя. Робинзон обретает на острове Бога, он раз за разом обращается к Нему в критические минуты, молится об избавлении от бед и исступленно благодарит Его за предоставление средств к этому избавлению. Однако, едва минует очередной кризис, он возвращается к своему былому практицизму и забывает о Боге; к концу книги возникает стойкое чувство, что спасло его не столько Провидение, сколько собственное трудолюбие и изобретательность. Читая о таком непостоянстве, о такой забывчивости Робинзона, видишь, как жанр духовной автобиографии перерастает в реалистическую художественную прозу.

Возможно, самый интересный аспект зарождения романа — эволюция ответов, которые английская культура давала на вопрос о правдоподобии. Считать ли необыкновенную историю истинной, *потому что* она необыкновенная, — или же ее необычайность должна служить доказательством, что история вымышлена? Этот вопрос не дает нам покоя по сей день (вспомним скандал из-за "мемуаров" Джеймса Фрея[1]), и, безусловно, он висел в воздухе в 1719 году, когда Дефо опубликовал первый и самый знаменитый том "Робинзона Крузо". Подлинное имя автора там нигде не значилось. Книга называлась "Жизнь и странные удивительные приключения Робинзона Крузо, <...> написанные им самим", и многие из первых читателей сочли историю невымышленной. Сомневающихся, однако, тоже хватало, и, выпуская в следующем году третий и последний том, Дефо счел своим долгом выступить в защиту правдивости написанного. Противопоставляя свою книгу рыцарским романам, где "сюжет вымышлен", он настаивал, что его повествование "хоть и аллегорично, но исторично", и утверждал, что "есть живой человек, и притом хорошо известный, чья жизнь и дела составляют

1. Джеймс Кристофер Фрей (р. 1969) — американский писатель. В его мемуарной книге "Миллион осколков" (2003) многое, как выяснилось, не соответствует действительности.

верную основу этих томов". Зная то, что мы знаем, о подлинной жизни самого Дефо — подобно Крузо, он попадал в переплет, затевая рискованные деловые предприятия, например, разводя виверр ради секрета их желез, используемого в парфюмерии, и, дважды побывав в долговой тюрьме, был хорошо знаком с одиночеством — и принимая во внимание слова, сказанные им в том же томе: "И вообще жизнь — единый целокупный акт одиночества, или же ей следует таковой быть", мы не без оснований можем заключить, что "хорошо известный" человек — сам Дефо. (Обращает на себя внимание созвучие фамилий: у обеих "о" на конце.) Роман, как мы понимаем его сегодня, это проекция человеческого опыта пишущего в сферу воображаемого, и решающий поворот к такому пониманию можно увидеть в пробном заявлении Дефо, что правда не обязательно должна быть строго исторична — что существует и "правда" романиста.

Литературовед Кэтрин Галлахер в эссе "Зарождение вымысла" рассматривает любопытный парадокс, имеющий отношение к этому виду правды: XVIII век был не только периодом, когда авторы вымышленных историй, начиная (приблизительно) с Дефо, перестали утверждать, что их истории не вымышлены, — тогда же они начали прилагать усилия к тому, чтобы истории эти *выглядели* невымышленными и правдоподобие вышло на первый план. Разгадка этого парадокса, по Галлахер, основана на еще одной особенности новой эпохи — на необходимости идти на риск. Когда твой бизнес зависит от вложения денег в акции, ты должен взвешивать вероятность разных исходов; когда браки перестали устраиваться родителями, приходится самим строить догадки о достоинствах потенциальной супруги или супруга. Роман в тех формах, какие он принял в XVIII веке, предоставлял читателю поле для игры, которая могла завершиться по-всякому и в то же время была безопасной. Открыто заявляя о своей вымышленности, он выводил на сцену героев, достаточно типичных, чтобы ты мог примерить их жизнь на себя, и при этом достаточно своеобразных, чтобы все-таки *не быть тобой*. Великим литературным изобретением XVIII столетия был, таким образом, не только жанр, но еще и *отношение* к этому жанру. Наше внутреннее состояние, когда мы сегодня берем в руки роман, — наше знание, что это плод воображения, и наш добровольный временный отказ от своего неверия в подлинность изображаемого — во многом определяет суть романа.

Ряд недавних исследований подорвали старое представление, будто в центре всех культур, в том числе устных, лежит эпос. Вымысел, будь то сказка или басня, похоже, предназначался главным образом детям. В эпохи, предшествовавшие Новому времени, истории читались ради получения сведений, в назидательных целях или чтобы пощекотать нервы; более серьезные литературные жанры —

поэзия и драматургия — требовали определенного технического мастерства. Сочинение романа, однако, было доступно всякому, у кого имелись перо и бумага, и удовольствие, которое роман доставлял, было характерно именно для новой эпохи. Погружение в вымышленные истории исключительно ради удовольствия стало занятием, которому теперь свободно (хотя порой и не без чувства вины) могли предаваться и взрослые. Этот исторический сдвиг в сторону чтения для собственного удовольствия был настолько глубок, что мы сейчас толком его и не видим. После того как роман пророс в сферы кино, телевидения и новейших видеоигр, где вымышленность, как правило, афишируется, где персонажи типичны и в то же время своеобразны, вряд ли преувеличением будет сказать, что нашу культуру от всех прежних отличает ее насыщенность развлечениями. Роман, будучи сцепленной парой — предмет и отношение к предмету, столь основательно наше отношение преобразовал, что предмет как таковой рискует оказаться более не нужным.

На другом острове того же архипелага, что и Мас-Афуэра — первоначально он назывался Мас-а-Тьерра (Ближний к материку), а теперь это остров Робинзон-Крузо, — я видел, какой ущерб причинили местной флоре три материковых вида растений (маки́, уньи и ежевика), сплошь покрывшие целые холмы и заполонившие ложбины. Особенно зловредной выглядела ежевика, которая губит даже высокие деревья исконных видов, а размножается отчасти вегетативно — отростками, похожими на стекловолоконные кабели, утыканные колючками. Два местных вида растений уже погибли, и, если не будут приняты масштабные меры, многие другие постигнет та же участь. Бродя по острову Робинзон-Крузо, выискивая на периферии ежевичных зарослей нежные эндемичные папоротники, я начал думать о романе как об организме, который на острове Англия мутировал в вирулентного агрессора, а затем, распространяясь по странам, подчинил себе всю планету.

Генри Филдинг в романе "Джозеф Эндрюс" отождествляет свои персонажи с "видами": они не индивидуальны, но и не универсальны, а представляют собой нечто среднее. Однако в преобразованной романом культурной среде человеческие виды уступили место универсальной толпе индивидуумов, чья самая яркая характеристика — то, что они одинаково развлекаются. Именно этот монокультурный призрак увидел внутренним взором Дэвид Уоллес, именно ему он дал бой своим эпическим романом "Бесконечная шутка". И средства сопротивления, которые он в этом романе использовал: комментарии, отступления, нелинейность, гиперссылки — предвосхитили выход на сцену еще более вирулентного захватчика, еще радикальней насаждающего индивидуализм, чем вытесняемые им сегодня роман и его потомство. Да, ежевика (blackberry) на острове Робинзон-Крузо напомнила

мне всепобеждающий роман, но в не меньшей степени она похожа на агрессивно-инвазивный интернет, переносимый смартфонами BlackBerry, который позволяет человеку проецировать свое "я" уже не на повествование, а на весь мир. Вместо новостей как таковых — *мои* новости. Вместо одного футбольного матча — фрагменты пятнадцати разных матчей, порождающие статистику моей персональной воображаемой лиги. Вместо "Крестного отца" — "Что отчебучил мой кот". Индивидуум вышел из-под контроля, "Рядовой человек" сделался Чарли Шином[1]. В "Робинзоне Крузо" личность стала островом; теперь, похоже, остров становится целым миром.

Я проснулся ночью из-за того, что борта палатки бились о спальный мешок: поднялся сильный ветер. Я вставил в уши затычки, но удары все равно были слышны, потом они сделались тяжелыми, громкими. Когда наконец стало светать, я увидел, что с палаткой непорядок: полог провис, на нем болталась секция одного из шестов. Ветер разогнал облака подо мной, открыв вид на океан, до которого было поразительно близко; по свинцу его вод растекалась красная заря. Мобилизовав себя, как я умею перед поисками редкой птицы, я наскоро позавтракал, положил в рюкзак рацию, спутниковый телефон и запас продовольствия на два дня, а напоследок, потому что ветер был очень силен, опустил каркас палатки и придавил углы большими камнями, чтобы ее не сдуло в мое отсутствие. Время поджимало — в утренние часы на Мас-Афуэре погода обычно более ясная, чем днем, — но, прежде чем устремиться в гору, я заставил себя остановиться перед *рефухио* и отметить на GPS-навигаторе его координаты.

Островная райадито — более крупная, с более тусклым оперением родственница шипохвостой райадито, удивительной маленькой птички, которую я перед поездкой на острова видел в нескольких лесах в материковой части Чили. Как такие крохотные существа смогли перелететь за пятьсот миль от берега в достаточном количестве для воспроизводства (и последующей эволюции), мы никогда не узнаем. Вид, живущий на Мас-Афуэре, нуждается в непотревоженном исконном папоротниковом лесе, и его численность, которая никогда не была большой, похоже, уменьшается — видимо потому, что на гнезда, находящиеся на земле, совершают набеги расплодившиеся на острове крысы и кошки. (Чтобы избавить Мас-Афуэру от грызунов, пришлось бы поймать и приютить всех канюков острова, а потом с вертолетов разбросать по гористой территории отравленную приманку — все это обошлось бы примерно в пять миллионов долларов.) Мне говорили, что увидеть райадито в ее среде обитания не так уж трудно, главное — добраться до этой среды.

1. Чарли Шин (наст. имя Карлос Ирвин Эстевес; р. 1965) — популярный американский актер.

Самая высокогорная часть острова по-прежнему куталась в облака, но я надеялся, что ветер вскоре их разгонит. Насколько я мог судить по своей карте, мне предстояло подняться примерно на три тысячи шестьсот футов, чтобы обогнуть два глубоких ущелья, преграждавшие путь на юг, к Лос-Иносентес. Меня подбадривало то, что итоговый перепад высоты за весь переход должен был равняться нулю, но почти сразу же после того, как я отошел от *рефухио*, снова набежали облака. Видимость упала до нескольких сотен футов, и я стал каждые десять минут останавливаться, чтобы делать электронные пометы о своем местонахождении: точно Гензель в сказке, бросающий в лесу хлебные крошки. Некоторое время я держался тропы, обозначенной мулиным пометом, но вскоре заподозрил, что мог с нее и сбиться — так каменисто было теперь под ногами и так все истоптано козами.

На высоте три тысячи шестьсот я повернул на юг и начал было продираться через плотные заросли папоротника, с которого капало вовсю, но путь мне преградило ущелье, хотя ему полагалось сейчас быть ниже меня. Я развернул карту, но, с тех пор как я в прошлый раз ее изучал, тусклые разводы, предоставленные Google Earth, более четкими не стали. Я попробовал пойти вбок, вдоль края ущелья, но под папоротником скрывались скользкие камни и глубокие ямы, и спуск, насколько я мог разглядеть в тумане, делался все круче, поэтому я повернул назад и с трудом, ориентируясь по GPS, выбрался обратно к гребню горы. За час пути я вымок до нитки и отдалился от исходной точки всего на какую-нибудь тысячу футов.

Разглядывая карту, которая все сильней намокала, я вспомнил незнакомое слово, произнесенное Данило: *кордонес*. Должно быть, это означает гребни! Мне надо идти по гребням! Я опять двинулся вверх, останавливаясь лишь для того, чтобы бросать электронные крошки, и, наконец, подошел к радиоантенне, питающейся от солнечной батареи, — видимо, тут была локальная вершина. Ветер, ставший крепче, гнал облака над тыльной частью острова, которая, я знал, состоит из утесов, отвесно вздымающихся на три тысячи футов над колонией котиков. Утесов я не видел, но от самой мысли, что они близко, у меня закружилась голова. Я очень боюсь крутизны.

К счастью, *cordon*, идущий от антенны на юг, был почти горизонтален и двигаться по нему было нетрудно, несмотря на сильный ветер и близкую к нулю видимость. За полчаса я проделал немалый путь, радуясь, что скудость информации не помешала мне найти верную дорогу к Лос-Иносентес. Потом, однако, гребень начал ветвиться, ставя меня перед выбором, как лучше идти: выше или ниже. Карта недвусмысленно говорила, что я должен оказаться на высоте три тысячи двести, а не три тысячи восемьсот. Увы, нижние гребни, по которым я пы-

тался спускаться, обрывались головокружительными кручами. Я вернулся к верхнему гребню, обладавшему тем преимуществом, что он вел прямо на юг, в сторону Лос-Иносентес, и вздохнул с облегчением, когда он наконец пошел вниз.

Погода уже испортилась не на шутку: туман перешел в дождь, не просто косой, а горизонтальный, скорость ветра при порывах превышала сорок миль в час. Гребень, по которому я кое-как спускался, начал пугающе сужаться, и в одном месте дорогу мне преградила небольшая остроконечная скала. За ней, насколько я мог разглядеть, гребень продолжал идти вниз, хоть и очень круто. Но как обойти скалу? Если я начну пробираться с подветренной стороны, есть опасность, что меня подхватит и свалит вниз порыв ветра. С наветренной стороны, судя по всему, — отвесная пропасть в три тысячи футов глубиной, но там, по крайней мере, ветер будет прижимать меня к скале, а не отрывать от нее.

В полных воды ботинках я осторожно двинулся в путь с наветренной стороны, дважды проверяя каждый камень, прежде чем ступить, и каждый выступ, прежде чем за него ухватиться. Пройдя чуть вперед, я смог увидеть, что́ меня ждет немного дальше; похоже было, что гребень за скалой ведет опять-таки к обрыву: и впереди, и справа от него, и слева, — только темная пустота. Хотя желание повидать райадито не ослабевало и настроен я был очень решительно, в какой-то момент мне стало страшно сделать следующий шаг, и вдруг я увидел себя со стороны: стою, распластавшись по скользкой скале, под слепящим дождем и яростным ветром, и нет никакой уверенности, что двигаюсь в правильном направлении. В голове отчетливо прозвучало: *То, что ты делаешь, крайне опасно.* И я подумал об умершем друге.

В умении писать о погоде и непогоде Дэвид не уступал ни одному из тех, кто когда-либо склонялся над листом бумаги, и своих собак он любил нежнее, чем кого бы то ни было и что бы то ни было на свете, но природа как таковая его не интересовала, и он был совершенно равнодушен к птицам. Однажды, когда мы ехали на машине поблизости от Стинсон-Бич в Калифорнии, я остановился, чтобы он смог поглядеть в телескоп на длинноклювого кроншнепа — на птицу, чье великолепие, по-моему, самоочевидно и открывает некие истины. Посмотрев секунды две, Дэвид отвернулся с откровенно скучающим видом. “Да, — произнес он своим особым поверхностно-вежливым тоном, — милое существо”. Последним летом его жизни мы сидели с ним в его патио, и, пока он курил, я следил за летающими вокруг колибри, не в силах оторвать от них глаз, и печалился, что он к ним безразличен, а когда, приняв большую дозу лекарств, он погрузился в дневной сон, я стал изучать птиц Эквадора, готовясь к предстоящей поездке, — и вот тогда я отчетливо увидел разницу между его неизбывной бедой и моими терпимыми внутренними неурядицами: у меня были птицы, источник

радости, мне было куда уйти от себя, ему — нет.

Да, он был нездоров, и в определенном смысле история моей дружбы с ним заключалась просто-напросто в том, что я любил душевнобольного. Страдая депрессией, он в конце концов покончил с собой, причем нарочно сделал это так, чтобы причинить тем, кого больше всех любил, максимум боли, и мы, любившие его, остались с ощущением злости и чувством, что нас предали. Предали не только тем, что вложенная нами любовь не принесла должной отдачи, но и тем, что самоубийство, отняв его у нас, превратило человека в публичную легенду. Люди, которые никогда не читали его произведений, а то и вовсе о нем не слышали, прочли в "Уолл-стрит джорнал" его речь перед выпускниками Кеньон-колледжа и оплакали потерю великой и нежной души. Литературная организация, никогда не включавшая его книг даже в короткий список выдвинутых на национальную премию, теперь единодушно объявила его утраченным сокровищем нации. Разумеется, он *был* сокровищем нации, и, будучи писателем, он *принадлежал* своим читателям не меньше, чем мне. Но если тебе выпало знать, что подлинный характер Дэвида был более сложным и двойственным, чем виделось теперь его поклонникам, и если ты знал, что у него было больше качеств, способных внушить любовь к нему, чем у того воплощения доброты и моральной прозорливости, у того художника-святого, которого из него сделали, — что он мог быть и смешон, и глуп, и растерян, мог нуждаться в помощи, мог ожесточенно сражаться со своими демонами, мог быть по-детски откровенно лжив и непоследователен, — если ты все это знал, трудно было, так или иначе, не почувствовать себя уязвленным той его частью, что предпочла любви самых близких низкопоклонство чужаков.

Чем хуже человек знал Дэвида при жизни, тем уверенней он рассуждает о нем теперь как о святом. Это тем более странно, что в его произведениях практически нет любви в обычном понимании. Близкие любовные отношения, которые для большинства из нас — основополагающий источник смысла, не играют в литературной вселенной Уоллеса важной роли. Напротив, мы видим там людей, скрывающих от тех, кто их любит, свои навязчивые побуждения, лишенные сердечной теплоты; людей, которые изощряются в стараниях *выглядеть* любящими или же доказать себе, что внутреннее состояние, кажущееся любовью, это на самом деле всего лишь замаскированный эгоизм; а чаще всего людей, изливающих абстрактную или духовную любовь на существо донельзя отталкивающее — на жену в "Бесконечной шутке", у которой изо рта капает спинномозговая жидкость, на психопатку в последнем из "Кратких интервью с отвратительными людьми". Книги Дэвида напичканы обманщиками, манипуляторами и ярко выраженными интровертами — и тем не менее многие, кто об-

щался с ним лишь походя или формально, принимали его довольно-таки вымученную сверхделикатность и умудренность в вопросах морали за чистую монету.

Поразительное свойство прозы Дэвида, однако, состоит в том, как уютно в ней его самым преданным читателям, какими желанными, понятыми и *любимыми* они чувствуют себя, читая ее. Соответственно той личной мере, в какой каждый из нас выброшен на свой собственный экзистенциальный остров — а я вряд ли сильно ошибусь, если скажу, что наиболее восприимчивы те из читателей Уоллеса, кому знакомы социально и духовно изолирующие проявления болезненных пристрастий, навязчивых состояний или депрессии, — мы с благодарностью ловили всякое новое послание с того дальнего острова, каким был Дэвид. На содержательном уровне он выкладывал перед нами худшее, что в нем было: сравнимый с Кафкой, Кьеркегором и Достоевским по интенсивности самонаблюдения, он демонстрировал крайности своего нарциссизма, женоненавистничества, склонности к навязчивым состояниям и самообману, холодного морализаторства и богословского теоретизирования, сомнения в возможности любви, сковывающей неуверенности, заставлявшей его делать бесконечные примечания к примечаниям. Но на уровне формы и побуждений автора сама эта каталогизация проявлений отчаяния, вызванного невозможностью стать подлинно хорошим, воспринимается читателем как дар от подлинно хорошего человека: в самом факте его искусства мы чувствуем любовь — и отвечаем ему взаимностью.

Наша с Дэвидом дружба существовала под знаком сравнения, контраста и братского соперничества. За несколько лет до смерти он надписал мне экземпляры двух своих последних книг. На титульном листе одной из них я увидел контур кисти его руки; на титульном листе другой — контур эрегированного пениса такого размера, что страницы не хватило, снабженный стрелочкой и примечанием: “Масштаб 1:1”. Я слышал однажды, как он в присутствии своей девушки расхваливал чью-то подружку, называя ее своим “эталоном женственности”. Девушка Дэвида, выдержав великолепную паузу, протянула: “Что-о?” В ответ Дэвид, по богатству словарного запаса не уступавший ни одному из обитателей Западного полушария, с глубоким вздохом, якобы сокрушенно признался: “Я вдруг понял сейчас, что никогда толком не знал, какой смысл имеет слово ‘эталон’”.

Он внушал к себе любовь, как внушает к себе любовь ребенок, и способен был по-детски чисто любить в ответ. Из его книг, однако, любовь исключена, и объясняется это тем, что он никогда не чувствовал себя в полной мере достойным любви. Он отбывал пожизненное заключение на острове, которым сам же и был. И остров этот, чьи очертания издали казались нежными, плавными, на самом деле состоял из отвесных утесов. Порой психическая болезнь затрагивала

только малую его долю, порой захватывала его почти целиком, но никогда за всю свою взрослую жизнь он не был абсолютно здоров. Пытаясь вырваться из своей островной тюрьмы с помощью наркотиков и алкоголя, что лишь завело его в еще худшую неволю пагубных пристрастий, он заглянул в свое бессознательное, и впечатления от увиденного никогда, похоже, не переставали подрывать его веру в то, что его можно любить. Даже после того как он завязал, даже спустя десятилетия после юношеской попытки самоубийства, даже после того как он ценой долгих героических усилий выстроил свою жизнь, ему все равно казалось, что он недостоин любви. И это ощущение переплеталось, в итоге до неразличимости, с мыслью о самоубийстве, которое было единственным надежным способом спастись из тюрьмы — надежней, чем наркотики и спиртное, надежней, чем сочинительство, и надежней, наконец, чем любовь.

Те из нас, кто, находясь не так уж чудовищно далеко на спектральной шкале самопогруженности, обитая в видимой части спектра, мог тем не менее вообразить, каково это — оказаться в ультрафиолетовой зоне, понимали, что Дэвид напрасно не верит в свою способность внушить любовь, и представляли себе, какую боль причиняет ему это неверие. Как легка и естественна любовь, если ты здоров! И как ужасающе тяжела, какой наводящей философскую жуть хитроумной штуковиной, сооруженной из эгоизма и самообмана, она выглядит — если нет! И вместе с тем один из уроков книг Дэвида (а в моем случае — и дружбы с ним) состоит в том, что разница между психическим здоровьем и нездоровьем скорее количественная, чем качественная. Хоть Дэвид и смеялся над моими куда менее сильными пристрастиями и любил повторять, что я даже не представляю, какой я умеренный человек, я могу экстраполировать эти пристрастия и ту скрытность, тот солипсизм, ту фундаментальную изоляцию, ту грубую животную тягу, что им сопутствуют, на его крайний случай. Я могу вообразить себе нездоровые психические каналы, по которым приходит мысль о самоубийстве: оно начинает казаться тем единственным средством, избавляющим от мук сознания, которого никто не в силах у тебя отнять. Потребность в чем-то никому, кроме тебя, не доступном, потребность иметь секрет, потребность в некоем последнем отчаянном нарциссистском утверждении верховенства своего “я”, а затем — полное сладострастной ненависти к себе предвкушение окончательного грандиозного сведения счетов и, наконец, разрыв с миром, отказывающим тебе в твоем эгоцентричном наслаждении, — я могу пройти в воображении этот путь вслед за Дэвидом.

Труднее, надо признать, сопереживать той инфантильной ярости, тем перенаправленным гомицидальным импульсам, что видны в некоторых обстоятельствах его смерти. Но даже тут я могу распознать уоллесовскую логику

кривого зеркала, извращенный вариант стремления к интеллектуальной честности и последовательности. Чтобы смертный приговор, который он себе вынес, был заслуженным, исполнение приговора должно было причинить кому-то сильнейшую боль. Чтобы раз и навсегда доказать, что он действительно не достоин любви, надо было как можно безжалостнее предать тех, кто сильнее всех его любил, — поэтому он покончил с собой дома и сделал так, чтобы они первыми его увидели. То же самое верно и в отношении самоубийства как карьерного шага: тот расчет на преклонение, на дешевую славу, что тут прослеживается, он в себе ненавидел, и он отрицал бы (если бы думал, что есть шанс отмазаться), что строил такие расчеты сознательно, а потом (если бы удалось прижать его к стенке) со смехом или поморщившись признал бы: да, чего уж там, было такое. Я представляю себе некую часть Дэвида, уговаривающую его встать на путь Курта Кобейна[1] соблазнительно-рассудительным тоном старого беса из "Писем Баламута" Льюиса (одной из любимых книг Дэвида), указывающую ему, что, наложив на себя руки, он удовлетворит свою скверную тягу к карьерным выгодам и одновременно, поскольку это будет означать капитуляцию перед той его частью, которую атакуемая лучшая часть считает греховной, еще убедительней подтвердит справедливость вынесенного себе смертного приговора.

Это не значит, что Дэвид провел последние месяцы и недели в оживленном интеллектуальном собеседовании с собой на манер Баламута или Великого инквизитора. Он был под конец настолько болен, что любая новая мысль, о чем бы она ни была, мгновенно и неуправляемо ввинчивалась все в то же сознание им своего недостоинства, из-за которого он постоянно испытывал страх и боль. Но одной из его любимых тем, что особенно ясно выражено в рассказе "Старый добрый неон" и в трактате о Георге Канторе[1], была бесконечная делимость любого, сколь угодно малого, промежутка времени. Он постоянно страдал в то свое последнее лето, однако в зазорах между неизменно мучительными мыслями хватало места, чтобы вынашивать идею самоубийства, устремляться вперед по логической цепочке и приводить в действие практические планы (которых он в итоге разработал по меньшей мере четыре) осуществления этой идеи. Когда ты решаешь сделать что-то очень нехорошее, намерение и его обоснование рождаются одновременно и полностью сформированными; это подтвердит всякий наркоман или алкоголик, собравшийся нарушить воздержание. Хотя мысль о самоубийстве как таковом причи-

1. Курт Кобейн (1967–1994) – американский рок-музыкант. Причиной его смерти, по основной версии, было самоубийство.

1. Георг Кантор (1845–1918) – немецкий математик, создатель теории множеств.

няла боль, оно стало — вспоминая название еще одного рассказа Дэвида[1] — его своеобразным подарком самому себе.

Будь правы прекраснодушные люди, которые, публично рассуждая о Дэвиде, называют его самоубийство доказательством того, что — как для Ван Гога в песне Дона Маклина[2] — "не подходит этот мир для такой возвышенной души", это значило бы, что существовал некий цельный Дэвид, великолепный, возвышенный и невероятно одаренный, и что, перестав принимать антидепрессант нардил, который принимал двадцать лет, он испытал сильнейшую депрессию и потому, совершая самоубийство, *не был собой*. Я не буду обсуждать ни диагноз (не исключено, что он страдал не просто депрессией), ни вопрос о том, как такой прекрасный человек мог настолько глубоко проникать в мысли отвратительных людей. Однако, помня о его неравнодушии к Баламуту и несомненной склонности обманывать себя и других — склонности, которая в годы ремиссии проявлялась слабее, но искоренена не была, — я считаю, что духу его творчества лучше соответствовала бы повесть о раздвоении мыслей и чувств. Он сам мне говорил, что никогда не переставал бояться возвращения в психиатрическую больницу, куда попал в юности после попытки самоубийства. Соблазн самоубийства — последнего решительного сведения счетов — может принять скрытую форму, но полностью не исчезает. Безусловно, у Дэвида были "хорошие" причины отказаться от нардила: страх, что долгосрочные физические побочные эффекты укоротят хорошую жизнь, которую ему удалось для себя выстроить; подозрение, что психологические последствия могут плохо отразиться на лучшем, что было у него в жизни (на работе и отношениях с людьми), — но имелись также причины и не столь "хорошие", продиктованные эго: перфекционистское стремление быть менее зависимым от медикаментов, нарциссистское нежелание видеть себя неизлечимо больным психически. Чему мне трудно поверить — это что у него не было также и очень плохих причин. Под прекрасной, умной высоконравственностью, под внушающей любовь человеческой слабостью мерцали помыслы закоренелого наркомана, мерцало тайное "я", которое двадцать лет подавлялось нардилом, но наконец улучило возможность вырваться на волю и сделать свое самоубийственное дело.

Эта двойственность сказалась на нем в последний год, когда он перестал принимать нардил. Своими странными решениями, касавшимися методов лечения, он, казалось, только вредил себе, он весьма часто обманывал психотерапевтов (которым можно только посочувствовать — им достался поистине сложный случай) и под конец сотворил целую тайную жизнь, посвящен-

1. Имеется в виду рассказ "Самоубийство как подарок".
2. Дональд Маклин (р. 1945) — американский певец и музыкант.

ную самоубийству. В тот год Дэвид, которого я хорошо знал и очень сильно любил, храбро сражался, стараясь заложить более надежный фундамент для своей работы и жизни, борясь с мучительной тревогой и нестерпимой болью, — а тем временем другой Дэвид, которого я знал хуже, но достаточно хорошо, чтобы испытывать к нему неприязнь и недоверие, методично строил планы самоуничтожения и отмщения тем, кто его любил.

То, что отказаться от нардила он решил, когда работа буксовала — когда ему наскучили старые приемы, а новый роман не мог воодушевить настолько, чтобы найти способ писать его дальше, — факт существенный. Сочинительство всегда — и особенно когда он писал "Бесконечную шутку" — было его любовью, и во время многих наших разговоров о роли и назначении романа он очень уверенно утверждал, что художественная литература — решение, *наилучшее* решение проблемы экзистенциального одиночества. Литература была для него воздушным путем с необитаемого острова, и, пока этот путь существовал — пока он мог, находясь на острове, вкладывать свою любовь и страстность в послания на материк, пока эти послания воспринимались там как срочные, свежие и правдивые новости, — он в определенной мере был и счастлив, и обнадежен. Но когда после многолетних попыток справиться с новым романом его надежда на литературное творчество умерла, другого выхода, кроме смерти, не осталось. Если почва, где прорастают семена пагубных пристрастий, — это скука и если феноменология и телеология самоубийства — те же, что у пагубных пристрастий, то Дэвида, можно сказать, убила скука. В его раннем рассказе "Здесь и там" брат стремящегося к совершенству молодого человека по имени Брюс говорит ему, что "быть совершенным — значит быть ужасно скучным", а Брюс рассуждает так: "Отдавая дань уважения обширным и проверенным на собственном опыте познаниям Леонарда о том, что значит быть скучным, хочу, однако, заметить: поскольку быть скучным — это недостаток, по определению получается, что человек, достигший совершенства, скучным быть не может". Это хорошая шутка; но в каком-то смысле такая логика душит. "Все и еще больше" — вот на какой лад она настраивает, в очередной раз приводя на ум название одного из произведений Дэвида; все и еще больше — вот чего он хотел от своих книг и для своих книг. И раньше — в "Бесконечной шутке" — это у него получилось. Но пытаться добавить что-то еще к тому, что уже и есть *всё*, — значит рисковать остаться ни с чем. Рисковать наскучить самому себе.

Любопытно, что Робинзону Крузо за все двадцать восемь лет жизни на его Острове Отчаяния ни разу не делается скучно. Да, поначалу он сетует на тяжесть и однообразие своих трудов, позднее признаёт, что очень устал, бродя по острову в поисках дикарей, жалуется, что нет трубок и поэтому он не может

курить растущий на острове табак, называет первый год с Пятницей своим самым счастливым годом на острове. Но современная потребность в *стимуляторах* совершенно ему чужда. (Возможно, самая поразительная деталь романа — то, что Робинзон растянул три бочонка рома на четверть века; я выпил бы весь ром за месяц, просто чтобы закрыть вопрос.) Не переставая мечтать о спасении, он, тем не менее, вскоре начинает получать "тайное удовольствие" от сознания своего абсолютного владычества над островом: "...мир казался мне теперь далеким и чуждым. Он не возбуждал во мне никаких надежд, никаких желаний. Словом, мне нечего было делать там, и я был разлучен с ним, по-видимому, навсегда. Я смотрел на него такими глазами, какими, вероятно, мы смотрим на него с того света"[1]...

Робинзону удается выжить в одиночестве, потому что ему везет; он мирится со своим положением, ибо он человек обыкновенный и остров, на который он попал, реален. Дэвиду, необыкновенному человеку, чей остров был виртуален, под конец было нечем жить, кроме его собственного интересного "я", а с сотворением виртуального мира из самого себя проблема примерно та же, что с проектированием своей личности на кибермир: виртуальных пространств, где можно искать стимуляции, бесконечно много, но сама их бесчисленность — вечная стимуляция без удовлетворения — лишает свободы. "Всё и еще больше" — такое притязание свойственно и интернету.

От наводящего страх места, где я под дождем повернул обратно, до Ла-Кучары не было и мили, но путь занял два часа. Дождь был теперь не только горизонтальным, но еще и сильным, ветер дул так, что приходилось нагибаться ему навстречу. GPS-навигатор сигнализировал, что батарейка почти разряжена, но мне все равно надо было периодически его включать: видимость была такая низкая, что иначе я сбивался с пути. Даже когда прибор показал, что до *рефухио* сто пятьдесят футов, я еще не видел очертаний убежища.

Забросив в *рефухио* промокший рюкзак, я поспешил к палатке и увидел, что она полна воды. Не без труда вытащив из нее матрас, я отнес его обратно в *рефухио*, потом вернулся к палатке, разобрал каркас, вылил воду, сграбастал все в охапку, стараясь сохранить вещи хотя бы полусухими, и опять кинулся вверх по склону сквозь горизонтальный дождь. *Рефухио* превратилось в зону бедствия, заваленную мокрыми вещами. Два часа я занимался сушкой, потом целый час безрезультатно обшаривал каменистую площадку, ища важную часть палаточного каркаса, которую потерял во время бешеного броска к *рефухио*. И вдруг за считаные минуты дождь перестал, облака рассеялись, и я увидел, что нахожусь в самом красивом месте из всех, где бывал.

1. Перевод З. Журавской и М. Шишмаревой.

День близился к концу, над невероятной синевой океана дул ветер с берега, и время пришло. Ла-Кучара не столько покоилась на суше, сколько висела в воздушной вышине. Возникло ощущение почти-бесконечности: солнце извлекало из склонов гор больше оттенков зеленого и желтого, чем мог, по моим прежним понятиям, иметь в себе видимый спектр, это была слепящая почти-бесконечность красок, а небо казалось таким огромным, что я не удивился бы, если б увидел на его восточном краю полоску материкового берега. Последние белые клочья облаков, стремительно слетев с вершины, промчались мимо меня и исчезли. Ветер дул с берега, и я заплакал, потому что время пришло, а я не подготовился: ухитрился забыть. Я пошел в *рефухио*, достал коробочку с прахом Дэвида — "книжечку", так он шутливо называл свою не столь уж и маленькую книгу о бесконечности в математике — и вернулся с ней на площадку, подгоняемый ветром.

В каждый миг я занимался много чем сразу. Даже когда плакал, я в то же время оглядывал землю в поисках потерянной детали палатки, и вынимал из кармана фотоаппарат, чтобы попытаться запечатлеть неземную красоту освещения и пейзажа, и клял себя, что делаю это, когда мне следовало бы только оплакивать друга, и говорил себе, что *даже лучше*, что мне не удалось увидеть райадито в свой, безусловно, единственный приезд на остров, что самое время смириться с конечностью и неполнотой, с тем, что некоторые птицы так и останутся неувиденными, и понять, что способность с этим смириться — дар, которым я, в отличие от моего любимого умершего друга, наделен.

Пара почти одинаковых больших валунов у оконечности продолговатой площадки образовывала своего рода алтарь. Дэвид решил оставить тех, кто его любил, и отдать себя большому миру романа и его читателей, и я был готов пожелать ему добра на этом пути. Я открыл коробочку с прахом и бросил содержимое в объятия ветра. Несколько серых костяных частичек упало на склон подо мной, но пылевидный пепел был подхвачен ветром и исчез в синеве небосвода, в океанской дали. Я повернулся и двинулся в гору к *рефухио*, где мне предстояло ночевать, потому что палатка пришла в негодность. Я чувствовал, что со злостью покончено, осталась только утрата, и чувствовал, что островов с меня тоже хватит.

На катере, когда я возвращался на Робинзон-Крузо, со мной плыли тысяча двести омаров, две освежеванные козы и старый ловец омаров, крикнувший мне, после того как якорь был поднят, что море очень неспокойное. Да, согласился я, малость качает. "No poco! — строго возразил он. — Mucho!"[1] Люди из команды катера мотались вокруг окровавленных козьих туш, и я понял, что мы берем курс не прямо на Робинзон-Крузо, а на сорок

1. Не мало!.. Много! (*исп.*)

пять градусов южнее, чтобы нас не опрокинуло волнами. Я проковылял вниз, в крохотный вонючий кубрик в носовой части, бросился на койку, и после того, как я пролежал там час или два, вцепившись в края койки, чтобы не взлететь на воздух, пытаясь думать хоть о чем-нибудь, о чем угодно, лишь бы не о морской болезни, и слушая, как вода шлепает и лупит по днищу, меня вырвало в пластиковый пакет (позже выяснилось, что из-за вспотевшей кожи у меня за ухом отклеился пластырь против укачивания). Десять часов спустя, когда я отважился снова выйти на палубу, я ожидал, что уже видна будет гавань, но капитан до этого так много лавировал, что плыть оставалось еще пять часов. О том, чтобы опять идти ложиться на койку, я и думать не мог, и меня по-прежнему тошнило, так что вид морских птиц удовольствия не доставлял, поэтому я все пять часов простоял, ничего не делая — разве только размышляя, как изменить дату обратного перелета, который я на случай задержки забронировал на следующую неделю, и вернуться домой пораньше.

Я давно не чувствовал такой тоски по дому — может быть, с тех пор, когда последний раз ходил в поход в одиночку. Через три дня калифорнийка, с которой я живу, должна была поехать к нашим друзьям смотреть вместе Супер Боул[1], и едва я подумал, что мог бы сидеть рядом с ней на диване, потягивать мартини и болеть за Аарона Роджерса, квотербека команды "Грин-Бей пэкерз", блиставшего в прошлом в команде Калифорнийского университета в Беркли, как мне *отчаянно* захотелось покинуть острова немедленно. Птиц двух эндемичных видов, обитающих на острове Робинзон-Крузо, я уже видел до отплытия на Мас-Афуэру, и перспектива провести там неделю без всяких шансов увидеть что-нибудь новое выглядела удушающе скучной — выглядела насильственным лишением того самого, от чего я еще недавно хотел бежать без оглядки, но что теперь оценил как источник удовольствия.

Вернувшись на Робинзон-Крузо, я попросил Рамона, хозяина моей гостиницы, узнать, нельзя ли мне вылететь в Сантьяго уже завтра. На оба рейса, как оказалось, мест не было, но, пока я обедал, в гостиницу вошла местный агент одной из авиакомпаний, и Рамон стал уговаривать ее пустить меня на третий рейс — на чисто грузовой. Она отказалась. Но ведь есть место второго пилота? Нельзя ли туда, спросил Рамон. Нет, ответила агент, место второго пилота тоже будет занято коробками с омарами.

И вот, хотя мне этого уже не хотелось — или как раз потому, что не хотелось, — я по-настоящему застрял на острове. По три раза на дню ел один и тот же дрянной чилийский белый хлеб, на обед и на ужин каждый день была все та же неопределенного вкуса рыба

1. Матч за звание чемпиона Национальной футбольной лиги США.

без соуса и приправ. Я лежал у себя в номере и дочитывал "Робинзона Крузо". Писал открытки, отвечая на стопку почты, которую привез с собой. Практиковался в восприятии чилийского испанского, вставляя в уме звук "с", которого говорящие не произносили. Получше рассмотрел хуан-фернандесовского огненношапочного колибри — великолепного крупного колибри со светло-коричневым оперением, находящегося под серьезной угрозой со стороны инвазивных видов растений и животных. Совершил горный поход к пастбищу, где проводился ежегодный местный праздник клеймения скота, и смотрел, как всадники загоняли стадо в корраль. Пейзаж вокруг был впечатляющий — округлые холмы, вулканические пики, океан с белыми барашками, — но холмы были оголены и сильно изъедены эрозией. Из сотни с лишним коров и быков как минимум девяносто были истощены — многие до такой степени, что едва держались на ногах. Стадо традиционно служило здесь резервным источником белка, и ритуал поимки и клеймения попрежнему радует местных жителей, но неужели они не видят, в какую жалкую пародию этот ритуал превратился?

Вылета надо было ждать еще три дня, от ходьбы по склонам у меня болели колени, и ничего не оставалось, как начать читать "Памелу" — первый роман Сэмюэла Ричардсона, который я взял с собой главным образом потому, что он намного короче "Клариссы". О "Памеле" мне было известно только одно: что Генри Филдинг написал на роман пародию под названием "Шеймела"[1] и эта пародия стала его первым опытом в жанре романа. Я не знал, что "Шеймела" — лишь одно из многих произведений, чей выход в свет явился прямым откликом на "Памелу", и что "Памела" была, возможно, главнейшей лондонской новостью за весь 1741 год. Но, начав читать, я понял, почему роман произвел такое действие: он увлекателен, заряжен конфликтами между полами и классами, и он изображает психологические крайности с такой конкретностью, с какой никто этого раньше не делал. Памела Эндрюс — это вам не "всё и еще больше". Это просто Памела в своем личном и неповторимом качестве, красивая служанка, чьей добродетели угрожают постоянные и изобретательные посягательства сына ее покойной хозяйки. История девушки рассказывается через посредство ее писем родителям; Памела узнаёт, что эти письма перехватывает и читает тот самый мистер Б., что намеревается ее соблазнить, но продолжает их писать, *зная, что мистер Б. их прочтет.* Благочестие Памелы, окрашенное театральной истеричностью, не могло не вызвать подозрений и даже возмущения у читателей определенного склада (одна из книг, выпущенных в ответ, издевательски переделывает подзаголовок Ричардсона "Вознагражденная доброде-

1. От *англ.* shame — стыд.

тель" в "Разоблаченная фальшивая невинность"), однако под аффектированной добродетельностью Памелы и сластолюбивым интриганством мистера Б. кроется завораживающее повествование о любви. Реалистическая сила этой истории — вот что сделало книгу новаторской и сенсационной. Дефо застолбил территорию радикального индивидуализма, который оставался плодотворной темой для таких писателей недавнего времени, как Беккет и Уоллес, но не кто иной, как Ричардсон, первым открыл нам доступ к сердцам и умам личностей, чье одиночество потрясено, захлестнуто любовью к другому человеку.

Ровно в середине "Робинзона Крузо", когда Робинзон прожил один на острове пятнадцать лет, он обнаруживает на песке единственный след человеческой ноги и буквально сходит с ума от *страха перед человеком*. Придя к заключению, что след не принадлежит ни ему самому, ни дьяволу, что, скорее всего, это след высадившегося на остров дикаря, он превращает свое жилище на острове-саду в крепость и несколько лет думает преимущественно о том, как бы получше спрятаться и защититься от воображаемых врагов. Он дивится иронии судьбы: "Я — человек, единственным несчастьем которого было то, что он изгнан из общества людей, что он один среди безбрежного океана, обреченный на вечное безмолвие, отрезанный от мира... я дрожал от страха при одной мысли о том, что могу столкнуться с людьми, готов был лишиться чувств от одной только тени, от одного только следа человека, ступившего на мой остров!"[1]

Нигде психологизм Дефо не достигает такой остроты, как здесь, в описании реакции Робинзона на нарушение его одиночества. Дефо дал нам первый реалистический портрет индивидуума, пребывающего в полной изоляции, а затем, словно подчиняясь правде самого романа, показал, как болезнен и безумен радикальный индивидуализм в действительности. Сколь бы тщательно мы ни оберегали наше "я", довольно одного следа другого реального человека, чтобы вернуть нас к безгранично интересным рискам живых взаимоотношений. Даже в Фейсбуке, чьи пользователи в совокупности тратят миллиарды часов на обновление и шлифовку своих себялюбивых проекций, имеется онтологическая дверка, ведущая наружу, — возможность выбрать в меню "Отношения" вариант "Все сложно". Это может быть эвфемизмом, означающим "Развязываюсь с прошлым", но может означать и что-либо из всех прочих возможностей. Пока у нас такие сложности, как мы смеем скучать?

1. Перевод З. Журавской и М. Шишмаревой.

Мартин Эмис
Божественное жизнелюбие

Рецензия на книгу Брайана Бойда “Подкрадываясь к Набокову” и на издание Бойдом поэмы Набокова “Бледное пламя”[1].

Перевод с английского Юрия Линника

Слава Набокова велика и только возрастает со временем, так что мы ждем новых исследований о нем.

В прохладной, светлой келье универа —
Проф. Балоковски: Джейк, биограф мой.
На микропленке — данная страница.
Задрав на стол кроссовки, он кривится
И не таит, что обойден судьбой[2], —

говоря о “легком недовольстве”, Филип Ларкин преуменьшает: для Джейка Балоковски работа над биографией — лишь условие университетского контракта, чтобы затем уйти в творческий отпуск на пару семестров и заняться более интересным исследованием о театре протеста (недаром “После смерти” написано в 1968 году)[1]. Так что если профессор Балоковски когда-нибудь завершит своего “Филипа Ларкина”, книга будет вполне стандартным упражнением в цинизме, где снисходительное презрение к герою (см. “как я устал от этого старпера”) загоняется в рамки приличий. Заметим при этом, что вымышленный биограф все же понимает Ларкина значительно лучше, чем та орава критиков, которые позже, в начале девяностых, после публикации писем и дневников поэта, малевали его черными красками.

© 2011 by Martin Amis
© Юрий Линник. Перевод, 2013

1 Brian Boyd. Stalking Nabokov. — Columbia University Press, 2011. Vladimir Nabokov. Pale Fire. A poem in four cantos by John Shade. — Edited by Brian Boyd and illustrated by Jane Holabird. (*Здесь и далее – прим. перев.*)

2. Мартин Эмис цитирует стихотворение Филипа Ларкина “После смерти” (“Posterity”). Перевод Марины Бородицкой.

1. 1968 год был ознаменован подъемом протестного движения в целом ряде стран.

А твой поэт... — А! первый курс,
введенье
В психоанализ. Говорю же, он
Из этих,
долбанутых от природы.

У Балоковски на биографию Ларкина есть всего год, и можно надеяться, что работа доставит ему не так уж много огорчений. Нынешние биографы обычно тратят на это дело значительно больше времени, так что "легкое недовольство" судьбой успевает дать метастазы (и биографии, по выражению Джойс Кэрол Оутс, превращаются в патографии). Кроме того, в век всеобщей уравниловки людям все труднее сдержать стремление к соперничеству. Нынешние Босуэллы мучаются вопросом: а заслужил ли очередной доктор Джонсон той чести, чтобы я тратил на его биографию столько труда, и сами писатели со всеми писательскими страхами и амбициями ноют и обижаются. Тут, впрочем, стоит оговориться: доктору Джонсону не пришло бы в голову писать монументальную "Жизнь Джеймса Босуэлла". По столь же понятным причинам Филип Ларкин не написал книги "Эндрю Моушн[1]. Жизнь писателя" (а, скажем, Сол Беллоу — биографию Джеймса Этласа[2]). Джейк Балоковски удостоился стихотворения, не биографии.

Владимир Набоков умер 2 июля 1977 года. И меньше чем через месяц после его смерти Эндрю Филд выпустил первую, неполную, его биографию, замысел которой он вынашивал с середины 60-х годов. Машинописный текст этой книги Набоков впервые увидел в 1971 году и написал в ответ — ни много ни мало — двести страниц поправок. И хотя Филд — одаренный литератор (иначе Набоков не уделил бы ему столько времени), он определенно не баловень природы. Его книга о Набокове замечательна лишь выдающимся количеством грубейших ошибок (например, он датировал русскую революцию 1916 годом и утверждал, что при ловле бабочек Набоков лазил по деревьям), но в данном случае важнее отметить его отвратительное самомнение, глубоко оскорбившее Набокова. "Я даже не в состоянии объяснить, как всем этим я расстроен", — писал Набоков своему адвокату, и ощущение обиды очень омрачило последнее десятилетие его жизни.

Сочинение Филда открывается стилизованным диалогом: автор с Набоковым беседуют о методологии. Затем, после девяти неимоверно скучных страниц, Филд переходит к тому, что называет "наша небольшая размолвка" — звучит многообещающе, хотя в чем эта размолвка заключалась, непонятно: "Мы с Набоковым друг на друга не сердились... Я был огорчен. Сразу должен сознаться: во многих отношениях я слишком похож на Набокова (я сейчас не имею

1. Эндрю Моушн (р. 1952) — английский поэт и романист, автор биографии Филипа Ларкина (1994).
2. Джеймс Этлас — автор биографии Сола Беллоу.

в виду его многочисленных достоинств) и не дерзну его осуждать. И потому я молча принялся кидать чайкам хлебные корки с балкона четвертого этажа...” — и далее еще полабзаца, чтобы успокоиться. Как мы можем все это объяснить? Причудами прославленного русско-американского писателя (чей портрет мы видим на обложке) или грубостью австралийского филолога-недоучки (чей портрет помещен сзади)? Нет, конечно же нет. Стоит только протереть глаза, и станет очевидным стремление Филда казаться равным Набокову. Биограф писателя в глубине души недоволен своим положением и никак не хочет смириться с тем, что Набоков никогда не напишет книги под названием “Жизнь Эндрю Филда”. Впрочем, можно представить себе такой текст: это была бы очень злая новелла. Но с чего бы вдруг старый орел вздумал вновь расправлять крылья? Напыщенных графоманов, одержимых манией величия он уже не раз подробно описывал: вспомним Чернышевского в “Даре”, Германа Карловича в “Отчаянии” и, наконец, самого пронзительного из персонажей — Чарльза Кинбота в “Бледном пламени”.

Автора новой книги “Подкрадываясь к Набокову” вовсе не смущает отсутствие книги Набокова “Подкрадываясь к Бойду”. Ибо это тот самый Брайан Бойд, который еще в конце 1980-х подробно описал всю жизнь (и весь личный архив) Набокова в двухтомном труде “Владимир Набоков: русские годы” (1990) и “Владимир Набоков: американские годы” (1991). В обоих томах очень тщательно, глубоко и притом весьма увлекательно описано бегство девятнадцатилетнего поэта-аристократа из революционной России; убийство его отца — либерального политика В. Д. Набокова в 1922 году; знакомство молодого Набокова с будущей женой, их брак, рождение и воспитание сына — и все то время, когда они ютились в съемных квартирках и меблированных комнатах на окраине Берлина; возникновение в Европе еще одной “омерзительной диктатуры”; бегство из Франции в 1940 году, когда немецкие войска подступали к Парижу; титаническая работа в Америке, где пришлось заново открывать себя для публики; мировая слава, пришедшая к Набокову в конце 1950-х после сорока лет бедности; наконец, весьма плодотворный закат жизни в отеле “Монтре-Палас” на берегу Женевского озера. Эта с течением времени история кажется все более невероятной.

Бойд безупречен как в своей верности фактам, так и в чувстве такта. В этом сомневаться не приходится, ибо его сочинение выдержало проверку вдовы Набокова. Вера Евсеевна была прекрасной, очаровательной женщиной, близкой к совершенству, но ее опеку над мужем справедливо (и при том восторженно) можно назвать варварски жесткой. Скажем прямо: манера Бойда — образцовая, его повествование дышит любовью страстного (и при том беспристрастного) исследователя. Он верен заве-

ту Одена, написавшего по случаю смерти Йейтса: "Научи из стен темницы, как свободному молиться"[1].

В книге "Подкрадываясь к Набокову" Бойд преследует честолюбивую цель: он берет титана Набокова и рассматривает его под новым углом зрения. Набоков, как показывает Бойд, не только величайший романист XX века, но еще и выдающийся поэт, крупный ученый, оригинальный (хотя и спорных взглядов) переводчик, свободный и бесстрашный критик, просвещенный психолог (при всей нелюбви к Фрейду), плодовитый драматург, неподражаемый мемуарист, который, кроме того, неустанно вел переписку, поражающую изяществом стиля. Ко всему этому фейерверку литературных достижений уже как-то и неприлично добавлять, что шахматные задачи, составленные Набоковым, признаны задачами мирового уровня (составление и решение шахматных задач есть "прекраснейшее, сложнейшее и абсолютно бесполезное занятие", как писал Набоков в своих воспоминаниях, но ведь таков и весь этот мир шахмат, блистательно описанный Набоковым в его раннем романе "Защита Лужина"). Таким образом, исследование Бойда не просто рисует нам диковинное литературное чудище, но и показывает редкий ум Набокова, ум, отличавшийся необычайной широтой, силой и выносливостью.

Многие поклонники Набокова несколько обескуражены плодовитостью Бойда, опасаясь, что за ним теперь не угнаться: Бойд всерьез грозится издать свыше восьмисот страниц набоковской драматургии (включая сценарий фильма Стенли Кубрика "Лолита"), два толстых тома комментариев к "Евгению Онегину", три толстых тома переводов русской поэзии, затем неминуемо последует объемное собрание стихотворений и поэм, еще более объемное собрание его рассказов, писем к жене, к матери, к отцу, к брату, к многочисленным русским друзьям — и все это в дополнение к уже изданной переписке с Уилсоном[1], далее "еще два-три томика новых лекций" — в дополнение к уже изданным "Лекциям по зарубежной литературе", "Лекциям по русской литературе" и "Лекциям о Дон-Кихоте" и, наконец, "Мыслить, писать, говорить" — сборник прозаических отрывков и интервью в дополнение к блестящему критическому сборнику "Твердые суждения".

Завершая повествование о проделанном Бойдом фанатичном труде, в скобках напомним читателю следующий факт: когда французского переводчика "Ады" — самого большого и самого сложного романа Набокова — хватил инсульт (что понятно), Набоков сам взялся за этот перевод и ежедневно вставал в пять утра, чтобы закончить работу как можно скорее. А ему было

1. У. Х. Оден "Памяти У. Б. Йейтса". Перевод М. Фельдмана.

1. См. "ИЛ", 2010, № 1.

уже семьдесят шесть лет, и жить ему оставалось всего год.

Надо признать, что "Подкрадываясь к Набокову" начинается не очень-то убедительным вступлением: "Я уже занялся другими исследованиями, а Набоков все никак не хочет меня отпускать. На сегодняшний день я опубликовал целую кипу работ о нем, некоторые из них хорошо известны, другие не очень. И недавно, просмотрев свои менее известные труды, я решил, что читателям будет небезынтересна и эта книжка". И затем из непонятных соображений (явно не хронологических) он начинает с несущественных вещей: своей речи на банкете, посвященном столетию Набокова, и своего выступления на церемонии награждения премией за биографию Набокова. А в самом тексте бросается в глаза стремление Бойда к панибратскому заигрыванию с публикой, отчего в его лексикон попадают вульгаризмы типа "предложение, от которого нельзя отказаться" или "кроме шуток", такие неуклюжие выражения, как "дать обратную связь" и "невыгораемость", одна очень странная ошибка (в русском языке явно нет такого понятия, как "один из ГУЛАГов"), и, наконец, беззастенчивые самоповторы. Некоторые эпизоды читаются так, словно они набросаны в спешке по дороге на конференцию ("для приобретения прав на набоковские энтомологические тетради для того издания, для которого..."), другие производят такое впечатление, словно автор долго и мучительно их обдумывал, сидя под раскаленной лампой в гостинице аэропорта ("Неужели страсть Набокова к мотылькам означает, что он мало интересовался миром людей? Или справедливо обратное утверждение: его детская манера ловли бабочек не имеет никакого отношения к его взрослой писательской манере? Ибо в конечном счете Гумберта интересовали нимфетки, а не нимфалиды, Лужину нужны были шахматы, а не бабочки-шашечницы, Пнин был мучим душевной болью, не зубатой молью").

А затем в одном из лирических отступлений Бойд откровенно признается: "в течение восьми из девяти лет учебы я одевался исключительно в фиолетовые, оранжевые, светло-зеленые или алые комбинезоны..." — и мы напряженно ожидаем, в какие еще тайны нас посвятит автор. А он в этот самый момент (на восемнадцатой странице) наряжается для своего первого свидания с Верой Евсеевной Набоковой, и мы с облегчением узнаем, что надел он не оранжевый комбинезон, а единственный приличный костюм, присланный ему родителями. Что Вера Евсеевна по достоинству оценила и прониклась к нему доверием — так последуем же ее примеру.

Большую часть 1940-х годов Набоков проработал в Гарвардском музее сравнительной зоологии, сидя за микроскопом по четырнадцать часов в сутки, и в итоге написал несколько значительных научных трудов, один из которых — девяностостраничная монография о "неарктических

подвидах бабочек-голубянок". Профессор Бойд, автор книг по эволюции и когнитивистике, достаточно хорошо подкован и может объяснить нам истинное научное значение энтомологических трудов Набокова. "Современные энтомологи, – говорит он, – подтвердили гипотезу Набокова относительно вида Cyclargus. Новейшие анатомические исследования показали, что Cyclargus и Hemiargus – это два разных вида, даже не состоящие в близком родстве. Джонсон и Балинт объявили, что они следовали методу Набокова, который первым подчеркнул важность исследования гениталий для систематизации голубянок... Курт Джонсон отметил большое историческое значение работ Набокова, свидетельствующих о его фантастической научной интуиции".

Все эти впечатляющие научные заслуги Набокова интересны еще и потому, что подводят нас к одной поразительной особенности его мировоззрения. Дело в том, что, признавая блеск и красоту эволюционной теории Дарвина, он всю жизнь лелеял в душе собственное видение того, что мы могли бы назвать "Творческим Замыслом Природы". А доказательством для него служила мимикрия бабочек. Так, герой "Дара" – молодой поэт Федор Годунов-Чердынцев, вспоминает рассказы своего отца:

> Он рассказывал о невероятном художественном остроумии мимикрии, которая не объяснима борьбой за жизнь (грубой спешкой чернорабочих сил эволюции), излишне изысканна для обмана случайных врагов, пернатых, чешуйчатых и прочих (малоразборчивых, да и не столь уж до бабочек лакомых), и словно придумана забавником-живописцем как раз ради умных глаз человека...

Бойд уверяет нас, однако, что "многочисленные эксперименты подтвердили: именно среди замаскированных особей наиболее высока выживаемость, а это значит, что даже такая искусная мимикрия вполне объяснима естественным отбором".

А если бы сам Набоков (или его дух) узнал результаты этих экспериментов? Изменил бы он тогда свое мнение? Бойд считает, что нет. И он, вероятно, прав. Как же объяснить этот парадокс? Почему Набоков, будучи профессиональным ученым-естествоиспытателем, так непримиримо относился к дарвинизму?

Наивное "биографическое" объяснение будет в данном случае вполне уместно. Набоков жил в Берлине с 1923-го по 1937 год и был свидетелем внедрения в жизнь "социального дарвинизма" – идеологии "борьбы за существование", о которой тогда кричали со всех крыш все громкоговорители. Третий рейх в любом случае был бы омерзителен для Набокова – даже если бы его жена (а значит, и сын) не были еврейского происхождения. Вместе с женой и сыном он слушал репортажи с Нюрнбергского процесса. Однако в своем творчестве он крайне редко – всего трижды – обращался к этой теме. Ярче всего – в незабываемом абзаце

"Пнина", затем — в пятистраничном рассказе "Знаки и символы" (где этому посвящена всего одна фраза, но зато просто душераздирающая) и, наконец, вот в этом фрагменте новеллы "Однажды в Алеппо":

Так начался наш злополучный медовый месяц. Сдавленные и сотрясаемые в гуще апокалиптического исхода (из Парижа, захваченного немцами), ожидающие поездов, которые безо всякого расписания шли неизвестно куда, бредущие сквозь затхлые декорации абстрактных городов, живущие в вечных сумерках физического изнурения, мы бежали; и чем дальше мы убегали, тем ясней становилось, что понукает нас нечто большее, чем дуролом в сапогах и пряжках, оснащенный набором по-разному приводимого в движение хлама, — нечто иное, чего он был только символом, нечто чудовищное и неуяснимое, безвременная и безликая масса незапамятного ужаса, который и здесь, в зеленой пустоте Центрального парка, еще наваливается на меня со спины[1].

А заключение рассказчика — подлинно набоковское: "Германия, при всех ее черных грехах, все же обречена навек остаться всесветным посмешищем"[2].

Можно ли считать поклонниками Набокова тех, кто почти ничего не знает о его стихотворчестве? Сборник "Стихи и шахматные задачи", изданный в 1970 году, состоит из 33 стихотворений и 18 шахматных задач, и его игровое построение вполне может навести нас на мысль, что поэзия для Набокова была лишь игрой, забавой, легким развлечением в минуты, свободные от основного дела. Но не таким ли развлечением была для него и энтомология? Бойд убеждает нас, что Набоков просто не способен заниматься чем бы то ни было поверхностно. Во все, что он делает, он вкладывает все свои силы.

Но одну поэму все почитатели Набокова прочли хотя бы дважды: это "Бледное пламя", состоящее из тысячи строк пентаметра. Одноименный роман весьма неудобочитаем, ибо заставляет нас все время листать книгу взад-вперед, перепрыгивая от героических стихов Джона Шейда к безумным комментариям Чарльза Кинбота (что вначале развлекает, затем раздражает и, наконец, смертельно надоедает). Бойд освобождает поэму Шейда от комментариев Кинбота и издает ее отдельно, а в своей большой и вдохновенной статье убеждает нас взглянуть на "Бледное пламя" как на совершенно самостоятельное стихотворное произведение. В итоге перед нами — подлинное открытие: "Бледное пламя" вновь пылает живой страстью. Впервые мы видим поэму Шейда во всей первозданной чистоте и можем по достоинству оценить вандализм издевательской пародии Кинбота.

Итак, истинное значение "Бледного пламени" наконец стало нам ясно. И это, пожалуй, один из самых ярких примеров того, как писатель играл с собственным величием.

1. Перевод С. Ильина.
2. Перевод С. Ильина.

В "Лолите", например, мы узнаем о дальнейшей участи главной героини из "издательского" предисловия:

В угоду старомодным читателям, интересующимся дальнейшей судьбой "живых образцов" за горизонтом "правдивой повести", могу привести некоторые указания, полученные от г-на "Виндмюллера" из "Рамздэля", который пожелал остаться неназванным, дабы "длинная тень прискорбной и грязной истории" не дотянулась до того городка, в котором он имеет честь проживать. Его дочь "Луиза" сейчас студентка-второкурсница. "Мона Даль" учится в университете в Париже. "Рита" недавно вышла замуж за хозяина гостиницы во Флориде. Жена "Ричарда Скиллера" умерла от родов, разрешившись мертвой девочкой, 25 декабря 1952 г., в далеком северо-западном поселении, Серой Звезде. Г-жа Вивиан Дамор-Блок (Дамор — по сцене, Блок — по одному из первых мужей) написала биографию бывшего товарища под каламбурным заглавием "Кумир мой", которая скоро должна выйти в свет; критики, уже ознакомившиеся с манускриптом, говорят, что это лучшая ее вещь. Сторожа кладбищ, так или иначе упомянутых в мемуарах "Г. Г.", не сообщают, встает ли кто из могилы.

И только в самом конце романа — на последней странице двадцать седьмой главы — мы узнаем, что "жена Ричарда Скиллера" — это и есть Лолита. Тот, кто читает роман впервые, никогда не запомнит, что о ее смерти говорится в предисловии, и так и не поймет, что же в конце концов стало с главной героиней. Любой другой писатель наверняка бы подстраховался и дал подсказку, например, "Долли — жена Скиллера". Но не Набоков. Ибо он предвидел, что "Лолиту" будут перечитывать, и не раз. В послесловии к изданию 1958 года Набоков наконец-то дает подсказку: "Бледная, брюхатая, невозвратимая Долли Скиллер и ее смерть в Грэй Стар, "Серой Звезде", столице книги..."

Долорес Гейз, изувеченная героиня, ждала всего три года, чтобы ее трагедия была понята. Джон Шейд, убитый герой, принужден был дожидаться этого полвека.

Книги и репутации могут жить и после смерти автора. А сами авторы? Джон Шейд очень хочет верить во что-то вроде воскресения из мертвых, но лишь потому, что такая вера смягчает боль от утраты дочери ("я убежден, что жизнь есть после смерти и что моя голубка где-то жива")[1]. И Набоков с детства был склонен всей душой отрицать то, что Шейд называл "этой подлой, недопустимой бездной посмертного небытия". Хотя, конечно, формальные религиозные представления, понятные податливой пастве, он решительно отвергал как недостойные. "Искание Бога — тоска всякого пса по хозяину", — пишет Федор в "Даре"[2], однако в другом месте он же говорит: "Я-то убе-

1. Перевод В. Набоковой.
2. Здесь Эмис неточен: эти слова принадлежат не Федору, а другому герою "Дара" — Александру Яковлевичу Чернышевскому, а Федор только записывает его предсмертный бред.

жден, что (после смерти) нас ждут необыкновенные сюрпризы. Жаль, что нельзя себе представить то, что не с чем сравнить. Гений — это негр, который во сне видит снег...”

Есть что-то неотразимое в этой набоковской жажде африканского снега: ибо это не что иное, как естественное развитие его тонкого поэтического чутья и мощного аналитического ума.

Бойд весьма прямолинейно оценивает неповторимый тембр набоковской лиры, усматривая в ней нотки максимализма: “Набоков был максималистом, он как никто другой умел ценить дары окружающего мира — дары природы и искусства, богатство ощущений, чувств, мыслей, языка, и понимал, какое восхищение вызовут эти сокровища, если мы сумеем одухотворить их силой внимания и воображения... Его писательская щедрость была ответом на щедрость окружающего мира, данью благодарности”.

Я намеренно повторяюсь. Пора наконец-то опровергнуть миф о Набокове как о холодном, жестоком, мрачном, пугающем мизантропе — миф, сочиненный читателями в качестве защитной реакции на его проницательность, которая многим казалась угрожающей. На самом деле Набоков был восторженным псалмопевцем, восхвалявшим божество. Весь его писательский секрет — в его божественном жизнелюбии.

Бойд отмечает, что первый роман Набокова — “Машенька” — в черновом варианте назывался “Счастье”, подобно тому, как и герой “Дара” намеревался написать практическое руководство “Как быть счастливым”. Многие ранние рассказы Набокова (“Боги”, “Благость”, “Письмо в Россию”) — не что иное, как восторженные гимны блаженству бытия. “В жизни я по самому складу характера почти до неприличия оптимистичен и жизнерадостен”. А мрачным и унылым, он, по мнению Бойда, казался только до смешного невнимательным людям. Однажды двадцатидвухлетний Набоков послал матери короткое стихотворение в подтверждение того, что “вся моя душа как всегда сияет радостью. И так будет вечно: если мне суждено прожить сто лет, я и тогда буду весел духом как дитя”[1].

И Набоков сдержал слово. Вот что он писал в книге “Память, говори” (1966)[2]:

> Вот это — блаженство, и за блаженством этим есть нечто, не совсем поддающееся определению. Это вроде какой-то мгновенной физической пустоты, куда устремляется все, что я люблю в мире.

А вот что он говорит в конце книги, описывая, как он наблюдал первые проблески сознания в своем младенце-сыне:

1. Как указал Н. Г. Мельников, Эмис цитирует английский перевод письма 22-летнего Набокова к матери. Подлинник этого письма неизвестен, так как оригинальные русские тексты писем Набокова этого периода до сих пор не опубликованы.
2. Перевод С. Ильина.

"Борьба за существование" — какой вздор! Проклятие труда и битв ведет человека обратно к кабану. <...> Пролетарии всех стран, разъединяйтесь! Старые книги ошибаются. Мир был создан в воскресенье.

На всякий случай, напоминаем: львиная доля набоковского наследия — художественная проза. Естественно, у Бойда есть свои пристрастия. Его особенно привлекает тот Набоков, что лучше подходит для студентов, — дитя Серебряного века, ловко плетущий словеса и сыплющий аллюзиями, дитя, потворствующее себе. В целом ему близок интерпретаторский подход: так, он заявляет, что "разгадал головоломную загадку 'Прозрачных вещей'", и очень трогательно признается, что он "все еще не понимает 'Лолиту'". К сожалению, такое вдумчивое чтение уже давно вышло из моды. Сегодня уже никто, кроме специалистов, не читает романы для того, чтобы разгадать их и понять (возможно, впрочем, так было всегда).

Бойд, кроме того, взял на себя роль своеобразного адвоката Набокова и намеренно приуменьшает значение одной важной темы всего его творчества, которая всегда смущала многих почитателей его таланта. Шесть из девятнадцати его романов целиком или отчасти посвящены теме сексуальности несовершеннолетних. В монографии Бойда эта шестерка урезана до тройки: Бойд старается не замечать тему педофилии в "Прозрачных вещах", а ее присутствие в "Арлекинах" и "Лауре" объясняет тем, что Набоков всего лишь хотел "обмануть ожидания читателя". Довод этот весьма спорен по двум причинам: во-первых, даже если было бы двумя девочками меньше, тема педофилии никуда не девается. Во-вторых, не стоит приписывать Набокову той примитивной писательской хитрости, которая недостойна его таланта: Набоков любил своих читателей, но вряд ли он принимал в расчет их "ожидания". Скажем прямо: нимфетки у Набокова — вопрос не морали, а эстетики. Их слишком много, чтобы с этим не считаться.

Бойд, хоть и искусственно, но весьма кстати пытается отделить Набокова-повествователя от Набокова-стилиста. Попробуем взглянуть на это несколько иначе и отделить проявления таланта от проявлений гения. Гений — данная от Бога высокая восприимчивость и способность выразить воспринятое, талант — все, что относится к мастерству и технике. Иногда талант берет верх над гением, как, например, в "Волшебнике" и "Камере-обскуре" — мелодичных, но окрашенных в черные фарсовые тона. Иногда, как в романах "Дар" и "Ада", явно претендующих на величие, гений непомерно разбухает, а талант съеживается и вянет (то же происходит в "Поминках по Финнегану" Джойса). Что же до мрачных набоковских сатир, таких как "Приглашение на казнь" и "Под знаком незаконнорожденных", тут все зависит от личного восприятия. В остальных же двенадцати романах (включая, по-моему, "Прозрачные вещи") талант и

гений почти полностью уравновешивают друг друга.

Очаровательно грустный рассказ “Уста к устам” (1932) представляет нам одного честолюбивого писателя, в задумчивости склонившегося над рукописью.

Еще рыдали скрипки, исполняя как будто гимн страсти и любви, но уже Ирина и взволнованный Долинин быстро направлялись к выходу из театра. <...> Сердца их дрожали в унисон.

– Дайте мне ваш номер от гардеробной вешалки, – промолвил Долинин (вычеркнуто).

– Позвольте, я достану вашу шляпку и манто (вычеркнуто).

– Позвольте, – промолвил Долинин, – я достану ваши вещи (между “ваши” и “вещи” вставлено “и свои”). Долинин подошел к гардеробу и, предъявив номерок (переделано: “оба номерка”)...

Тут Илья Борисович задумался.

Хотя Набоков – со свойственным ему мягким остроумием – наделяет этого пожилого графомана крупицей гения (“природа и переживания” давались ему “удивительно просто”), он отказывает ему даже в микроскопической частице таланта.

Бедный Илья Борисович проигрывает в борьбе с местоимениями, например с “она”, которое может относиться много к чему. Чтобы не повторять имени собственного, он придумывает неуклюжие замены: “молодая девушка” или “его собеседница”. Илья Борисович борется с деталями (дверями, билетами, пальто, вещами); “предметы роскоши казались гораздо покладистее, <...> и теперь, тяжело покончив с возней у гардероба и готовясь героя наделить тростью, Илья Борисович чистосердечно радовался блеску ее массивного набалдашника и, увы, не предчувствовал, какой к нему иск предъявит эта дорогая трость, как мучительно потребует она упоминания, когда Долинин, ощущая в руках гибкое молодое тело, будет переносить Ирину через весенний ручей”.

Про гений Набокова говорят постоянно. Но не забудем, что его талант не меньше. Мастерское чередование сцен и точек зрения, темп повествования, игра с тональностью, драматургичность, эксперименты с перспективой, отсутствие какой-либо небрежности и сбоев ритма – все у него просто безупречно. Потому сочувствие автора Илье Борисовичу на первый взгляд кажется неправдоподобным: как мог Набоков приписывать свои собственные творческие муки обыкновенному графоману? Однако всякий писатель хоть изредка испытывает те же страдания, что Илья Борисович. Бойд напоминает нам, что Набоков целый месяц потратил на один маленький эпизод “Лолиты” (важное, но не принципиально важное, упоминание парикмахера в шестнадцатой главе). “Мои карандаши живут дольше стирательных резинок. Каждое опубликованное слово я переписал по нескольку раз”, – вспоминал Набоков в “Твердых суждениях”.

Хвалебная речь справедливо считается самым скучным и бессодержательным жанром. В

нашем стремлении по достоинству оценить волнующее мерцание набоковского гения со всеми "далекими содроганиями онемелых молний" мы не можем предъявить никаких доказательств, только сослаться на собственное восприятие и процитировать самого Набокова. Если ни то, ни другое не убеждает, в запасе есть его биография. Автор этой статьи (который, надо сказать, в юности три года проработал в "Таймс литерари сапплмент" и до сих пор с трепетом относится к ее устоям) недавно читал курс о дебютных романах, таких как "Упадок и разрушение" Ивлина Во, "Между небом и землей" Сола Беллоу, "Прощай, Колумбус" Филипа Рота, "Выкрикивается лот 49" Томаса Пинчона. В каждом из этих романов уже чувствуется внутриутробное бурчание и шевеление будущего таланта. Но лишь один роман создает впечатление того, что рождается нечто сверхъестественное: это "Машенька" Набокова; фраза в самом начале 14-й главы звучит так:

Гремели черные поезда, потрясая окна дома; волнуемые горы дыма, движеньем призрачных плеч, сбрасывающих ношу, поднимались с размаху, скрывая ночное засиневшее небо...

Русские эмигранты Берлина, особенно в литературных кругах, бедные, но энергичные, наверняка с нетерпением ждали следующего романа загадочного "В. Сирина". И открыв его, обнаружили все тот же "черный поезд", готовый опять отправиться в путь точно по расписанию: "Король, дама, валет" — роман о моральном разложении и безумном замысле убийства — начинается с прибытия поезда:

Огромная, черная стрела часов, застывшая перед своим ежеминутным жестом, сейчас вот дрогнет, и от ее тугого толчка тронется весь мир: медленно отвернется циферблат, полный отчаяния, презрения и скуки; столбы, один за другим, начнут проходить, унося, подобно равнодушным атлантам, вокзальный свод; потянется платформа, увозя в неведомый путь окурки, билетики, пятна солнца, плевки; не вращая вовсе колесами, проплывет железная тачка; книжный лоток, увешанный соблазнительными обложками, — фотографиями жемчужно-голых красавиц, — пройдет тоже; и люди, люди, люди на потянувшейся платформе, переставляя ноги и все же не подвигаясь, шагая вперед и все же пятясь, — как мучительный сон, в котором есть и усилие неимоверное, и тошнота, и ватная слабость в икрах, и легкое головокружение, — пройдут, отхлынут, уже замирая, уже почти падая навзничь... Тронулся не только вокзал, с лотком, тачкой, белым продавцом слив и сосисок, — тронулся и старый городок в розоватом тумане осеннего утра: каменный курфюрст на площади, землянично-темный собор, поблескивающие вывески, цилиндр, рыба, медное блюдо парикмахера... Теперь уж не остановить. Понесло!

И весь этот мир Набоков всегда обозревал тем "свежим влюбленным взглядом", каким когда-то взглянула на него Машенька — героиня его первого, очень светлого романа.

Александр Янгалов

О *противоречиях и странностях в биографии Оруэлла*

Письмо в редакцию

Уважаемая редакция,

в 12-м номере журнала “Иностранная литература” за 2012 год были опубликованы отрывки из будущей книги Марии Карп о Джордже Оруэлле. Мария Карп давно занимается Оруэллом и является признанным специалистом в этой области. Образ Оруэлла, представленный в этой будущей книге, как следует из указанной публикации, вполне традиционен. Не портрет, а скорее икона рыцаря “интеллектуальной честности”, борца за правду, убежденного сторонника демократического социализма и противника тоталитаризма и т. д. и т. п. Однако ранее неизвестные факты, совершенно неожиданно для исследователей Оруэлла вскрывающиеся в последние 20 лет, увы, добавляют все новые и новые тени и мрачные краски на этот сияющий портрет. Я не буду пересказывать скандальной истории с Джасинтой Буддиком, закрывшей для Оруэлла (еще Блэра тогда) карьерные перспективы в метрополии и заставившей его уехать в Бирму, или еще раз обсуждать моральные аспекты подготовленного Оруэллом для британских (и американских) спецслужб списка криптокоммунистов, криптоевреев и криптогомосексуалов, включавшего в себя Б. Шоу, Дж. Стейнбека, Дж. Пристли, Ч. Чаплина и других подозрительных для Оруэлла лиц и много говорящего о его истинных, а не провозглашаемых политических убеждениях. Об этом, вероятно, уже известно Марии Карп, и она находит какие-то существенные обстоятельства, оправдывающие поведение Оруэлла.

Но в рассматриваемой публикации неоднократно и крайне положительно упомянут лучший друг, соратник и даже свояк Оруэлла, человек, известный как Жорж Копп. Самую положительную характеристику Жоржу Коппу дает в “Памяти Каталонии” сам Джордж Оруэлл. Очевидно, что Мария Карп абсолютно доверяет Оруэллу и вполне убеждена в клеветническом характере наветов испанских республиканцев на Ж. Коппа,

считает его арест и заключение необоснованными и инспирированными сталинскими агентами в Испании, а обвинение в пособничестве фашистам бесстыдной выдумкой сталинской пропаганды, которая вдобавок была озвучена крайне сомнительными и темными личностями, пробравшимися в британское подразделение ПОУМ.

Однако в 2006 году один бельгийский исследователь, изучая переписку Коппа, установил, что сомнительной личностью является именно Жорж Копп. Солидное британское издание "Спектэйтор" даже назвало Коппа: "чрезвычайно подозрительный товарищ Оруэлла" ("deeply suspect associate of Orwell's called Georges Kopp").

Во время Второй мировой войны этот "подозрительный товарищ", находясь на территории оккупированной Франции, сотрудничал-таки с фашистскими спецслужбами, работая на 2-е специальное бюро коллаборационистского режима Виши. Одновременно он являлся и агентом британской разведки МИ-5, то есть был двойным агентом. Подняв довоенные бельгийские архивы, бельгийский исследователь установил, что все приведенные Оруэллом в "Памяти Каталонии" о Коппе сведения — недостоверны. Вот что говорит Оруэлл: "Копп был моим личным другом, я служил под его командованием долгие месяцы. Мы вместе были под неприятельским огнем, и я знал многое о жизни этого человека. Он пожертвовал всем — семьей, родиной, материальным благополучием — лишь бы приехать в Испанию и сражаться с фашизмом. Покинув Бельгию без разрешения, вступив в иностранную армию, числясь офицером запаса бельгийских вооруженных сил, а до этого помогая нелегально производить боеприпасы для испанского правительства, Копп рисковал, вернувшись на родину, многолетним тюремным заключением". Но данные бельгийских архивов доказывают, что Копп не был подданным Бельгии, не служил в бельгийской армии, не был бельгийским офицером запаса, не производил нелегально никаких боеприпасов и не состоял в Бельгии под следствием, никакое заключение ему не грозило, и он, кстати, беспрепятственно посещал Бельгию после войны.

Еще один пикантный момент состоит в том, что сведения о сотрудничестве Коппа с фашистами во Франции вытекают именно из его переписки с Оруэллом, которая не прерывалась, несмотря на состояние войны (с июля 1940 г.) между Великобританией и вишистской Францией. То есть Оруэлл знал, что Копп сотрудничает с фашистами. Возникает множество вопросов: доложил ли Оруэлл "куда следует" о том, что его "личный друг" сотрудничает с врагом, был ли сам Оруэлл сотрудником спецслужб и потому переписывался с Коппом, а если был, чьих спецслужб и т. д.? Как утверждает бельгийский исследователь, в деле агента британской разведки Ж. Коппа, хранящемся в лондонском архиве, имеется характеристика, дан-

ная Коппу Оруэллом (!!), мол, это человек аполитичный [с какой же целью тогда он рисковал жизнью в Испании? — *А. Я.*], любит выпиливать лобзиком, и все такое, но ни слова не сказано о сотрудничестве того с нацистами! Опять его выгораживает, как и в "Памяти Каталонии"? Или Оруэлл — сам сотрудник британской спецслужбы — знает, что британская спецслужба знает, что Копп — двойной агент и потому об этом не сообщает? То есть Оруэлл — контрразведчик и участник битвы британской и фашистской разведок?

Но Коппа и Оруэлла роднит с фашизмом еще кое-что. Точнее, кое-кто. Жена Оруэлла, Айлин (урожденная О'Шоннесси), в одном из писем к подруге называет своего брата Лоуренса О'Шоннесси "прирожденным фашистом". Конечно, между родственниками бывает всякое, бывают и шутки, бывают и ссоры. Может быть, это шутка такая, или же сказано вследствие семейной размолвки, в сердцах. Известно, впрочем, что отношения Айлин и Лоуренса были самые нежные и братские. Менее известно, что хирург Лоуренс О'Шоннесси был учеником личного врача Гитлера, профессора Саарбрюка, и считал его не только своим научным руководителем, но и духовным учителем. Лоуренс часто ездил в Берлин, а Саарбрюк часто навещал Лоуренса в Лондоне. Поэтому высказывание Айлин о брате в частном письме к подруге — это не шутка и не семейный разлад, а просто откровенничанье с подругой. Именно в доме "прирожденного фашиста" Лоуренса О'Шоннесси и его жены Гвен прожил несколько месяцев Жорж Копп, вернувшись (?) из "застенков" Испанской республики в Великобританию, а не в Бельгию, где его, как выяснилось, никто и не думал преследовать. Именно Лоуренс и его жена выхаживали Коппа, подвергавшегося, по его словам, на допросах республиканцев пыткам, но по счастливому стечению обстоятельств (?) избежавшего расстрела и вернувшегося в Англию. Впоследствии О'Шоннесси, Оруэлл и Копп стали родственниками, когда Копп женился на сестре жены Лоуренса, шурина Оруэлла.

Кстати, когда начались боевые действия между Британией и Германией, хирург Лоуренс чрезвычайно стремился на фронт, причем как можно ближе к передовой, для того, мол, чтобы как можно быстрее оказывать раненым бойцам неотложную хирургическую помощь. При эвакуации британских войск из Дюнкерка хирург Лоуренс О'Шоннесси пропал без вести, тогда как газеты сообщили, что он погиб.

Загадочным образом в 1945 году погибла и сестра О'Шоннесси, Айлин, жена Оруэлла и свояченница Коппа. В ходе рутинной операции по поводу женской болезни, не предвещавшей никаких осложнений, она умерла. Как гласило заключение, от чрезмерной анестезии...

О противоречиях и странностях в биографиях Оруэлла, О'Шонесси и Коппа можно рассказывать еще долго, но я хотел бы объяснить, почему я столь заинтересовался этим

чрезвычайно знаменитым, но не вполне оригинальным, о чем я еще скажу, писателем и его окружением. Точнее всего писателя характеризуют его произведения — это истина избитая, и потому за нее две небитых дают. Года три назад я решил перечитать главное произведение Оруэлла, роман "1984", который читал в конце 80-х, когда его впервые в СССР опубликовали в "Новом мире". В предисловии к роману в журнале было сказано, что Оруэлл всю жизнь был демократическим социалистом и последовательным борцом с тоталитаризмом, какие бы формы тот ни принимал. Содержание прочитанного произведения, представляющее собой, как я недавно для себя выяснил, основательно переработанный Оруэллом для другого времени и места роман "Мы" Е. Замятина, не противоречило сказанному в предисловии. И я долгие годы считал Оруэлла демократическим социалистом.

К счастью, в книжке, которая подвернулась мне под руку, была и сказка "Скотный двор", которую, должен в этом признаться, я ранее не читал. По мере чтения сказки глаза на Оруэлла у меня раскрывались все шире, а брови поднимались до самых границ моего большого, с залысинами, лба.

Дело в том, что смысл сказки "Скотный двор", ее послание читателю, однозначно характеризует Оруэлла как ненавистника социальной справедливости, равенства, братства и т. д. В самом деле, пролетариат, по мнению Оруэлла, — это скот, капиталисты — люди. Плохие капиталисты своей нерадивостью и нерасторопностью приводят скот к восстанию. Хорошие же, умело ведущие дело, естественно, никогда до такого безобразия не доведут. Таким образом, Оруэлл считает, что пролетариев следует держать в стойле, но вести хозяйство ответственно и аккуратно. Сама социалистическая идея, по мнению Оруэлла, — это всего лишь приснившийся одному из скотов сон — и уж никак не теория: мало ли что приснится старому животному — корыто, полное сочного жмыха, например.

С точки зрения Оруэлла, капиталисты настолько выше пролетариев, насколько люди выше быдла, но и в среде быдла тоже нет равных. Это неравенство закреплено генетически: одни виды способны освоить лишь одну или несколько букв, другие, несколько более развитые, владеют — только подумать! — всем алфавитом. Это исконное, по мнению Оруэлла, неравенство и приводит к расслоению и загниванию коллективного хозяйства: выделяются более сметливые скоты и воспроизводят порядок, придуманный капиталистами-человеками. В то же время некоторые плохие капиталисты позорят свой класс и оскотиниваются, яко пролетариат.

Подобная убежденность Оруэлла во врожденном и наследуемом превосходстве представителей высших классов и недоразвитости и отсталости людей низших сословий не только не вписывается ни под каким соусом в социалистический винегрет (Т. Кампанелла,

А. Сен-Симон, К. Маркс, Ф. Энгельс, П. Прудон, Э. Бернштейн, В. Ленин, Л. Троцкий, В. Брандт, Ф. Миттеран, Ф. Олланд, У. Пальме и т. д.), но не согласуется даже с либеральными требованиями французской буржуазной революции о свободе, равенстве и братстве всех людей. Какое уж тут может быть братство и равенство между хозяином поместья и его курицей-несушкой? Противоречит это высокомерие и религиозным представлениям о том, что люди сотворены равными перед богом. Совершенно очевидно, что мораль автора "Скотного двора" лучше всего соотносится с моралью рабовладельцев, признающих своих рабов не людьми, но вещами или рабочим скотом.

Обычно, говоря о "Скотном дворе", англоязычные исследователи предпочитают усматривать влияние Свифта: дескать, Оруэлл в своей сказке следует традиции "Путешествий Гулливера". А у Свифта лошади представлены даже более благородными существами, чем люди. Поэтому уподобление низших классов и разного рода социалистов домашнему скоту в сказке — всего лишь дань великой свифтовской традиции и не свидетельствует о презрении и ненависти автора к пролетариям и социалистам. Однако теряющий человеческое достоинство человек в сказке Оруэлла начинает напоминать свинью, что доказывает врожденное скотское, по убеждению Оруэлла, состояние определенных классов и групп людей. Степень скотообразия каждого персонажа в сказке Оруэлла обратно пропорциональна его человеческому достоинству.

Здесь уместно сказать о том, что идею и, в значительной части, сюжет "Скотного двора" Оруэлл позаимствовал вовсе не у Свифта, а из опубликованного в 1917 году в русском журнале "Нива" памфлета "Скотской бунт", который, как утверждалось в кратком предисловии редакции, принадлежал перу известного украинского национал-демократа Костомарова. Сдвоенный выпуск журнала, задержавшийся на несколько месяцев вследствие революционных событий в России, вышел как раз в самый разгар корниловского мятежа. Напомню, что генерал Корнилов намеревался стать диктатором, свергнуть законное правительство во главе с Керенским, расстрелять при необходимости Советы в полном составе и загнать таким образом распоясавшееся и обнаглевшее, по мнению монархистов, народное быдло в стойло.

Однако в сказке Оруэлла меня поразила даже не столько ее очевидная, позаимствованная из псевдокостомаровского "Скотского бунта", общая антидемократическая, феодально-крепостническая направленность, а ее острый, сиюминутный политический смысл, относящийся непосредственно к моменту работы Оруэлла над этим опусом. Все персонажи и события сказки легко узнаваемы: сам Оруэлл в одном из писем признавал, что это сатира на сталинский режим в Советской России. Боров Наполеон —

это, конечно, И. Сталин, боров Снежок – Л. Троцкий, люди, хозяева поместий, господа Пилкингтон и Фредерик, – это Черчилль и Гитлер, соответственно. Битва быдла и сил помещика Фредерика у мельницы – это кровопролитная война СССР и нацистской Германии, описанная Оруэллом чрезвычайно глумливо и кощунственно.

Отношение Оруэлла к событиям, происходившим в 1943–1944 годах, то есть в момент написания сказки, ясно и прозрачно. По мнению автора, недостойный человек, Пилкингтон-Черчилль, идущий на сотрудничество с коммунистическим скотом, оскотинивается, а более достойный человек, Фредерик-Гитлер – нет. Особенно беспокоит автора сказки, что Пилкингтон и Фредерик не могут договориться между собой, ведь они же люди! Да и их первоначальное, до момента возникновения разногласий, отношение к бунту животных совершенно тождественно. Вместо поиска согласия с Фредериком-Гитлером свинообразный и, очевидно, ненавидимый Оруэллом Пилкингтон-Черчилль вступает в тесные отношения со свиньей-Сталиным.

Кстати, при чтении сказки хорошо образованные представители правящего класса Великобритании должны были уловить, что в XIX веке жил-был довольно известный архитектор, строивший в готическом стиле, Фредерик Пилкингтон. Таким образом, противоборство Пилкингтона и Фредерика, согласно Оруэллу, противоестественно с любой точки зрения, и виноват в нем, несомненно, Пилкингтон, вставший на сторону быдла.

Лучше всего собственное отношение к Гитлеру Оруэлл выразил в достаточно двусмысленной рецензии на книгу Гитлера "Моя борьба". Заявляя, с одной стороны, что он "размышлял, что убил бы Гитлера", буде такая возможность ему представилась, ведь Гитлер – враг Великобритании! – с другой, он со всей откровенностью признается: "Считаю должным заметить то, что я никогда не мог заставить себя не любить Гитлера". Гитлер в этой рецензии – это мученик, прикованный Прометей и практически – да-да!! – распятый Христос.

Необходимо отметить и то, что в Великобритании в 30–40-х годах была исключительно влиятельная профашистская партия, имевшая в своем составе представителей высшей британской аристократии, один список которых занял бы целую книжную страницу. И во главе этого списка был представитель правящей фамилии, отрекшийся от престола король Эдуард VIII, который разделял нацистские идеи и, будучи с визитом в Германии, приветствовал Гитлера полным нацистским салютом. В июле 1940 года Черчилль наступил всей этой "элите" на хвост, запретив Британский фашистский союз и отправив экс-короля в почетную ссылку подальше от Европы, губернатором Багамских островов, о чем, кстати, пишет Оруэлл в своих дневниках. Понятно, какие чувства вызывал

Черчилль у указанной элиты "человеков", к которой, как явствует из сказки "Скотный двор", несомненно относил себя и аристократ, и итонский выпускник Джордж Оруэлл. Интересно, что составивший впоследствии список криптокоммунистов, криптоевреев и криптогеев Оруэлл, почему-то не озаботился созданием подобного списка криптофашистов, в то время когда нацисты уже подобрали для Великобритании будущего достойного гауляйтера и коллаборационистское теневое правительство.

Но, может быть, политическая направленность сказки "Скотный двор" не совпадает с направленностью других его произведений? Я задал себе труд и прочитал его романы и очерки 30 и 40-х годов, написанные в духе добросовестного капреализма. Да, он пишет об интеллигентах, не лишенных определенных положительных качеств, о леваках, скромных, одиноких бунтарях. Но у этих интеллигентов, бунтарей и леваков недостаточно белый цвет кожи, они имеют открытые или скрытые физические и моральные изъяны и либо кончают жизнь самоубийством, либо перековываются в осознавших и осудивших свои заблуждения строителей светлого капиталистического будущего, либо находят утешение в религии. Ни одного персонажа, отдаленно напоминающего не то что Павла Власова, но хотя бы Астрова! Понятно, к каким выводам должен был прийти британский левый интеллектуал, на которого и были нацелены сочинения Оруэлла, числившегося то ли троцкистом, то ли независимым лейбористом, то ли тори-социалистом, что ничуть не менее оригинально, чем, например, конституционно-монархический большевик.

Итак, изучение произведений Оруэлла, главного и самого весомого свидетельства политических воззрений этого (как и любого другого) автора, приводит к выводу, что его растиражированные звонкие слова о приверженности "демократическому социализму, как я его понимаю", есть всего лишь пропагандистский прием. Ведь "все искусство в той или иной мере есть пропаганда", — говорил самый известный пропагандист XX века Оруэлл.

А то, чем именно занимались в Испании бывший офицер британской колониальной полиции Оруэлл и белоэмигрантский офицер (?) Ж. Копп, фронтовой отпуск которых совершенно случайно совпал с начавшимися в Барселоне братоубийственными столкновениями в тылу испанской республиканской армии, возможно, еще когда-нибудь и совершенно непредсказуемо откроется, как неожиданно всплыли "список Оруэлла", история с Джасинфой, неприятные факты из биографии лучшего друга Оруэлла Ж. Коппа... И портрет Дж. Оруэлла — А. Э. Блэра — приобретет свой окончательный и неотретушированный вид.

18 января 2013 г.

Мария Карп

Джордж Оруэлл и Жорж Копп

Ответ Александру Янгалову

Поразительно, что и через 63 года после смерти Оруэлла сама его фигура вызывает столь же сильное раздражение, как и при жизни. Но объяснение этому есть. Оруэлл разоблачил тоталитарную сущность коммунизма, и простить ему это не могут до сих пор.

Почти в то же время, когда господин Янгалов направил свое письмо в редакцию "Иностранной литературы", в газете "Морнинг стар" (да-да, она еще существует!) было опубликовано письмо некоего Джеффа Сотелла под заголовком "Оруэллу нечего предложить подлинным социалистам". Примерно с той же страстью, что и господин Янгалов, господин Сотелл изо всех сил пытается сбросить Оруэлла с пьедестала, на который его явно незаслуженно вознесли. "Напыщенный самодовольный буржуй"; "на рабочих смотрел сверху вниз"; идею "Скотского хозяйства" и ту не сам придумал: ему ее подсказали антифашистские рисунки художницы Гертруды Элайа; "1984" — это книга о том, как люди предают друг друга — какое неуважение к памяти тех, кто пал за свои убеждения! Но чего вообще можно ждать от бывшего бирманского полицейского, который хоть и написал "Фунты лиха в Париже и Лондоне", но по-настоящему в трущобах не жил, поскольку всегда можно было спрятаться под крылышко к богатой тете Нелли!

В своем куда более длинном письме господин Янгалов пользуется примерно такой же логикой, доказать же пытается не столько оруэлловское "буржуйство", сколько его "фашистские взгляды". Факты вроде того, что Оруэлл бросился в Испанию сражаться с фашизмом, рисковал при этом жизнью и был ранен в горло пулей фашистского снайпера, он, разумеется, отметает за ненадобностью. Зато в ход идут любые другие доводы — практически все, что попадается под руку.

В первую очередь, разумеется, "список криптокоммунистов", о котором противники Оруэлла кричат с 1996 года, называя писателя чуть ли не доносчиком, хотя уже столько раз было разъяснено[1], что в нем Оруэлл назвал имена людей, не подходящих, на его взгляд, для ведения антикоммунистиче-

1. См., например, статью Тимоти Гартон Эша "Список Оруэлла" (http://www.nybooks.com/articles/archives/2003/sep/25/orwells-list/?pagination=false) или главу в книге Кристофера Хитченса "Победа Оруэлла" (Christopher Hitchens. Orwell's Victory. Allen Lane. — The Penguin Press, 2002. — С. 111–122).

ской пропаганды в Великобритании. Среди них были и просто британские сталинисты, нисколько своих взглядов не скрывающие, и настоящие советские агенты, такие, как, например, чех Петр Смолка, завербованный Кимом Филби и ставший под именем Питера Смоллета главой Русского отдела в британском Министерстве информации (именно он, кстати, не рекомендовал издателю Джонатану Кейпу публиковать "Скотское хозяйство"). Вряд ли кто-нибудь считал или считает сегодня, что это были самые подходящие кандидатуры для борьбы с коммунистическим влиянием в Великобритании, но ведь те, кто ненавидят Оруэлла, и по сей день ничего плохого в этом влиянии не видят!

Что же касается "скандальной истории с Джасинтой Буддиком, закрывшей для Оруэлла (еще Блэра тогда) карьерные перспективы в метрополии и заставившей его уехать в Бирму", то тут господин Янгалов просто несколько погорячился. Никакой истории, "закрывшей Оруэллу (тогда еще Блэру) карьерные перспективы в метрополии" не было вовсе. Был, как пишет в своем "Послесловии" к книге мемуаров Джасинты Буддиком "Эрик и мы"[1] ее кузина Дион Венаблс и вслед за ней многочисленные биографы Оруэлла, неприятный эпизод, который произошел между друзьями детства и был вызван тем, что семнадцатилетний молодой человек уже готов был перейти к более близким отношениям, а девятнадцатилетняя девушка — нет. К первым поцелуям и объятиям Джасинта не просто относилась благосклонно — она не могла о них забыть всю жизнь, но при более решительных действиях поклонника — стала сопротивляться. Эрик остановился, но Джасинта вернулась домой с разорванной юбкой, а главное — мрачнее тучи. Два дня, оставшиеся до конца каникул, она его избегала. А вскоре расстроенный Эрик уехал на край света, тем более, что идти учиться в Оксфорд или Кембридж, как это делали все одноклассники, не собирался. Джасинта на письма из Бирмы хоть кратко, но отвечала, никому о случившемся не говорила и не упомянула об этом эпизоде даже в мемуарах, написанных полвека спустя. Знала о нем только ее сестра, которая на старости лет и поделилась тайной с Дион Венаблс, так что широко известной история стала только в 2006 году, когда "закрывать карьерные перспективы" было поздновато.

Оруэлл долго корил себя, что, поехав в Бирму, оказался на службе Британской империи, с которой потом боролся всю свою сознательную жизнь. Биографы спорят, была ли причиной его решения нехватка средств у отца, которая при отсутствии стипендии делала обучение в университете затруднительным, или юношеская жажда приключений. Но, уж во всяком случае, ее не вызвало "закрытие карьерных перспектив" в результате "скандальной истории".

1. Eric and Us by Jacintha Buddicom. The First-hand Account of George Orwell's Formative Years. Postscript by Dione Venables. — Finlay Publishers, 2006.

Уже эти два примера показывают, что, с точки зрения г-на Янгалова, для того чтобы опорочить Оруэлла, все средства хороши. Однако наиболее выигрышным доводом кажется ему судьба товарища Оруэлла по испанской войне Жоржа Коппа. Обвинив Коппа в пособничестве фашистам, Янгалов без труда переносит это обвинение и на Оруэлла. К системе его доказательств я еще вернусь, но сначала интересно разобраться, что за человек был Жорж Копп.

Он и в самом деле был не тем, за кого себя выдавал. Русским читателям особенно интересно узнать, что Копп, которого Оруэлл при первом его появлении в книге "В честь Каталонии" называет "кряжистый бельгиец", родился в Петербурге в 1902 году. Если бы он вырос на родине, мы бы сегодня говорили о Георгии Александровиче Коппе, но судьба распорядилась иначе. Его отец в 1909 году решил переехать с семьей в Бельгию. Жоржу было семь лет. Поэтому, разумеется, брошенное Янгаловым мимоходом "белоэмигрантский офицер (?)" — это еще один пример смелого и безосновательного домысла, каких в его письме не счесть.

Жорж рос в Бельгии и Швейцарии, учился и тут, и там, хотя университет не закончил — помешала смерть отца в 1921 году. Тем не менее стал инженером. В 1925 году он женился и между 1926-м и 1932 годом родил пятерых детей. В 1934-м, когда в Европе разразился экономический кризис, его уволили. Тяжелое финансовое положение семьи в сочетании с многочисленными романами отличавшегося необыкновенным обаянием Коппа привели его в 1935 году к разводу. Он поселился с матерью (с которой, конечно, говорил по-русски) и после ссоры с ней (разумеется, из-за денег, потому что они жили на ее пенсию) в июле 1936 года — исчез. В тот момент сумма его долгов достигала одиннадцати тысяч франков (на нынешние деньги около восьми с половиной тысяч евро).

Он отправился воевать в Испанию, написав по дороге письмо детям, где объяснял, что едет, как "все люди доброй воли", сражаться с фашизмом. Одновременно он написал бывшей жене, объясняя, что уезжает, чтобы больше не выяснять с ней отношения. Прибыв в Испанию без всякой военной подготовки, он заявил, что он бывший офицер бельгийской армии и подвергался преследованиям на родине. Тут мы впервые (если не считать, разумеется, измен жене) сталкиваемся со способностью Коппа говорить то, что ему кажется уместным по обстоятельствам, но вовсе не всегда соответствует действительности — то есть попросту лгать. В тот момент у Оруэлла причин не доверять Коппу не было, и он принимал все, что рассказывал ему друг, за чистую монету.

Насчет бельгийского прошлого Копп, безусловно, врал, однако быстрое продвижение по службе во время войны (к началу 1937 года, когда Оруэлл с ним познакомился, он был командиром центурии, а к июню уже капитаном) свидетельствует, что в армии его ценили.

Нет никаких оснований сомневаться ни в описанном Оруэллом его личном мужестве, проявлявшемся и в окопах, и во время барселонских событий, ни в его веселом цинизме — он называл нелепое затишье на Арагонском фронте "комической оперой с отдельными смертями", а когда Оруэлл пришел навещать его в тюрьме НКВД, бодро заявил: "Нас всех расстреляют".

Книга "В честь Каталонии" практически заканчивается этим визитом Оруэлла в тюрьму и его неудавшейся попыткой помочь товарищу. Коппа не расстреляли, но ему пришлось провести в пыточных условиях тюрем полтора года. Когда он вышел в декабре 1938 года, стоять он мог, только опираясь на палку. И тем не менее в 1940 году он уже был снова на фронте — вступив во французский Иностранный легион, сражался с немцами, был тяжело ранен в июне 1940 года и захвачен в плен. В августе бежал и позднее был направлен в штаб французского Иностранного легиона в Алжире. А в начале 1941 года обратился к правительству Виши с предложением наладить в Марселе переработку лигнита (бурого угля) для получения бензина и газойля, необходимых французскому флоту.

В своем письме господин Янгалов торжествующе и безаппеляционно заявляет: "Во время Второй мировой войны этот подозрительный товарищ, находясь на территории оккупированной Франции, сотрудничал-таки с фашистскими спецслужбами, работая на 2-е специальное бюро коллаборационистского режима Виши".

Крупнейший специалист по Оруэллу, Питер Дейвисон, посвятивший Коппу главу в своей книжке "Неизвестный Оруэлл"[1], высказывается куда более осторожно. Его глава кратко пересказывает результаты обширного исследования бельгийского ученого Берта Ховертса и, в частности, обнаруженное им письмо Коппа, датированное 17 декабря 1941 года. Питер Дейвисон пишет: "Он [Копп] заявляет, что занимается технической деятельностью, однако 'имеющей куда больше отношения к борьбе с Германией, чем все, что я делал до сих пор'. Он настойчиво подчеркивает, что, хотя и работает на правительство Виши, 'ему гарантировали, что эта деятельность служит исключительно Франции и помогает сражаться с Германией'. Неужели, сомневается профессор Дейвисон, Копп с его острым умом верил подобным "гарантиям"?

Никаких свидетельств того, что Копп сотрудничал со спецслужбами режима Виши нет, утверждает еще один бельгийский исследователь Марк Вилдемирс в опубликованной в 2010 году биографии Коппа под остроумным названием "Человек, который хотел быть бельгийцем"[2]. Безусловно, он рабо-

1. The Lost Orwell. Edited by Peter Davison // Being a Supplement to the Complete Works of George Orwell. — Timewell Press, 2006. — С. 83–91.
2. Marc Wildemeersch. De man die Belg wilde worden. Georges Kopp, commandant van George Orwell. In de Knipsheer, 2010.

тал на коллаборационистский режим Виши, но работал не в качестве агента, а в качестве инженера. Возможно, он действительно полагал, что нет у него лучшей возможности воевать с немцами, чем поставляя бензин правительству Виши, как он объяснял в одном из писем, а возможно и потому, что эта его деятельность хорошо оплачивалась, а Коппу, как всегда, нужны были деньги. Однако по мере того, как Германия все больше подчиняла марионеточное французское правительство своей воле, все активнее становились попытки Коппа связаться с британской разведкой и предложить свои услуги ей.

"Агент... или двойной агент?" — так называет Марк Вильдемирс одну из глав в своей книге. Вильдемирсу сотрудничество Коппа со Вторым специальным бюро режима Виши представляется сомнительным. Однако он признает, как трудно в случае Коппа доискаться до правды — ведь сам он в своих письмах, анкетах, воспоминаниях самозабвенно рассказывал небылицы, причем часто забывая, что́ говорил прежде, и сочиняя наново. Он утверждал, что мать его родилась во Фландрии (а на самом деле, Гиталия (Генриетта) Нейман была родом из Одессы) — впрочем, признаваться в этом, находясь на оккупированной Гитлером территории, было равносильно самоубийству, — что в Испании он дослужился до генерала (иногда, впрочем, говорил, что до подполковника), что во Франции его постоянно представляли к военным наградам, что он придумал противотанковое устройство и арестовали-то его в Испании именно потому, что этим устройством заинтересовалось НКВД.

Что, однако, не подлежит никакому сомнению и основательно документировано — это его работа на британскую разведку. Приведу здесь только два интересных факта. Когда сотрудники британской службы МИ-5 обдумывали, брать ли им Коппа в агенты, они обратились к указанному им рекомендателю — "известному политическому писателю" Джорджу Оруэллу. В архивах МИ-5 сохранилась следующая запись, датированная 8 июля 1943 года:

> БЛЭР сообщил, что КОПП, на его взгляд, человек лояльный, настроен безусловно антинацистски, но в остальном политикой не интересуется, хотя и склоняется к левым взглядам. Он физически храбр и решителен, но, в целом, авантюрист. Ему случается присочинять подробности, и, хотя на личном уровне, он вполне заслуживает доверия, все-таки все, что он говорит, желательно подтверждать дополнительно[1].

Заметим, что г-н Янгалов, пересказывающий эту запись, о последних фразах просто умалчивает — ведь они подрывают весь ход его рассуждений! Интересно и то, что с такой характеристикой Коппа в разведку взяли. Наверно, опирались и на другие отзывы. А вот бедного Оруэлла он впоследствии серьезно подвел: когда Оруэлл незадолго перед

1. The Lost Orwell. — C. 87.

смертью уезжал на заброшенный шотландский остров Джура, Копп продал ему свой старый грузовик, который, как оказалось, был не на ходу. Рассказывают, что его сгрузили с прибывшего из Англии судна и так он, ржавея и разваливаясь, и простоял у пристани аж до 1976 года. А Оруэлл в 1946–1947-м, проклиная неудобства, ездил по острову на мотоцикле.

И вторая подробность: куратором Коппа в МИ-5 был никто иной, как советский шпион Энтони Блант, завербованный советской разведкой еще в 1934 году. Пользуясь методами господина Янгалова можно, наверно, было бы утверждать, что и Копп работал на советскую разведку, однако никаких данных, об этом свидетельствующих, нет. А вот фраза в деле Коппа, хранящемся в архивах МИ-5, "вряд ли троцкисты на сегодняшний день столь же надежны, как сталинисты", скорей всего, по мнению Марка Вильдемирса, принадлежит именно Бланту.

История Коппа заканчивается тем, что, когда сеть агентов МИ-5 во Франции провалилась, Коппа вывезли из Франции в Англию, где он женился на сводной сестре невестки Айлин О'Шонесси, жены Оруэлла, родил еще троих детей и принялся придумывать остроумные, но не имеющие коммерческого спроса изобретения, вроде стиральной машины, загружаемой сверху, или сверхсовременной детской коляски. Он был человеком образованным и в письме к шестнадцатилетней дочери рекомендовал ей читать Поля Валери, Сартра, Виктора Гюго, Флобера, Мориака и Монтеня. Однако бизнес его хирел, расшатанное здоровье становилось все хуже. Он снова поехал во Францию, где и умер в Марселе в 1951 году.

На основании того, что Копп переписывался с Оруэллом во время войны, Янгалов умозаключает, что "Оруэлл знал, что Копп сотрудничает с фашистами". Никаких других доказательств этого "знания" не приводится, хотя факт переписки куда проще объяснить какими-то ухищрениями изобретательного Коппа, тем более что в письме к другим своим корреспондентам от 17 декабря 1941 года, Копп объясняет, что "письма из Англии во Францию доходят, если писать на конверте 'через Лиссабон' или просить кого-то в Испании или Португалии отправлять их оттуда"[1]. Но сделанный вывод наталкивает Янгалова и на другие, еще более далеко идущие, выводы, поданные в виде вопросов: "Доложил ли Оруэлл 'куда следует' о том, что его 'личный друг' сотрудничает с врагом? Был ли сам Оруэлл сотрудником спецслужб и потому переписывался с Коппом? Если был, чьих спецслужб? и т. д. <...> Или Оруэлл — сам сотрудник британской спецслужбы — знает, что британская спецслужба знает, что Копп — двойной агент и потому об этом не сообщает? То есть Оруэлл — контр-

1. The Lost Orwell. — C. 90 (footnote).

разведчик и участник битвы британской и фашистской разведок?"

Самое интересное здесь то, что завороженный словом "спецслужбы" Янгалов перестает различать, на чьей стороне правда. Британские спецслужбы во время войны боролись с фашизмом. Великобритания была союзницей СССР по антигитлеровской коалиции и, более того, сражалась с Гитлером еще тогда, когда СССР его поддерживал. Работа Коппа на британскую разведку была антифашистской деятельностью! Оруэлл-то, разумеется, ни на какую разведку не работал и вряд ли мог бы, даже если бы захотел — при независимости его суждений ему была трудна даже работа на Би-би-си, не являющейся государственной организацией. Он сражался с фашизмом как писатель.

Дальнейшие умозаключения Янгалова о том, что брат Айлин наверняка был фашистом, потому что учился медицине у человека, ставшего впоследствии личным врачом Гитлера; подверстывание внезапной смерти Айлин на операционном столе к гипотетическому фашизму ее мужа и брата и в особенности то, что "...смысл сказки 'Скотный двор' [случайно подвернувшейся Янгалову в гостях — *М. К.*], ее послание читателю, однозначно характеризует Оруэлла как ненавистника социальной справедливости, равенства, братства и т. д.", думаю, можно оставить без внимания. Методика его доказательств понятна.

Интересно тут только одно — даже если допустить, что Копп был агентом режима Виши, хотя доказательств этому нет, все равно во Францию он попал **после** событий, описанных Оруэллом в книге "В честь Каталонии" и рассказанных в главах из моей книги, **после** гражданской войны в Испании. Неуклюжая попытка доказать, что Копп, да и Оруэлл тоже, **всегда** были фашистами, возвращает нас к логике сталинской пропаганды 1937 года — члены партии ПОУМ (порвавшей с Троцким) были "троцкисты", а "троцкисты" — они фашисты и есть. По этой логике, Оруэлла явно следовало в Барселоне расстрелять — и тогда он, к радости Янгалова, не написал бы ни "Скотского хозяйства", ни "1984", ни списка агентов коммунистического влияния для британского МИДа.

Рассуждение Янгалова о том, что "ранее неизвестные факты... добавляют все новые и новые тени и мрачные краски на этот сияющий портрет" — на самом деле, может быть, и неосознанное стремление вернуться в те недалекие времена, когда имя Оруэлла в России было под запретом, а если и появлялось, то только с самыми нелестными эпитетами. Например: "Оруэлл — идеолог последней стадии фашизма, сверхфашизма, стремящегося к уничтожению человечества!"[1] Правда, похоже?

Но Оруэлла все это никак задеть не может.

1. Цит по: А. В. Блюм. "Путешествие" Оруэлла в страну большевиков. (http://orwell.ru/a_life/blum/russian/r_papsb)

Итоги ЕГЭ *по английской литературе*

Подытоживаем ответы наших читателей на анкету, опубликованную в последнем номере “ИЛ” за прошлый год и предлагавшую оценить работу журнала в 2011–2012 годах. Заполненные анкеты и содержательные дополнения к ним в редакцию прислали жители разных регионов страны, живущие как в городах (причем не только в самых крупных, но и в малых), так и в селах, поселках. Среди ответивших есть давние подписчики журнала, но есть и новые, более молодые читатели. Естественно, у тех, кто счел нужным и важным нам ответить, тем более — у наших многолетних подписчиков, преобладает заинтересованное и позитивное отношение к изданию, хотя присланные материалы вовсе не лишены критических нот.

В целом читатели согласны в том, что “ИЛ” “держит высокую планку”, из журнала “ушла идеологическая предопределенность”, он “становится все более свободным, раскованным”, находит “золотую середину между популярным и элитарным”. Он “изменился, как изменилось и время”, — резюмируют читатели, добавляя, что и сами “менялись вместе с ним”. Вместе с тем корреспонденты старших поколений отмечают, что во времена их молодости журнал, служивший едва ли не единственным окном в “большой” мир, “спасительной кислородной подушкой”, “был ярче и желаннее”. Но если одни пишут об этом с ностальгией, то другие — с иронией: “Наверняка встречаются вам вредные читатели, которые сравнивают сегодняшние книжки журнала с номерами 10-20-30-летней давности и бурчат, что раньше трава была зеленее”. Такая двойственность понятна, ведь наши корреспонденты оценивают перемены и в журнале, и, как было сказано, в самих себе.

Читатели одобряют укрупнение шрифта в номерах последних лет, отмечают высокое качество оформления. Многообещающей представляется им открытая недавно рубрика “Переперевод”. Мы рады, что публика заметила и высоко оценила такую новую стратегию журнала, как “включение в российское культурное пространство русскоязычных и русско-пишущих авторов, связанных последние десятилетия... с зарубежьем”. Среди опубликованных “ИЛ” авторов этой подгруппы (один из корреспондентов условно именует их “Жол-

ковский и др.") выделяются Леонид Гиршович, Игорь Померанцев, Игорь и Марина Ефимовы, Александр Стесин.

Важно, что многие писатели, открытые "ИЛ", выходят потом на книжный рынок, и домашние библиотеки читателей пополняются теперь уже их книгами. Так читатели и издатели следят в дальнейшем за творчеством тех авторов, которых узнали и отметили для себя на страницах "ИЛ". "Как страстный библиофил, — пишет один из наших корреспондентов, — хочу отдельно поблагодарить весь коллектив 'Иностранки' за помощь в своевременном пополнении моей домашней библиотеки интересными книгами. Именно после ваших публикаций в ней появлялись отдельные издания Тициано Скарпы и Анны Каван, Мордехая Рихлера и Меира Шалева, Михала Вивега и Ежи Пильха, Недима Гюрселя и Алана Беннетта..."

Большинство приславших анкеты и письма позитивно оценивают национальные и тематические номера "ИЛ", литературные гиды журнала. Однако "при условии, что они не идут один за другим, превращая журнал в учебник литературы". Читатели осознают трудности, которые стоят при этом перед составителями: "Составитель национального номера должен пройти по лезвию бритвы между широтой охвата и качеством отобранного материала. Удается не всегда: помимо корабельных сосен и дубов в три обхвата встречается валежник. Часто антология — 'братская могила' авторов (в том числе достойных). Для меня пример идеального специального номера — 'Memento mori' (2010, № 3), всё на высоте". Из составителей подобных номеров наши корреспонденты выделяют Т. Баскакову и Н. Хотинскую, М. Аннинскую и Е. Байбикову. Читателей радует публикация материалов под рубриками "Писатель путешествует" и "Наши иллюстрации", "Литературное наследие" и "Трибуна переводчика" (в последнем разделе выделяют публикацию Э. Шульмана "Превозмогая обожанье" в № 10 за 2012 г.). С интересом наши корреспонденты прочли публикации С. Гандлевского в рубрике "Письма из-за рубежа".

Среди имен, открытых для себя читателями "ИЛ" в последние годы, называются Иван Голль и Дилан Томас, Милан Фюшт и Жорж Роденбах, Дж. Дж. Белли и Уильям Блейк (как художник), Джон Бёрджер и Огден Нэш, Адам Фоулдз и Кристофер Ишервуд. От стихов Яноша Лацфи в переводах Ю. Гусева "повеяло чем-то на удивление близким". Замечены "качественный, хоть и не лишенный схематизма, детектив Ж. Гальсерана 'Метод Гронхольма'", "шаловливые сонеты Дж. Белли". "Меня просто потрясли "Восемь минут" П. Фаркаша, "По наследству" Ф. Рота, — читаем в одном из писем. —

Из самого последнего — какая прелестная писательница Джейн Гардем! "Мертвые дети" — это что-то потрясающее!"

Понятно, что эти "открытия" не могли бы состояться без помощи, прежде всего большого коллектива переводчиков, и мы рады, что наши корреспонденты подчеркивают в "ИЛ" "устойчивое внимание к традициям, проблемам и современной практике 'веселого дела' перевода". Наряду с фигурами мастеров — Григорий Кружков и Марина Бородицкая, "...впечатляет... дуэт Наталья Ванханен / Луис Сернуда" — читатели выделяют имена новых для них переводчиков следующих поколений — Петра Епифанова (Унгаретти, Базиле, Кампана), Михаила Матвеева (Уайльд, Нэш).

Вместе с тем нашим читателям кажется, что в журнале за последнее время "стало меньше юмора". Другой беспокоящий их момент: публикация романов лишь фрагментами. "'Нарезка' — дело тонкое, — отмечает читатель, — редко получается 'вкусно', чаще — наоборот, тем более если речь идет о пространных (романных) художественных текстах. В качестве удачных опытов в этой области вспоминается 'нарезка' романа Г. К. Инфанте 'Три грустных тигра', но это было в 2010-м году (№ 12)". Нашим корреспондентам представляется, что журнал слишком уж сосредоточен на литературах США и крупнейших стран Европы: "Может быть, стоит уделить больше внимания Африке, Азии, Латинской Америке?" — спрашивает один из читателей. "...едва автор из литературного 'третьего мира' попадал в поле вашего зрения, сразу серый фон расцветал красками. Африканцев не было лет шесть, потому чем-то свежим повеяло от романа мозамбикца Миа Коуту, несмотря даже на ложную многозначительность и узнаваемые сюжетные ходы то ли из 'Женщины в песках', то ли из 'Пригоршни праха'. Познавателен и ярок и роман иранца Мазинани о падении шахского режима, несмотря опять же на существование блистательной книги Рышарда Капущинского на том же материале. Судя по анонсам первых номеров, в 2013 году журнал собирается всерьез избавиться от географических перекосов, и это радует".

Ряду читателей на страницах "ИЛ" недостает крупных фигур, звучных имен: "...откровенно слабых вещей было мало (в чем я убедился, наскребая их в список худших), но целая туча одноразовых, среднестатистических: прочел, зафиксировал, минутку поразмыслил — и с концами... нынче у вас острый дефицит именно романов, рассказов, стихов первого ряда. Это все равно как страстному болельщику, поклоннику испанского футбола, предвкушающему битву 'Реала' с 'Барсой', телеящик впарит какую-нибудь 'Гранаду' с 'Вальядолидом'".

В целом положительные оценки и подчеркивание удач журнала, как уже говорилось, встречается в письмах и анкетах читателей заметно чаще, чем негатив. Среди нескольких указанных нам неудач – например, фрагменты из романа Антониу Лобу Антунеша "А мне что делать, когда все горит?" (2011, № 5): "Слишком долго дожидался публикации... Фрагмент не впечатлил. Непонятно, почему он в кандидатах на Нобелевскую премию. Может попробовать с другим романом?" К неудачам отнесена и публикация стихов Тумаса Транстрёмера (2012, № 1), впрочем, работа переводчиков и автора предисловия оценена по достоинству: "...новый шведский лауреат пока не зазвучал на русском, однако надо пробовать, и Прокопьев – молодец".

Интересно, что списки названных читателями удач и неудач журнала в большой мере совпадают. Так и в тех, и в других фигурируют произведения А. Фоулдза и П. Фаркаша, М. Вивега и Ж. Эшноза, Ж.-Л. Утерса и А. Хемона. Или другой пример. Ряд читателей приветствуют номер, посвященный французской эротической словесности (2012, № 4): "... считаю очень смелым поступком с вашей стороны и одобряю. У нас к этому не привыкли", – читаем в одном письме. "...что это? Дань моде? Или как?" – недоумевает читатель в другом. Противоречия в такой двойственности оценок, как нам кажется, нет: корреспонденты отмечают для себя особо значимое, бросившееся им в глаза, выделившееся на общем фоне и, может быть, даже расходящееся с их ожиданиями, а уже это непривычное оценивают соответственно своим устоявшимся склонностям и полученным прежде навыкам, позитивно или нет.

Итак, если свести оценки читателей в одно, то получится следующая картина. Среди лучших материалов, опубликованных в "ИЛ" 2011–2012 годов, наши корреспонденты чаще других называли:

– романы

М. Вивег "Ангелы на каждый день" (2011, № 2),
Ж.-Л. Утерс "Путешествие с Люком" (2012, № 4),
М. К. Мазинани "Последний падишах" (2012, № 9);

– произведения малой прозы

Ф. Арминио "Открытки с того света" (2012, № 1),
Э. Л. Доктороу "Уэйкфилд" (2011, № 1),
Джамбаттиста Базиле "Сказка сказок" (2012, № 8);

– стихотворные подборки

У. Х. Оден "Стихи и эссе" (2011, № 7),
Х. Л. Борхес "Стихи разных лет" (2012, № 4),
О. Уайльд "Сфинкс" (2012, № 8);

— драматургия

Ж. Гальсеран “Метод Гронхольма” (2011, № 2),

Т. Стоппард “До-ре-ми-фа-соль-ля-си-Ты-свободы попроси” (2012, № 12);

— произведения документальной прозы

Переписка Ингеборг Бахман и Пауля Целана “Время сердца” (2012, № 10),

А. де Боттон “Озабоченность статусом” (2012, №1),

И. Ефимов “Джон Чивер” (2012, № 10),

А. Стесин “Вернись и возьми” (2011, № 2, 6);

— эссе

М. Ефимова “Женщины Хемингуэя” (2012, № 3) и “Чарльз Диккенс в Америке” (2012, № 4),

М. Варгас Льоса “Похвала чтению и литературе”. Нобелевская лекция (2011, № 6),

С. Сонтаг “В Платоновой пещере” (2012, № 9).

Среди специальных тематических и национальных номеров, литературных гидов читатели особо отметили следующие:

“Старая добрая Англия” (2011, № 3), “Немецкий экспрессионизм” (2011, № 4), “Польша: литература факта” (2011, № 10), “Япония: мир в капле дождя” (2012, № 2), Генри Джеймс: “Жизнь в мире созидания” (2011, № 1), “Дело Вудхауза” (2012, № 12).

Если же говорить о читательских ожиданиях, то наши корреспонденты хотели бы видеть (или чаще хотели бы читать) на страницах журнала:

— прозу и драматургию Давида Албахари (Сербия/Канада), Хуана Бенета (Испания), Роберто Боланьо (Чили), Данило Киша (Сербия), Клаудио Магриса (Италия), Шандора Мараи (Венгрия), Пьера Мишона (Франция), Герты Мюллер (ФРГ), Хуана Карлоса Онетти (Уругвай), Фернандо дель Пасо (Мексика), Джанет Уинтерсон (Великобритания), Юна Фоссе (Норвегия);

— стихи Анн-Мари Альбьяш (Франция), Бэй Дао (Китай), Адама Загаевского (Польша), Энн Карсон (Канада), Ко Уна (Южная Корея), Антонио Рамуша Розы (Португалия), Джеффри Хилла (Великобритания).

А теперь, дорогие читатели, итоги конкурса “ЕГЭ по английской литературе”.

Экзаменационная комиссия закончила свою работу и благодарит всех, кто принял участие в конкурсе. Особая благо-

дарность тем нашим читателям, кто прислал подробные, обстоятельные ответы. Многие из вас успешно справились с заданием, похоже, что оно вам понравилось.

Были и критические замечания, в частности: мы "неточны, опуская ряд имен, находящихся, что называется, 'в тренде'". Возможно, это справедливое замечание. Только, составляя это задание, мы отнюдь не стремились отобразить какой-либо "тренд", главное, к чему мы стремились – чтобы читателям было интересно отвечать на наши вопросы.

Экзаменационная комиссия, конечно, учитывала и вариативные решения.

Например, задавая вопросы № 32 и № 33, мы имели в виду: "Утц" Б. Чатвина, "Пир" М. Спарк и "Лед" А. Каван, но охотно принимались нами и "Ким" Р. Киплинга и "Ева" Дж. Х. Чейза, к тому же, как отмечали авторы писем, и по-английски иногда в названии букв столько же: "Kim", "Ice", "Eve". Мы посчитали правильным и ответ "Маг", хотя позже в русском переводе этот знаменитый роман Джона Фаулза стал называться "Волхв".

Трудным для читателей оказался вопрос: "Английский писатель, писавший под псевдонимом "Лицо без определенных занятий" (№ 30).

"Мелькнула было смешная версия, что Боз Диккенса – аббревиатура "без определенных занятий", – пишет нам Аркадий Лыгин. Выяснилось, однако, этой версии придерживаются и еще несколько читателей. Вынуждены их разочаровать. При всей изобретательности Неподражаемого (как еще при жизни называли английского классика) Боз – все же не русская аббревиатура. Хотя это и остроумное предположение.

Боз – ранний псевдоним Диккенса, возник из шутливого прозвища младшего брата писателя. "Я окрестил его Мозесом в честь одного из героев 'Векфилдского священника', – вспоминал Диккенс. – Произносили это имя в нос, так выходило смешнее: Бозес, а потом оно сократилось и стало Бозом". Под этим псевдонимом и вышли в 1836 году "Очерки Боза" ("Sketches by Boz").

А под псевдонимом "Лицо без определенных занятий" (Beachcomber) выступал английский прозаик и журналист Джон Бинген Мортон, ведущий на протяжении более сорока лет (с 1924 по 1965 гг.) страницу юмора в лондонской газете "Дейли экспресс". Книга его избранной юмористики "The Best of Beachcomber" вышла в 1963 году.

Правильный ответ на этот вопрос прислали:
Н. Карпенко (г. Стокгольм, Швеция);
А. В. Верле (г. Псков);
Д. О. Долженко (р.п. Лунино Пензенской обл.);
Е. С. Сагирьянц (г. Ростов-на Дону);
И. Ю. Кононенко (г. Шахты Ростовской обл.).

На нашу просьбу привести названия хотя бы трех произведений классической английской литературы, в которых содержится цитата из Священного Писания (вопрос № 18), откликнулись многие читатели, и мы решили опубликовать здесь этот расширенный, коллективно составленный список:

Т. С. Элиот. Бесплодная земля.
Г. Грин. Сила и слава.
И. Во. Пригоршня праха.
Р. Киплинг. Хлеб, отпущенный по водам.
Г. Джеймс. Золотая чаша.
М. Дрэббл. Сквозь игольное ушко.
Н. Льюис. От руки брата его.
Э. Л. Войнич. Сними обувь твою.

Не можем не отметить, что абсолютно все авторы писем назвали переводчика с английского, удостоенного Государственной премией, — Г. М. Кружкова. "Лучше всех англоязычную поэзию переводит нынче Григорий Кружков, а в его отсутствие — Марина Бородицкая", — делает заключение наш постоянный читатель Дмитрий Ткаченко.

Нас порадовало, что памятливые читатели назвали и рассказ Дж. Уинтерсон, который "ИЛ" напечатала дважды, но — в разных переводах. Пикантность ситуации еще и в том, что историю о "щенке, взятом на сутки" у одного переводчика рассказывает мужчина, у другого — женщина. В оригинале рассказ ведется от первого лица, и то и другое прочтение возможно, так что сопоставить переводы очень интересно.

На последний наш вопрос о пострадавшем англичанине (вместо фотографии Алана Беннетта по ошибке было напечатано фото Хуана Бенета), к нашему удивлению, мы тоже получили правильный ответ — неоспоримое доказательство того, что авторов Туманного Альбиона читатели "Иностранной литературы" знают в лицо.

И, наконец, ответы на вопросы:

1. *Первый английский писатель, удостоенный Нобелевской премии.*

Джозеф Редьярд Киплинг

2. *Назовите английского писателя венгерского происхождения с чисто немецкой фамилией.*

Тибор Фишер

3. *Назовите четырех английских писателей, работавших секретными агентами.*

Даниель Дефо, Джон Ле Карре, Грэм Грин, Уильям Сомерсет Моэм

4. *Какой английский писатель собирался приехать в нашу страну, чтобы отметить свое 100-летие, как когда-то в молодости, когда ему исполнилось 75.*

Джордж Бернард Шоу

5. *"Когда я в последний раз посетил Америку, я прочитал не менее девяноста лекций людям, не причинившим мне ни малейшего вреда". Чье это высказывание?*

Гилберта Кийта Честертона

6. *Английский поэт, норвежец по происхождению, в прошлом военный летчик.*

Роальд Дал

7. *Два известных английских писателя – однофамильцы.*

Джонатан Свифт и Грэм Свифт

8. *Что общего между Чарльзом Диккенсом и дьяволом?*

dickens — по-английски — дьявол

9. *Автор романа о клонах.*

Кадзуо Исигуро

10. *"Бард – живописец смелых душ". Чьи это слова и о каком английском авторе?*

Вильгельма Кюхельбекера о Джордже Гордоне Байроне

11. *Какой английский писатель обратился к автору "Улисса" с письмом, в котором обосновывал свое принципиальное неприятие модернизма?*

Герберт Джордж Уэллс

12. *Английский писатель, знаток кулинарного искусства и парикмахерского дела.*

Джулиан Барнс

13. *Откуда Теккерей почерпнул название своего главного романа?*

Из книги Джона Беньяна "Путь паломника"

14. *Кому принадлежат слова: "Весь мир театр, а мы его актеры"?*

Уильяму Шекспиру, первоисточник — Гай Петроний

15. *В каком романе английского писателя XX века персонаж превозносит Диккенса?*

В романе "Пригоршня праха" Ивлина Во

16. *"Скандальная школа". Название какого классического произведения английской литературы скрывается за этим неверным переводом?*

"Школа злословия" Ричарда Бринсли Шеридана

17. *Назовите двух американцев, которые при жизни стали известными английскими писателями.*

Генри Джеймс, Томас Стернз Элиот

18. *Приведите названия хотя бы трех произведений классической английской литературы, в которых содержится цитата из Священного Писания.*

"Бесплодная земля" Томаса Стернза Элиота, "Сила и слава" Грэма Грина, "Пригоршня праха" Ивлина Во

19. *"Сентиментальное путешествие" Стерна – это пародия. На какую книгу какого известного английского писателя, его современника?*

На "Путешествие по Франции и Италии" Тобайаса Джорджа Смолетта

20. *Какой английский писатель предлагал употреблять в пищу маленьких детей?*

Джонатан Свифт (сатирический памфлет "Скромное предложение")

21. *В каком английском романе остроумно и в то же время сочувственно описаны злоключения британской королевской семьи?*

"Мы с королевой" Сью Таунсенд

22. *Как звали фокстерьера, оказавшегося в лодке с тремя английскими джентльменами, пустившимися в плаванье по Темзе?*

Монморанси

23. *Какие роман и пьеса в английской литературе XX века написаны по мотивам "Гамлета" Шекспира?*

"Черный принц" Айрис Мердок, "Розенкранц и Гильдестерн мертвы" Тома Стоппарда

24. *Что общего между юмористическим английским поэтом XIX века и героем одной из самых мрачных трагедий в английской и мировой литературе?*

Общее слово — Лир (Эдвард Лир и король Лир)

25. *Кого из английских писателей читала Татьяна Ларина?*

Сэмюэла Ричардсона

26. *Произведения каких русских писателей переводила на английский язык Этель Лилиан Войнич?*

В. Гаршина, М. Салтыкова-Щедрина, Н. Гоголя

27. *Назовите очень известного английского писателя XX века, чья фамилия рифмуется с русским словом "по́лки".*

Джон Рональд Руэл Толкин

28. *Назовите не меньше трех переводчиков на русский язык "Алисы в Стране чудес".*

В. Набоков, Б. Заходер, Н. Демурова

29. *"Не припомню русского романа, в котором хотя бы один персонаж посетил бы картинную галерею". Кому принадлежит это высказывание?*

Уильяму Сомерсету Моэму

30. *Английский писатель, писавший под псевдонимом "Лицо без определенных занятий".*

Джон Бингем Мортон

31. *Переводчик с английского, удостоенный Государственной премии по литературе.*

Г. Кружков

32. *Название романа английского писателя, состоящее из трех букв.*

"Утц" Брюса Чатвина

33. *Название романа английской писательницы, тоже состоящее из трех букв. (Возможны два варианта ответа.)*

"Пир" Мюриэл Спарк, "Лед" Анны Каван

34. *Рассказ какой английской писательницы "Иностранная литература" печатала дважды, но – в разных переводах?*

Дженет Уинтерсон
"Щенок на сутки" ("Пес на 24 часа")

35. *Вместо фотографии английского писателя журнал по ошибке поместил фото испанского писателя. Кто этот пострадавший англичанин?*

Алан Беннетт (2012, № 4)

А теперь – наши поздравления победителям:

Д. О. Долженко (р.п. Лунино Пензенской обл.);
Ю. С. Каньков (г. Чебоксары);
И. Ю. Кононенко (г. Шахты Ростовской обл.);
В. Т. Маклаков (г. Екатеринбург);
Н. И. Молчанова (г. Москва);
Т. А. Полуэктова (г. Красноярск);
Е. С. Сагирьянц (г. Ростов-на-Дону);
М. А. Шаманская (г. Усолье-Сибирское Иркутской обл.);
В. Швецова (г. Чикаго, США);
О. С. Ширшов (г. Чугуев Харьковской обл., Украина).

Еще раз благодарим всех за участие.
Оставайтесь с нами.

Новые книги Нового Света

с Мариной Ефимовой
Совместно с радио “Свобода”

Paula Byrne *The Real Jane Austen. A Life in Small Things.* — Harper, 2012

Джейн Остин, писавшая на рубеже XVIII и XIX веков, — общепризнанный классик английской литературы. Ее романы — “Гордость и предубеждение”, “Чувство и чувствительность”, “Мэнсфилд-Парк”, “Доводы рассудка” и “Нортенгерское аббатство” — стали всемирно знаменитыми. Но за прошедшие двести лет репутация писательницы не раз менялась. Чарльз Диккенс (романист следующего за ней поколения) не читал, по его словам, ни строчки Остин — очевидно, считая это *дамской прозой*. (Его признание изумило его друга и биографа Джона Форстера, заметившего явное сходство между некоторыми главами “Домби и сына” и романом Остин “Чувство и чувствительность”.) Современники писательницы говорили как раз об отличии ее произведений от типичной “дамской прозы”. Жена Байрона писала с восхищением:

У нее нет ни взбесившихся лошадей, которых на скаку останавливают не весть откуда взявшиеся герои; ни спасения из горящих домов с риском для жизни; ни сладких сцен с рисованием на пленере.

Вальтер Скотт, еще не ставший известным романистом, дал Остин такую оценку:

Романы Джейн Остин — точные и поразительно проницательные наблюдения над драмой ежедневной жизни.

Менялся и массовый читатель романов Джейн Остин — как, впрочем, и произведений многих классиков. Недаром Набоков писал о временах, “когда Вальтер Скотт поднялся в людскую, а Фенимор Купер спустился в детскую”. Популярность Джейн Остин приходила и уходила, но нам повезло — сейчас она популярна. Ее романы экранизированы лучшими режиссерами. Не счесть и ее биографий — Вирджиния Вулф еще в 1928 году написала: “Я думаю, у нас уже набралось достаточно жизнеописаний Джейн Остин”. Однако до недавнего времени биографы более или менее укладывались в рамки того образа, который создал после смерти Джейн Остин ее брат Генри — священник, написавший предисловие к одному из ее посмертных изданий. Об этом хрестоматийном образе искусствовед Максвелл Картер пишет в “Нью-Йорк таймс”:

В интерпретации ее брата Генри, Джейн Остин была счастливой девочкой, потом замкнутой девуш-

кой, увлеченной первыми пробами пера; потом незамужней женщиной, оставшейся жить в лоне любящей семьи — жизнью, не отмеченной значительными внешними событиями. Она писала исключительно ради собственного удовольствия, только с натуры, ничего не выдумывая. На публикацию Джейн согласилась неохотно, лишь в 1811 году, за шесть лет до своей ранней смерти. Разбирая архив сестры, Генри сохранил для потомства лишь сто шестьдесят из почти тысячи ее писем. Так что нетрудно понять биографа Полу Бирн, считавшую образ писательницы, созданный ее семьей, слишком приглаженным и благостным для такого большого таланта. Тем более что другой брат Джейн Остин — Джеймс — в некрологе на смерть сестры написал, что оплакивать ее надо за ее благочестие. Ее литературный дар он даже не упомянул.

Первую брешь в хрестоматийном образе писательницы пробил фильм 2007 года "Becoming Jane" — буквально: "Становление Джейн" (в России фильм назвали просто — "Джейн Остин"). Авторы фильма, пользуясь отрывочной информацией об отношениях писательницы с молодым юристом Томасом Лефроем, создали любовную историю — хоть и с неизбежной порцией романтизма, но достаточно сложную, смелую, с диалогами, достойными Остин, и с прекрасными актерами.

Второй вызов образу благочестивой старой девы, тихо живущей в кругу семьи, бросила своей книгой "Настоящая Джейн Остин" английская писательница и биограф Пола Бирн:

У Джейн был неприятный, даже опасный опыт ранних школьных лет. Подростком она писала издевательские, странные, часто кровожадные детские истории. Она почти всю жизнь жила за счет семьи, отказалась от единственного предложения замужества и, насколько известно, не испытала счастья взаимной любви. В двадцать шесть лет, после смерти отца, Джейн потеряла родное гнездо и годами кочевала по родственникам. И она мечтала увидеть свои романы опубликованными задолго до того, как стараниями брата издатель Томас Эгертон согласился напечатать "Чувство и чувствительность". Она зарабатывала литературой только последние пять лет своей жизни.

Автор книги "Настоящая Джейн Остин" нашла неожиданный, писательский подход к биографическому исследованию. Никакой хронологии, никаких разделов типа: детство, отрочество, юность. Каждая глава посвящена какому-то событию, человеку или вещи, которые сыграли заметную роль в жизни Остин и в ее романах. Английский актер и критик Саймон Кэллоу пишет в газете "Гардиан":

Книга Бирн составлена наподобие календаря с заметками о событиях дня. И каждое событие, каждый объект рассказа высвечивают новую группу портретов, целую паутину взаимоотношений, новые судьбы, вызывают волну реальных и воображаемых ассоциаций.

Один из "объектов" — небольшая картинка (модные тогда "силуэты"), заказанная дя-

дюшкой, чтобы запечатлеть усыновление им племянника — старшего брата Джейн. За ней всплывают сцены жизни в многодетной семье, а за ними — сцены с бешеным квартирантом, пытавшимся повесить мальчишку на колокольне местной церкви. В другой раздел врывается предмет юношеской страсти — поэт Уильям Каупер. Смелый, талантливый, он яростно критикует общество, закрывающее глаза на работорговлю. Это он появится потом в романе "Мэнсфилд-Парк". Одна из самых ярких глав биографии начинается с подарка — индийской шали, привезенной тетушкой Филой — бесстрашной женщиной с еще более бесстрашной дочерью Элизой, рожденной от любовника — генерал-губернатора Индии. Элиза — кокетливая, дерзкая, горячая — была любимой кузиной Джейн. Замуж она вышла за французского графа, который погиб под ножом гильотины. "Джейн была окружена экзотическими людьми, — пишет Бирн, — неудивительно, что ее детские вещи описывают то семью алкоголиков, то ребенка, откусившего у матери пальцы, то ревнивицу, отравившую сестру". Глава биографии, посвященная восхитившему Джейн экипажу, дает представление о многочисленных путешествиях Джейн Остин, правда, только по Англии, поскольку Европа пылала в огне наполеоновских войн.

Рецензент Кэллоу сравнивает книгу Полы Бирн с талантливым исследованием талантливой картины:

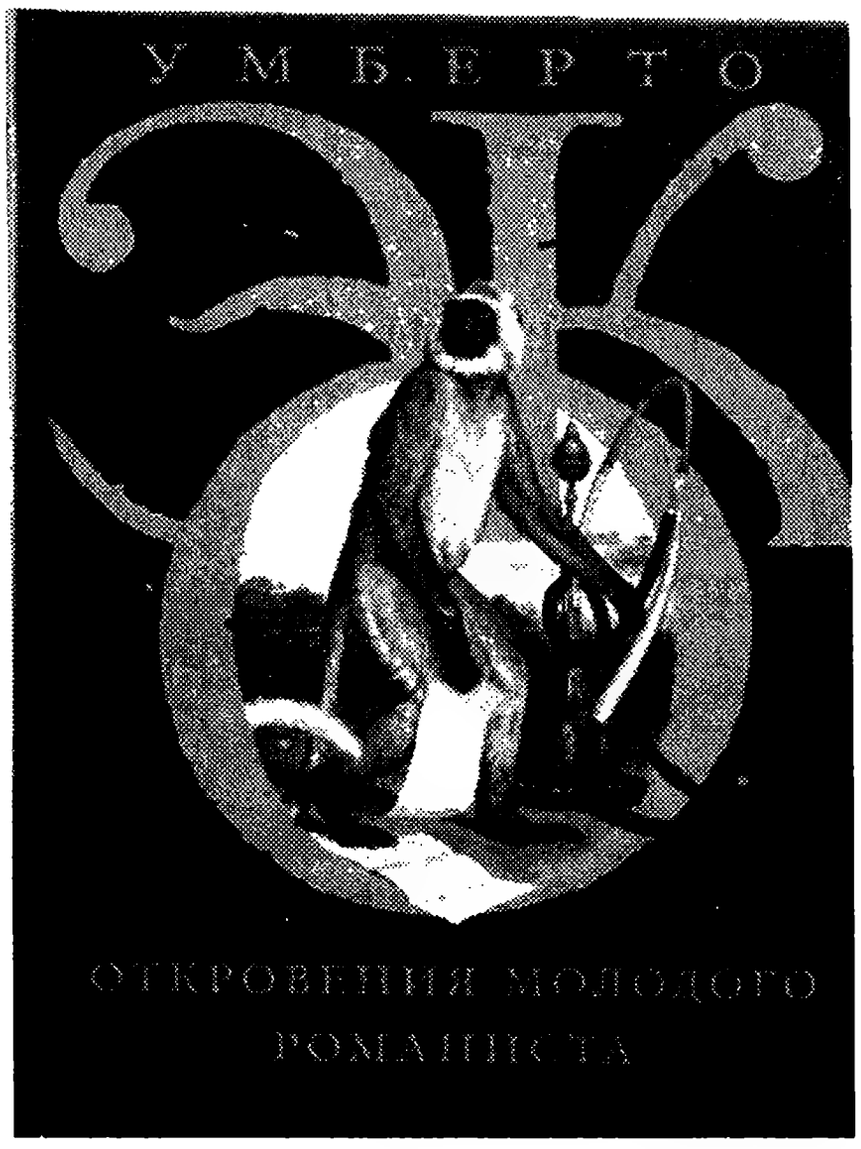
Бирн подходит к жизни Джейн Остин, как к фламандской живописи. Она ценит детали, — и те, что были закрашены, и те, что поблескивают в углах, — выуживая их из-под принятого контекста. И неожиданные, часто шокирующие мелочи вызывают ассоциации с чем-то важным и дают новое дыхание опыту жизни Джейн Остин. Похоже, старая дева из семьи священника непосредственно столкнулась с вещами, которые не все могут даже вообразить.

Книга "Настоящая Джейн Остин" — в сущности, сборник ярких эссе, которые проливают новый свет на личность Джейн Остин и придают ей новое обаяние. Со страниц книги встает зрелая, сложная, поразительно одаренная воображением, но вполне земная женщина, сумевшая превратить свою жизнь в духовное путешествие, в которое вместе с ней вот уже двести лет отправляются миллионы читателей.

Информация к размышлению
Non-fiction

с Алексеем Михеевым

Вот уже год в социальной сети Facebook существует открытая группа “Библиотека года”, участники которой советуют друг другу, на какие новые книги стоит обратить внимание, и оценивают их; на основании этих оценок (“лайков”) формируются рейтинговые списки. Несмотря на то что в группу может вступить любой желающий, массовая литература в этих списках пока не замечена; они представляют собой актуальный срез “интеллектуального” книжного сегмента, где преобладает не художественная литература, а нонфикшн. Попали в эти списки и несколько переводных изданий; о них и пойдет речь.

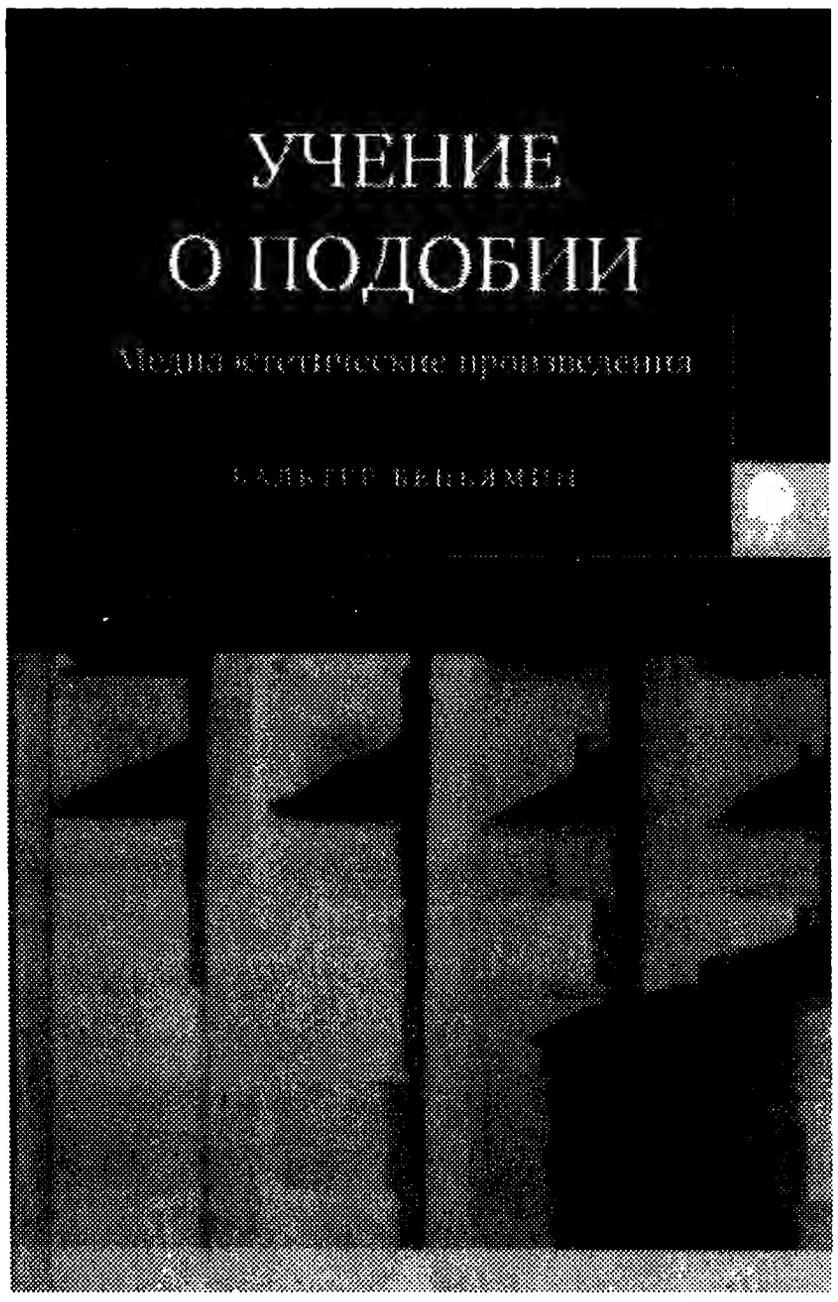


Новая (2011) книга **Умберто Эко** *Откровения молодого романиста* (пер. с англ. А. **Климина**. — М.: АСТ: CORPUS, 2013. — 320 с.), появившись в рейтинге только в мае, вошла в первую десятку итогового списка первого полугодия. В названии, безусловно, присутствует намеренное лукавство: ведь “молодой” в данном случае означает не возраст вообще, а возраст дебюта в качестве автора художественной (а не научной) литературы. Завоевав себе академическую репутацию в качестве теоретика-семиотика, Эко решил воплотить свои теоретические разработки на практике — и в этой книге он рассказывает, “из какого сора растут” и по каким законам конструируются его популярные романы.

Термин “конструирование” здесь оказывается более чем к месту. Хотя в начале книги Эко слегка рефлексирует по поводу того, что между литературой “художественной” и прочей четкие границы провести невозможно, но романы у него получаются именно “художественные” — в сугубо традиционном смысле, как барочная станковая живопись на фоне современного авангарда. Другое дело, что складываются его художественные конструкции из невыдуманного сырья: старых прецедентных

текстов и личного "пространственного" опыта – когда, например, задумав "Маятник Фуко", Эко *много раз бродил по ночному Парижу, надиктовывая на карманный магнитофон все, что видел, чтобы в точности описать маршрут героя*, а готовясь к созданию "Острова накануне", *действительно отправился в путешествие по Южным морям, к той самой географической точке, где происходит действие романа.*

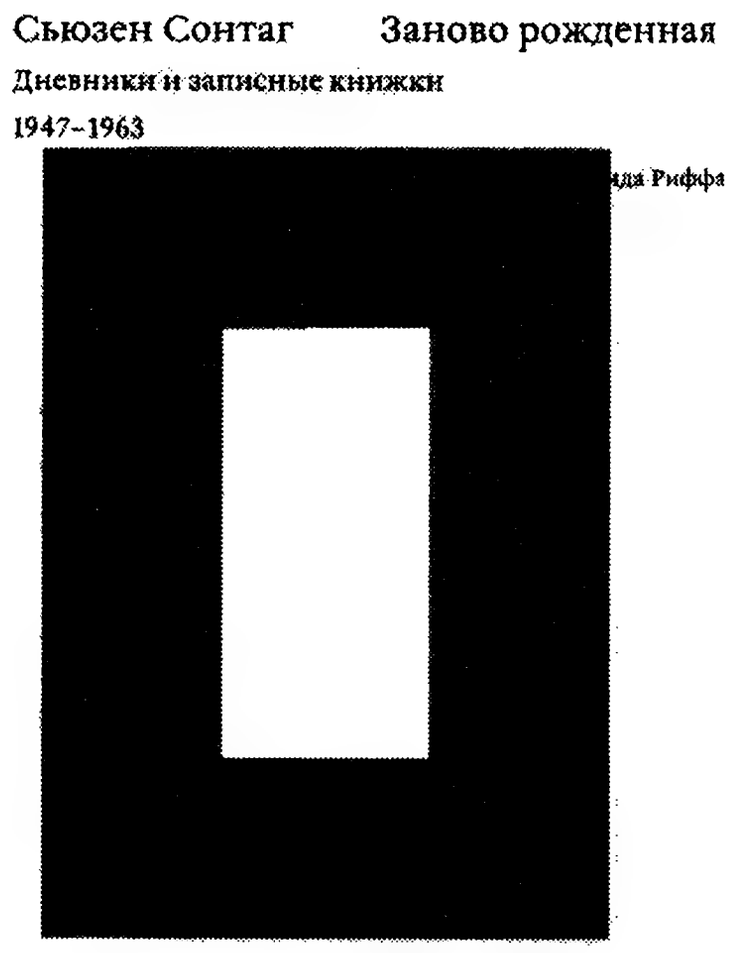
Анализ принципиально иных вариантов взаимодействия автора с реальностью можно найти у **Вальтера Беньямина**, чей сборник статей *Учение о подобии. Медиаэстетические произведения* (пер. с нем. под ред. **А. В. Белобратова**, составление и послесловие **И. Чубарова**, **И. Болдырева**. М.: РГГУ, 2012. – 288 с. – "Современные гуманитарные исследования") вошел в первую десятку рейтинга "Библиотеки 2012 года". В сборник, среди прочего, включен самый известный текст Беньямина *Произведение искусства в эпоху его технической воспроизводимости*, впервые опубликованный еще в 1936 году, задолго до того, как Маршалл Маклюэн в 1964-м провозгласил свой ставший знаменитым постулат *The medium is the message* (*Средство сообщения и есть его содержание*). В цепочке "Автор (субъект) – язык (инструмент) – внешний мир (объект)" Беньямин сделал акцент на центральное звено – ведь *в эпоху технической воспроизводимости*, когда у традиционного искусства естественным образом отпала функция по возможности точного воспроизведения реальности, именно новые медийные инструменты стали средством не просто отражения мира, но и новых типов его видения и осознания. Не случайно Беньямина так интересовала фотография (в сборник включена его статья 1931 года *Краткая история фотографии*) – ведь именно на ее примере можно подробно рассмотреть, каким образом инструмент, призванный, казалось бы, не более чем фиксировать реальность, превращается в художественное средство, фактически создающее новый тип реальности, новую рамку взгляда на мир.



В начале 70-х именно этот аспект фотографии привлек внимание **Сьюзен Сонтаг**, результатом чего стала ее книга *О фотографии* (пер. с англ. **В. П. Голышева**. – М.: ООО "Ад Маргинем Пресс", 2013. – 272 с.). За несколько десятилетий XX века фотография эво-

люционировала от сугубо постановочной (когда любой снимок должен был быть тщательно подготовленным во всех отношениях) до предельно документальной, когда особую ценность приобретает случайно зафиксированный обыденный момент. Мастерство фотографа стало при этом категорией практически иррациональной: снимки настоящих мастеров отличает и особая аура, и авторская неповторимость, позволяющая говорить о фотографии именно как об искусстве. Впрочем, технический прогресс успешно работает и на диаметрально противоположный вектор: вначале поларoид, затем "мыльница", а теперь мобильный телефон сделали фотографию занятием массовым и доступным любому непрофессионалу. Целью туризма уже давно стали во многом не столько непосредственно переживаемые ощущения, сколько фотодокументация пребывания в неких признанных значимыми географических точках. Ну а сегодняшняя возможность мгновенного размещения своих снимков в социальных сетях, по сути, манифестирует качественно новый этап социального бытования фотографии как универсального индивидуального медиа.

В рейтинге первого полугодия "Библиотеки 2013 года" книга *О фотографии* заняла место в конце второй десятки. Ну а в первую десятку вошла



другая выпущенная тем же издательством книга **Сьюзен Сонтаг** — *Заново рожденная. Дневники и записные книжки 1947–1963* (пер. с англ. **М. Дадяна**, 2013. — 344 с.). Впрочем, и эти по преимуществу короткие фрагменты можно считать неким вариантом "фотографической" фиксации происходящего. Конечно, текст, в отличие от фотографии, дает возможность дополнить эту фиксацию мгновенной аналитикой, но принципиальным здесь является отсутствие попытки какого-либо специального конструирования единого целого — реальность в этом структурированном только по времени "альбоме" предстает как последовательность моментальных отпечатков, объединенных безусловно незаурядной личностью автора.

Мануэль Пуиг
Manuel Puig
[1932—1990]. Аргентинский прозаик, драматург и киносценарист.

Автор романов *Предательство Риты Хейворт* [*La traición de Rita Hayworth*, 1968; рус. перев. 1991], *Любовь в Буэнос-Айресе* [*The Buenos Aires Affair*, 1973; рус. перев. 1993], *Ангельский пол* [*Pubis angelical*, 1979], *Будь проклят навеки тот, кто прочтет эти страницы* [*Maldición eterna a quien lea estas páginas*, 1980] и др., а также нескольких пьес, сценариев, статей о литературе и кино. В *ИЛ* опубликованы его романы *Поцелуй женщины-паука* [2003, № 6], *Крашеные губки* [2004, № 2] и *Падает тропическая ночь* [2010, № 10].
Текст печатается по изданию *Un destino melodramática* [Buenos Aires: El cuenco de plata, 2004].

Сергей Сергеевич Скорвид
[р. 1958]. Филолог-славист, кандидат филологических наук, переводчик с чешского, словацкого и польского языков.

В его переводе с чешского издавались, в частности, сочинения Я. А. Коменского в сборнике *Лабиринт света и Рай сердца* [2000], романы Б. Грабала *Слишком шумное одиночество* [2002] и Я. Дуриха *Маргаритка* [2006], стихи И. М. Йироуса в сборнике *Магор* [2007]. С польского — стихи Ю. Тувима [2008] и В. Броневского [2010]. В *ИЛ* в его переводе были напечатаны рассказы и эссе Б. Грабала [2001, № 4].

Вацлав Гавел
Václav Havel
[1936—2011]. Чешский драматург, публицист, правозащитник и государственный деятель, последний президент Чехословакии [1989—1992] и первый президент Чехии [1993—2003]. Лауреат многих международных премий.

Автор пьес *Праздник в саду* [*Zagradni slavnost*, 1963], *Трудно сосредоточиться* [*Ztížená možnost soustředění*, 1968; рус. перев. 1990], *Аудиенция* [*Audiencje*, 1975], *Вернисаж* [*Vernisáž*, 1975], *Искушение* [*Pokoušení*, 1985] и др., многих публицистических работ, в том числе *Письма Ольге* [*Dopísy Olze*, 1983], *В разные стороны* [*Do různých stran*, 1983—1989], *Гостиница в горах* [*Horský hotel*; рус. перев. 2000] и др. В *ИЛ* опубликованы его пьесы *Протест* [1990, № 7] и *Уход* [2009, № 1], вступление к памфлету Д. Татарки *Демон согласия* [1990, № 4] и выступление на открытии Международного конгресса ПЕН-клуба в 1994 г. [1995, № 6].
Тексты *Antikódy* и *Setkání s Gorbačovem* публикуются по изданию *Nakladatelství Torst, Sebrané spisy* [Praha: Václava Havla, 1999, sv. 1, 4].

Лидия Хесед
Филолог, аспирантка Института лингвистики РГГУ.

В *ИЛ* в ее переводе опубликовано эссе Саши Дагдейл *Уильям Блейк в России* [2010, № 12].

Диана Этхилл
Diana Athill
Английская писательница, критик, редактор, один из основателей издательства Андре Дейч.

Автор романов, сборников рассказов, публицистических эссе и мемуаров, в том числе романа *Не смотри на меня так* [*Don't Look at Me Like That*, 1967], автобиографий *Вместо письма* [*Instead of a Letter*, 1963] и *После погребения* [*After the Funeral*, 1986].
Перевод выполнен по изданию *Вернуть зачеркнутое. Из жизни редактора* [*Stet. An Editor's Life*. London: Granta Books, 2001].

Норман Мейлер
Norman Mailer
[1923–2007]. Американский писатель, поэт, критик, публицист. Лауреат Пулитцеровской премии [1969, 1980].

Автор романов *Нагие и мертвые* [*The Naked and the Dead*, 1948; рус. перев. 1971], *Американская мечта* [*An American Dream*, 1965, рус. перев. 1993], *Призрак Проститутки* [*Harlot's Ghost*, 1991] и др. В *ИЛ* опубликованы фрагменты романа-репортажа *Майами и осада Чикаго* [1971, № 1, 2], журнальные варианты романа-репортажа *Бой* [1978, № 10] и биографического романа *Портрет Пикассо в юности* [1997, № 3, 4; 1998, № 8], романы *Евангелие от Сына Божьего* [1998, № 5] и *Крутые парни не танцуют* [2001, № 3, 4].
Перевод публикуемого текста выполнен по изданию *Призрачное искусство. Мысли о литературном труде* [*The Spooky Art: Thoughts of Writing*. Random House Trade Paperbacks, 2004].

Мордехай Рихлер
Mordecai Richler
[1931–2001]. Канадский прозаик, сценарист, эссеист, лауреат многих престижных литературных премий, в частности *Giller prize*, кавалер Ордена Канады.

Автор десяти романов, в том числе *Акробаты* [*The Acrobats*, 1954], *Ученичество Дадди Кравица* [*The Apprenticeship of Duddy Kravitz*, 1959], *Йошуа тогда и сейчас* [*Joshua Then and Now*, 1980], *Здесь был Соломон Гурски* [*Solomon Gursky Was Here*, 1989], автобиографической книги *Улица* [*The Street*, 1969; рус. перев. 2005], сборников эссе, книг для детей и др. В *ИЛ* опубликован его роман *Версия Барни* [2007, № 8, 9, 10] и эссе *Что заставляет меня писать* [2008, № 11].
Публикуемое эссе взято из антологии *Новая литература 9* [*New Writing 9*. Vintage, 2000].

Нацумэ Сосэки
[Нацумэ Кинноскэ]
[1866–1916]. Классик японской литературы, один из основателей современной японской прозы.

Автор прославившей его трилогии *Сансиро* [1908], *Затем* [1909], *Врата* [1910] [рус. перев. 1973], а также романов *Сердце* [1914], *Свет и тьма* [1916], повестей *Ваш покорный слуга кот* [1905], *Мальчик Ю.* [1905] и др.

Борис Владимирович Дубин
[р. 1946]. Литературовед, переводчик, культуролог, социолог.

Автор книг *Слово – письмо – литература* [2001], *Интеллектуальные группы и символические формы* [2004], *На полях письма* [2005], *Классика, после и рядом* [2010], многих статей по социологии культуры. Постоянный автор *ИЛ* и ведущий рубрики *Портрет в зеркалах* [1995, № 1, 12; 1996, № 8, 12;

Лауреат премий *ИЛ* [1992], *ИЛлюминатор* [1994], имени Анатоля Леруа-Больё [1996], имени Мориса Вакс-махера [1998], премии Андрея Белого за гуманитарные исследования [2005], Международной премии имени Ефима Эткинда [2006], кавалер национального ордена Франции *За заслуги* [2009].

1997, № 4, 12; 2000, № 1; 2003, № 10; 2004, № 12]. В *ИЛ* в его переводе публиковались стихи Э. Ади [1997, № 12], П. Жимфере [2010, № 11], миниатюры Х. Л. Борхеса [2005, № 10], эссе Ч. Милоша [1992, № 8], Э. М. Чорана [1996, № 4], С. Сонтаг [1996, № 4], И. Бонфуа [1996, № 7], Ф. Лежёна [2000, № 4], Б. Сарло [2010, № 10], отрывки из записных книжек Ф. Жакоте [2002, № 9; 2005, № 12] и др.

Джонатан Франзен
Jonathan Franzen
[р. 1959]. Американский писатель. Лауреат Национальной книжной премии.

Автор романов *Двадцать седьмой город* [*The Twenty-Seventh City*, 1988], *Сильное движение* [*Strong Motion*, 1992], *Поправки* [*The Corrections*, 2001; рус. перев. 2008], *Свобода* [*Freedom*, 2010; рус. перев. 2012], эссе и воспоминаний.
Публикуемое эссе взято из сборника *Дальний остров* [*Farther Away*. New York: Farrrar, Straus and Giroux, 2012].

Мартин Эмис
Martin Amis
[р. 1949]. Английский прозаик и критик. Лауреат премии Сомерсета Моэма [1974].

Автор романов *Записки о Рейчел* [*The Rachel Papers*, 1973; рус. перев. 2005], *Мертвые младенцы* [*Dead Babies*, 1975, при переиздании, 1977, роман стал называться *Мрачные тайны – Dark Secrets*], *Успех* [*Success*, 1978; рус. перев. 2004], *Другие люди. Загадочная история* [*Other People: A Mystery Story* 1981], *Деньги: Записка самоубийцы* [*Money: A Suicide Note*, 1985; рус. перев. 2002] и др.
В *ИЛ* опубликованы эссе *Джон Леннон: от "битла" до "домохозяйки"* [1999, № 6] и *Визит к госпоже Набоковой* [2005, № 10].
Перевод публикуемого эссе выполнен по изданию *Таймс литерари сапплмент* [December 23 & 30, 2011].

Марина Михайловна Ефимова
Журналист, редактор, переводчик. Ведущая тематических передач на радио *Свобода*. Лауреат премии имени А. М. Зверева [2012].

Автор повести *Через не могу* [1990] и многих публикаций в американской эмигрантской прессе. Ведущая рубрики *ИЛ Новые книги Нового Света*.

Алексей Васильевич Михеев
[р. 1953]. Прозаик, переводчик с польского, литературный обозре-

В его переводе с польского напечатана пьеса С. Мрожека *Портной* [*Суфлер*, 1995, № 4] и повесть Г. Херлинга-Грудзинского *Белая ночь любви* [*ИЛ*, 2000, № 8]. В *ИЛ* также неоднократно публиковались его статьи. Постоянный ведущий рубрики *Информация к размышлению*.

ватель, лингвист. Член Литературной академии [жюри премии *Большая книга*]. Главный редактор интернет-портала *Словари XXI века*, модератор групп *Библиотека года* и *Словарь года* в сети *Facebook*. Главный редактор *ИЛ* [2005–2008]. Кандидат филологических наук. Лауреат премий *Человек книги* [2004], имени А. М. Зверева [2010], журнала *Октябрь* [2010], австралийского фестиваля русскоязычной литературы *Антиподы* [2010].

Переводчики

Александр Израилевич Казачков
[р. 1954]. Переводчик с испанского.

В его переводах выходили произведения М. Пуига, Х. Л. Борхеса и Б. Касареса. В *ИЛ* опубликован его перевод романов М. Пуига *Крашеные губки* [2004, № 2] и *Падает тропическая ночь* [2010, № 10], книги А. Монтерросо *Черная Овца и другие басни* [2007, № 7], фрагментов книги Х. Бенета *Тринадцать басен с половиной и басня четырнадцатая* [2009, № 12], рассказа Г. Ньельсена *Марвин* [2010, № 10] и рассказов О. Бустоса Домека [2013, № 4].

Инна Геннадьевна Безрукова
Славист, переводчик с чешского, словацкого и польского языков. Член Союза писателей Москвы.

В ее переводе публиковались произведения В. Гавела, Б. Грабала, Л. Фукса, И. Кратохвила, Р. Вайнера, М. Урбана и др. В *ИЛ* напечатаны ее эссе об И. Коларже [1997, № 10], эссе И. Коларжа *Настанет ли век истины, потупившей взор долу?* [1997, № 10], *Эссе о Праге* Я. Сейферта [2005, № 3], фрагмент романа Т. Боучковой *Год петуха* [2011, № 5], а также перевод повести Л. Фукса *Крематор* [1993, № 8].

Евгения Борисовна Сахарова
Историк, переводчик с японского, кандидат исторических наук, сотрудник Института восточных культур и античности РГГУ.

Автор статей по истории и культуре Древней Японии. В ее переводе опубликовано *"Кадэн". Жизнеописание рода Фудзивара* [2006]; готовится к печати перевод романа Бандо Масако *Дорога-мандала*.
В *ИЛ* печатается впервые.

Юрий Иванович Линник [р. 1972]. Переводчик с английского языка.	В *ИЛ* публикуется впервые.
Леонид Юльевич Мотылев [р. 1955]. Переводчик с английского. Лауреат премий *Инолит* [1990], *Единорог и Лев* [2007], Почетного диплома критики *зоИЛ* [2003—2004].	В его переводе издавались произведения А. Рой, С. Рушди, У. Фолкнера, Дж. Конрада, Ф. О'Коннор, Т. О'Брайена, П. Акройда, И. Б. Зингера, А. Грея, К. Исигуро, Г. Свифта, Дж. Торроса и др. Неоднократно публиковался в *ИЛ*.

Художественное оформление и макет
Андрей Бондаренко,
Дмитрий Черногаев.

Старший корректор
Анна Михлина.
Компьютерный набор
Евгения Ушакова,
Надежда Родина.
Компьютерная верстка
Вячеслав Домогацких.

Главный бухгалтер
Татьяна Чистякова.
Коммерческий директор
Мария Макарова.

Адрес редакции: 119017, Москва, Пятницкая ул., 41
(м. "Третьяковская", "Новокузнецкая");
телефон 953-51-47; факс 953-50-61.
e-mail inolit@rinet.ru

Подписаться на журнал можно во всех отделениях связи.
Индекс 72261 — на год, 70394 — полугодие.
Льготная подписка оформляется в редакции (понедельник, вторник, среда, четверг с 12.00 до 17.30).

Купить журнал можно:
в Москве:
в редакции;
в киоске "Экспресс-хроника" (Страстной бульвар, д. 4);
в киоске "Лингвистика" (Библиотека иностранной литературы им. М. И. Рудомино Николоямская ул., д. 1);
в книжном магазине "Русское зарубежье" (Нижняя Радищевская, д. 2; м. Таганская-кольцевая);
в книжном магазине "Фаланстер" (Малый Гнездниковский переулок, д. 12/27, стр.2–3);
в Санкт-Петербурге:
в книжном магазине "Все свободны" (набережная реки Мойки, д. 8, второй двор, код ворот 489);
в Пензе:
в книжном магазине "В переплете" (ул. Московская, д.12),

Официальный сайт журнала:
http://www.inostranka.ru
Наш блог:
http://obzor-inolit.livejournal.com

Журнал выходит один раз в месяц.

Оригинал-макет номера подготовлен в редакции.

Регистрационное свидетельство № 066632 выдано 23.08.1999 г. ГК РФ по печати

Подписано в печать 15.08.2013
Формат 70x108 1/16.
Печать офсетная.
Бумага газетная.
Усл. печ. л. 25,20.
Уч.-изд. л. 24.
Заказ № 3644.
Тираж 4500 экз.

Отпечатано в ОАО "Можайский полиграфический комбинат".
143200, г. Можайск,
ул. Мира, 93.
www.oaompk.ru, www.oaompk.рф
Тел.: (495) 745-84-28;
(49638) 20-685.

Присланные рукописи не возвращаются и не рецензируются.

[10] 2013

ГОЛЛАНДИЯ: В ПОИСКАХ СЕБЯ — ПОВЕСТИ КАДЕРА АБДОЛЫ И АРИОНА ГРЮНБЕРГА / РАССКАЗЫ ХЕРМАНА КОХА И САННЕКЕ ВАН ХАССЕЛ / СТИХИ СОВРЕМЕННЫХ ГОЛЛАНДСКИХ ПОЭТОВ / ЯН ВОЛКЕРС В РУБРИКЕ “ИЗ КЛАССИКИ XX ВЕКА” / “ПИСАТЕЛЬ ПУТЕШЕСТВУЕТ”: “ВСЕ ПУТИ ВЕДУТ В САНТЬЯГО” СЕЙСА НОТЕБООМА И “ДВЕ ВСТРЕЧИ” АРТУРА ЖАПАНА / ФРАГМЕНТЫ КНИГ ЯНА БРОККЕНА И ОЛАФА КУНСА И ДР.

Прямая связь
с Правительством
Москвы

ЭВОЛЮЦИЯ ПОРТАЛА GOROD.MOS.RU

Раскрытие информации об объектах городского хозяйства

Оценка работы городских служб

Получение обратной связи от жителей по **40** проблемным темам

Оперативное решение городских проблем

100% Гарантия ответа за **8** рабочих дней

12+

ИНДЕКС 70394

ISSN 0130-6545 "ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА", 2013, №7, 1-288

ISSN 0130-6545 13009 9 770130 654770